



ROMAN
GARY

Ромен Гари

Ночь будет спокойной

[classica]

LA NUIT
SERENA

CoRpus



SHOUT **IT**
SHARE

Annotation

«Ночь будет спокойной» — уникальное псевдоинтервью, исповедь одного из самых читаемых сегодня мировых классиков. Военный летчик, дипломат, герой Второй мировой, командор ордена Почетного легиона, Ромен Гари — единственный французский писатель, получивший Гонкуровскую премию дважды: первый раз под фамилией Гари за роман «Корни неба», второй — за книгу «Вся жизнь впереди» как начинающий литератор Эмиль Ажар. Великий мистификатор, всю жизнь писавший под псевдонимами (настоящее имя Гари — Роман Касев), решает на пороге шестидесятилетия «раскрыться» перед читателями в откровенной беседе с другом и однокашником Франсуа Бонди. Однако и это очередная мистификация: Гари является автором не только собственных ответов, но и вопросов собеседника, Франсуа Бонди лишь дал разрешение на использование своего имени. Подвергая себя допросу с пристрастием, Гари рассказывает о самых важных этапах своей жизни, о позиции, избранной им в политической круговерти XX века, о закулисной дипломатической кухне, о матери, о творчестве, о любви. И многие его высказывания воспринимаются сегодня как пророчества.

- [Ромен Гари](#)

- [notes](#)

- ☐ [1](#)
- ☐ [2](#)
- ☐ [3](#)
- ☐ [4](#)
- ☐ [5](#)
- ☐ [6](#)
- ☐ [7](#)
- ☐ [8](#)
- ☐ [9](#)
- ☐ [10](#)
- ☐ [11](#)
- ☐ [12](#)
- ☐ [13](#)
- ☐ [14](#)
- ☐ [15](#)
- ☐ [16](#)
- ☐ [17](#)
- ☐ [18](#)

- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 26
- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 29
- ☐ 30
- ☐ 31
- ☐ 32
- ☐ 33
- ☐ 34
- ☐ 35
- ☐ 36
- ☐ 37
- ☐ 38
- ☐ 39
- ☐ 40
- ☐ 41
- ☐ 42
- ☐ 43
- ☐ 44
- ☐ 45
- ☐ 46
- ☐ 47
- ☐ 48
- ☐ 49
- ☐ 50
- ☐ 51
- ☐ 52
- ☐ 53
- ☐ 54
- ☐ 55
- ☐ 56
- ☐ 57
- ☐ 58
- ☐ 59
- ☐ 60
- ☐ 61
- ☐ 62

- ☐ 63
- ☐ 64
- ☐ 65
- ☐ 66
- ☐ 67
- ☐ 68
- ☐ 69
- ☐ 70
- ☐ 71
- ☐ 72
- ☐ 73
- ☐ 74
- ☐ 75
- ☐ 76
- ☐ 77
- ☐ 78
- ☐ 79
- ☐ 80
- ☐ 81
- ☐ 82
- ☐ 83
- ☐ 84
- ☐ 85
- ☐ 86
- ☐ 87
- ☐ 88
- ☐ 89
- ☐ 90
- ☐ 91
- ☐ 92
- ☐ 93
- ☐ 94
- ☐ 95
- ☐ 96
- ☐ 97
- ☐ 98
- ☐ 99
- ☐ 100
- ☐ 101

Ромен Гари

Ночь будет спокойной

Франсуа Бонди. *Мы знакомы уже сорок пять лет...*

Ромен Гари. Лицей в Ницце, два года до выпуска... Октябрь, начало занятий. В классе «новенький», и преподаватель спрашивает у него место рождения. Тут встаешь ты с физиономией Ибн Сауда^[1] во младенчестве и, уже неся на своих плечах бремя веков, в пятнадцать-то лет, говоришь «Берлин» и закатываешься в нервном безудержном смехе перед этим классом, в котором тридцать юных французов... Мы сразу же прониклись симпатией друг к другу.

Ф. Б. *У тебя всегда была поразительная память, ты никогда ничего не забывал, а это, должно быть, нелегко...*

Р. Г. На то я и писатель.

Ф. Б. *Почему ты сейчас согласился раскрыться в нашей беседе, ведь в жизни ты очень замкнут?*

Р. Г. Потому что в жизни я очень замкнут... И не чувствую уколов самолюбия при мысли о том, чтобы открыться кому-то — мне очень нравится этот «кто-то», мы с ним давно друг друга знаем, — как и о том, чтобы открыться «публике», потому что мое «я» вовсе не принуждает меня к почтительному отношению к самому себе, совсем наоборот. Есть эксгибиционизм, и есть жертва огню. Читатель сам решит, идет ли речь об эксгибиционизме или о горении. Гари означает по-русски «Гори!», в повелительном наклонении, есть даже старая цыганская песня, где это слово служит припевом...^[2] Это приказ, от исполнения которого я никогда не уклонялся, ни в писательстве, ни в жизни. Мне хочется здесь этого жара, чтобы мое «я» горело, чтобы оно пылало на этих страницах, как говорится, на глазах у всех. «Я» вызывает у меня смех, это великий комик, вот почему народный смех часто бывает началом пожара. «Я» — невероятно претенциозно. Оно не знает даже, что с ним случится через десять минут, но трагически принимает себя всерьез, строит из себя Гамлета, рассуждает, требует ответов от вечности и даже имеет довольно странную дерзость писать произведения Шекспира. Если тебе интересно, какое место занимает насмешка в моем творчестве — да и в моей жизни, — ты должен сказать себе, что это сведение счетов с нашим общим «я», с его неслыханными претензиями и элегической влюбленностью в себя. Смех, издевка, осмеяние — это мероприятия по промывке, по расчистке, они подготавливают грядущее оздоровление. Сам источник народного

смеха и комического вообще — это та булавка, что прокалывает раздувшийся от важности шар, коим является наше «я». Это Арлекин, Чаплин, все «облегчители» этого «я». Комическое — это призыв к смирению. «Я» вечно прилюдно теряет штаны. Условности и предрассудки стараются прикрыть голый зад человека, и в конечном счете мы забываем про свою природную наготу. Так что я готов «раскрыться», как ты говоришь, не краснея. На то есть и другие причины. Во-первых, мой сын еще слишком мал для того, чтобы мы с ним могли по-настоящему встретиться и я мог ему все это рассказать. А когда он окажется в состоянии понять, меня здесь уже не будет. Меня это страшно допекает. Страшно. Мне бы хотелось поговорить с ним обо всем этом, когда он окажется в состоянии понять, но меня уже здесь не будет. Это технически невозможно. Вот я и обращаюсь к нему сейчас. Он прочтет со временем. И потом, есть, в конце концов, такая вещь, как дружба. Я ощущаю, что окружен невероятным количеством друзей, в это трудно поверить... Люди, с которыми я даже не знаком... Читатели пишут. Ты получаешь, положим, пять-шесть писем в неделю в течение многих лет, а на одного читателя, который пишет, приходится, возможно, сто, которые думают обо мне, как он, которые думают и чувствуют, как я. Получается колоссальная масса дружбы. Тонны и тонны. Они задают мне всякие вопросы, а я не умею отвечать, давать советы, в этом есть что-то менторское, и не могу поговорить с каждым из них отдельно, так что здесь я говорю с ними со всеми... Они больше не станут просить у меня советов после этого, они поймут, что я неспособен дать их самому себе и что, по сути, на главные вопросы ответа нет.

Ф. Б. *Ты ощущаешь обязательства по отношению к своим читателям?*

Р. Г. Никаких. Я не общественно полезная организация. Зато я верен в дружбе... тебе это известно. Но предупреждаю, я не собираюсь говорить *все*, потому что черту, за которой начинается доносительство, я не перехожу. Невозможно до конца «раскрыться» самому, не «раскрывая» при этом других, тех, чьи секреты сыграли какую-то роль в твоей жизни. Я соглашаюсь на «скандальность» в том, что касается меня самого, но я не вправе подставлять других, потому что для меня «скандальность» означает не то же самое, что для них. Еще осталось много людей, для которых скандально то, что естественно. Секс, например. И потом, есть чужие секреты, признания. Люди, с которыми я едва знаком, доверяются мне с удивительной легкостью. Не знаю, почему они это делают, думаю, потому что понимают, что я не из полиции.

Ф. Б. ?!

Р. Г. Да, они чувствуют, что я не следую параграфам полицейского устава в вопросах морали, не сужу по ханжеским критериям. Мне противна благочестивая ложь во имя морали, я ненавижу фальшивые декорации. Я не считаю, что, закрывая бордели, вы доказываете, что сами не продаетесь. Когда ты обличаешь аборт с высоты своей «морали», как это делает, например, Коллегия врачей, отлично зная, что миллион женщин ежегодно будет по-прежнему подпольно подвергать себя пыткам, ну что ж! — я говорю, что эта вот «моральная высота» — низость. Это мораль сытых, из той же области, что и христианство без смирения, без жалости, которое не знает про существование комнаты для прислуги. «Жизнь священна» — это прежде всего вопрос: какая дается жизнь, какой шанс? Бывают такие условия, когда «священный характер жизни» — это геноцид... Но мораль полицейского устава слепа, ей плевать, она не вникает, и это мелко-мелко... мелкобуржуазность или мелкомарксизм. Так что я с наиполнейшей свободой буду говорить о себе самом, но не о других. Вот мои причины, вот почему я согласился, и ты можешь вести свой «допрос» как тебе заблагорассудится. Я буду отвечать. И потом, возможно, есть что-то, чего я сам про себя не знаю и что ты мне откроешь, расспрашивая меня. И возможно, это поправимо. Хотя меня бы это удивило. Так что давай.

Ф. Б. *В тебе слились писатель и мировая «звезда», человек и фигура. Эти два Романа Гари хорошо уживаются друг с другом?*

Р. Г. Нет, очень плохо. Они друг друга ненавидят, делают друг другу гадости, ссорятся, врут, строят друг другу козни и по-настоящему пришли к согласию лишь однажды, как раз по поводу этих бесед, надеясь помириться... Да, вот и еще одна причина. Хорошо, что ты напомнил мне об этом.

Ф. Б. *Все читатели «Обещания на рассвете» знают, что тебя воспитала необыкновенная мать...*

Р. Г. Она стала «необыкновенной», потому что «Обещание на рассвете» вызволило ее из забвения, в которое канут все матери, и «познакомило с ней публику». Существует видимо-невидимо «невероятных» матерей, о которых никто не помнит, потому что их сыновья не смогли написать «Обещание на рассвете», вот и все. Во тьме веков полно восхитительных неизвестных, неведомых матерей, абсолютно не осознающих свое величие, как не осознавала и моя. Матерей, растящих своих детей в куда более невыносимых условиях, чем те, в которых билась она. Матерей надрывающихся, старина, и надорвавшихся. Я смог спасти от забвения одну, и всего-то. Правда, она была исключительна в силу своего блеска, колоритности, яркости — но не в силу любви,

понимаешь, не в силу любви, она была в лидирующей группе, вот и все. Знаешь, матерям никогда не воздают по заслугам. Моя, по крайней мере, получила книгу.

Ф. Б. Я хорошо ее знал. Я часто приходил в отель-пансион «Мермон» в Ницце, когда мы с тобой были еще подростками, и я даже жил там. Так что я один из редких свидетелей, которые могут сказать: да, все именно так, она была такой, какой ты ее описал в «Обещании на рассвете», восхитительной и полной безумной любви, но мне кажется, ты недостаточно показал, как, наверно, трудно было мальчишке с ней жить... Она была властной, вспыльчивой, восторженно-мечтательной и экстравагантной... Уверен ли ты, что в тебе, в твоей жизни не оставили следов те травмы, которые наносят «деспотичные матери»?..

Р. Г. Ни мать, ни сына, ни мужчину не делают по учебникам психологии, жизнь плевать хотела на правила и предписания. Психоанализ — дитя богатых. Не будем забывать, что Эдип был царевичем, и это главное, а Фрейд об этом подзабыл, разве нет? Все это происходило во дворцах... Единственное, что я видел в своей матери, — любовь. Это примиряло со всем остальным — так же было и со всеми другими женщинами... Меня сформировал полный любви взор женщины. Поэтому я любил женщин. Не чересчур, потому что любить их достаточно нельзя. Совершенно ясно: я всю жизнь искал женственность. Без этого нет мужчины. Если это называется нести на себе отпечаток материнского влияния, согласен — и хочу его еще и еще. Рекомендую и другим. Настоятельно советую. Я даже не ощущаю, что вернул свой долг. Женщин я так и не научился любить, не научился давать, отдавать все, я был слишком скуден, слишком скуден внутри, но я им давал то малое, что у меня оставалось, потому что литература забирала много. Так вот, «деспотичные матери», которые «лишают мужественности», эдипов комплекс... мать божья! Если в это верить, то я должен был бы вырасти, по меньшей мере, гомосексуалистом или импотентом, чтобы соответствовать эдиповым сказкам. Этого не случилось. Скажу тебе больше. В детстве, когда мне было двенадцать, я так хотел женщину, что попытался трахнуть калорифер. Радиатор. Он был теплым, и в нем была щель. Засунуть туда член я смог, но вынуть — нет. У меня до сих пор сохранилась отметина. Когда жизненная сила достигает некоего уровня, животное начало сильнее всех учебников. Во мне слишком много от кобеля, от зверя, чтобы у меня могли быть какие-то изысканные проблемы с матерью... Я сразу тебе об этом говорю, потому что мне постоянно тычут в нос «Обещание на рассвете», пытаюсь все

объяснить. Знаешь, давным-давно где-то во тьме пещер неизбежно происходило кровосмешение, все мы вышли из инцеста. Но я никогда в жизни не испытывал ничего похожего на влечение к матери. Никаких обрывков воспоминаний, ни любопытства, ничего подобного. Я рос без отца, и это меня тоже не подкосило. Ладно, давай поиграем. Предлагаю тебе такую штуку: коль скоро меня вырастила мать — этакое «священное чудовище» — властная, деспотичная, значит, раз я воевал так, как я воевал, то делал это для того, чтобы «освободиться от своей матери через насилие». Только вот можно сказать и по-другому: что моя мать хорошо меня воспитала, что она сделала из меня мужчину. В действительности «кастрирующие» матери не любят своих детей. Когда есть любовь, все остальное не имеет значения. Я никогда не искал в женщинах мать, но совершенно очевидно, что я всегда предпочитал женщин калориферам, даже самым располагающим. В детстве меня окружала нежность, и поэтому мне необходимо, чтобы вокруг меня была женственность, и я всегда старался развить ту долю женственности, которую носит в себе каждый мужчина, если он способен любить. Это очевидная истина, и у меня такое смутное чувство, что матери существуют здесь, на земле, как раз для этого — чтобы создать эту потребность, внести эту долю женственности, без которой никогда бы не было цивилизации. Правда, мне это иногда выходило боком, потому что ведь женщины всюду, так что порой есть от чего сойти с ума. Мужчина, который не носит в себе частицу женственности — пусть даже это выражается в ощущении ее острой нехватки, как абстинентный синдром у наркоманов, — тоски по женственности, это недоросль. Первое, что приходит на ум, когда произносится слово «цивилизация», это некая мягкость, некая материнская нежность...

Ф. Б. В 1945 году, ты, еще летчик в чине капитана, публикуешь свой первый роман «Европейское воспитание». У юного героя этой книги нет отца, он погиб в польском Сопротивлении... Два года спустя появляется роман «Большая вешалка»; он прошел почти незамеченным во Франции, но под названием The Company of Men стал твоим первым большим успехом в Америке. Герой книги — подросток, чей отец героически погиб во французском Сопротивлении...

Р. Г. Послушай, Франсуа, ты ведь не станешь меня уверять, что сам так думаешь?

Ф. Б. Я считаю, что нужно об этом поговорить, вот и все. Предположим, что я тебя провоцирую, чтобы дать возможность отреагировать.

Р. Г. Иными словами, если я примкнул к де Голлю, так это

потому, что он явился для меня образом героического отца, которого у меня никогда не было. Так писали, я знаю. Только это не выдерживает никакой критики. Это все дешевые психоаналитические штучки, заклинания. Зачем бы мне было дожидаться двадцати семи лет, чтобы выбрать себе отца, и почему я выбрал де Голля, а не, к примеру, Сталина, который был тогда очень модным папочкой? Я никогда не «выбирал» де Голля. Де Голль сам себя выбрал, он прибыл в Англию за несколько дней до меня, вот и все, я даже не слышал его обращения восемнадцатого июня, и мои с ним отношения с самого начала были очень непростыми. Из двенадцати раз, что я встречался с де Голлем, по меньшей мере, раза четыре или пять он выставлял меня за дверь. Ему в какой-то мере нравилась моя наглость, потому что она позволяла ему чувствовать себя человеком толерантным, а поскольку я был скандалистом, разыгрывал из себя такого вояку из старой гвардии, он мог чувствовать себя Наполеоном. Я безгранично восхищался де Голлем и при этом непрерывно испытывал раздражение. В моем представлении де Голль — это слабость, говорящая «нет» силе, в Лондоне он был совершенно одинок в своей абсолютной слабости, человек, говорящий «нет» самым крупным мировым державам, «нет» — разгрому, «нет» — капитуляции. Я видел в этом само положение человека в мире, сам удел человеческий, и отказ капитулировать — по сути, единственная форма достоинства, какая нам остается. Де Голль в июне 1940 года — это Солженицын. Но мой первый опыт общения с ним был кошмарным. Первые «свободные французы»^[3], прибывшие в Лондон в июне 1940 года, — это были парни, с которых будто живьем кожу содрали, и они хотели только одного: драться. Де Голль в то время не значил для нас ничего, мы его не знали и вообще знать ничего не хотели, нам надо было сражаться. Однако вскоре началась политика, пошли махинации. Нас не пускали в английские эскадрильи, не хотели, чтобы нас поубивали поодиночке среди англичан, хотели подождать, пока с бору по сосенке наберется достаточно народу, чтобы сформировать французские части, французские эскадрильи. Был там один штабной офицер из Свободных французских военно-воздушных сил — в них и собралось-то человек сто, и лишь половина прошла подготовку, — которого звали майор Шенвье. Уж не знаю, по какой причине, но он стал для нас козлом отпущения, мы были убеждены, что это он мешает нам вступать в эскадрильи Королевских военно-воздушных сил. Мы держим совет и решаем его убрать: все это было весьма в духе ОАС^[4]. Ликвидацию поручили мне — я уже тогда внушал доверие. Шенвье приезжает с инспекцией в Одихем, и мы приглашаем его

совершить тренировочный полет. Наш бесхитростный план был очень прост: мы поднимаемся в воздух, Ксавье де Ситиво, сидящий за штурвалом, — он и поныне жив, поселился, кажется, в Сен-Тропе — имитирует техническую поломку, я же сзади оглушаю Шенвье, выбрасываю его из самолета, а потом мы говорим, что парень запаниковал, когда забарахлили двигатели, выпрыгнул, а его парашют не раскрылся. Итак, Шенвье садится в самолет, и мы взлетаем. Но видно, у этого типа шевельнулось какое-то предчувствие. Наверное, у меня было такое выражение лица, которое ему не понравилось. Он забрался назад, в стрелковую башню, и когда я, следуя сценарию, принимаюсь тащить его оттуда за ноги, он цепляется, вопит, брыкается... А я тащу его за ноги, в руках у меня остаются его подбитые мехом сапоги, и я гляжу на его голые ступни... И вот эти голые ступни меня полностью деморализовали. Они были голые, совершенно белые, чуток замызганные даже, ужасно незащищенные, человеческие, в общем. У меня мелькнула мысль взять зажигалку и поджарить ему пятки, чтобы вынудить его вылезти, но я не создан для пыток, как в Алжире. Ничего не поделаешь. Я не смог. Мы сели, Шенвье вернулся в целости и сохранности. Можешь себе представить, сколько мне пришлось давать объяснений: адмиралу Мюзелье, адмиралу Обуано... Я было пытался их убедить, что это обычай такой, боевое крещение в воздухе: с нового командира стягивают обувь, но Шенвье натерпелся такого страха, что требовал для меня расстрела, не меньше. В конце концов мы им сказали, что хотели лишь припугнуть его, потому что он не пускал нас в бой. Нас вызвал де Голль. Со мной там были Букийар, Мушотт, Канеппа, Блез и еще кто-то. И вот я излагаю ему нашу точку зрения... ведь я был лицензиатом права! Я говорю, что невозможно больше ждать, что мы приехали сражаться, что нас во Франции приговорили к смерти как дезертиров, что нужно разрешить нам летать с английскими эскадрильями. Он слушает. У него нервно подергиваются усы, видно, что злится. Затем он встает: «Очень хорошо, отправляйтесь... И главное, не забудьте погибнуть!» Я отдаю ему честь, разворачиваюсь, направляюсь к двери, и тут у старика, похоже, заговорила совесть. Он решил как-то все сгладить. И бросил мне вслед: «Впрочем, с вами ничего не случится... *Погибают всегда лучшие!*» Иначе говоря, чтобы сгладить, он отвесил мне еще одну словесную оплеуху. Была в нем некоторая доля свинства, этаким способом уколоть, отыграться. Но он оказался прав. Погибли лучшие: Букийар, Мушотт... все. Но наша взяла. Начиналась Битва за Англию, и французские летчики смогли летать в английских эскадрильях, после чего были сформированы

французские эскадрильи... Не понимаю, почему ты заставляешь меня говорить обо всем этом. Это давно умерло.

Ф. Б. Я тебя не заставлял, ты сам об этом заговорил...

Р. Г. Ах так.

Ф. Б. Я вспомнил про «Европейское воспитание» и «Большую вешалку», чтобы спросить совсем о другом. Когда тебе было шестнадцать-семнадцать лет, тогда, в Ницце, ты сильно рисковал «сбиться с пути», стать отщепенцем. В тебе ощущалась какая-то ярость, ущемленность и озлобленность... Те, с кем ты тогда дружил — Эдмон Гликсман, Сигюр Норбер, ныне представляющий ЮНИСЕФ в странах третьего мира, дай я сам — мы беспокоились и часто тебе об этом говорили, по-моему. И уже в первых твоих книгах, особенно в «Большой вешалке», в 1949 году, появляются несовершеннолетние правонарушители и говорят от твоего имени, тут невозможно ошибиться. Из всего, что ты написал, именно в Люке из «Большой вешалки» я больше всего узнаю тебя, каким ты был в семнадцать лет... Откуда эта зацикленность на несовершеннолетних уголовниках? Не оттого ли, что ты сам чуть было не сорвался, входя во взрослый мир?

Р. Г. Не знаю. Началась война. Быть может, это меня спасло, не знаю. Впрочем, я так боялся того, что кипело внутри меня, что уже собирался записаться в Иностранный легион в 1935 году, но тут пришла бумага о моей натурализации, и я смог выбрать авиацию. Да нет, знаешь, не думаю, чтобы я сорвался. Не знаю, кем бы я стал, если бы не война — отличная характеристика нашей цивилизации, — но думаю, я не мог «плохо кончить», то есть стать сутенером или грабителем. Но опасность и правда была, согласен. Выход из отрочества был самым «скользким» периодом в моей жизни. Я мог стать кем угодно. На самом деле, знаешь, я нисколько не рисковал. Я колебался, но у меня был центр тяжести, у меня был внутренний свидетель: моя мать. Но как раз из-за матери и случались моменты...

Ф. Б. Азов.

Р. Г. Азовым его не называли. В Ницце среди русских его звали Заразов.

Ф. Б. В Ницце в тридцатые годы было десять тысяч русских.

Р. Г. И это прозвище происходило от русского слова «зараза». Он был жутким мерзавцем, ростовщиком, он выжимал из моей матери все соки и одалживал ей деньги под двадцать процентов. Я его не убивал.

Ф. Б. Тебя трижды допрашивала полиция...

Р. Г. Разумеется, ведь неделей раньше я набил ему морду — он заявился к нам и, схватив мою мать за горло, стал требовать у нее свои двадцать процентов. Несколько лет назад один «очень

порядочный» господин пришел ко мне с предложением доверить ему мои гонорары, он собирался вложить их под двадцать процентов. Ему я тоже набил морду. Ну а Заразову я тогда сказал, что в следующий раз, и так далее и тому подобное... И поскольку нашлись свидетели, а я был не очень популярен в квартале, потому что мать отправляла меня бить морду то одному, то другому, кто ее «оскорбил»...

Ф. Б. *Знаешь, есть срок давности.*

Р. Г. Но не для рук. Руки все помнят. Во всяком случае, мои. А в тот день меня даже не было в Ницце. Я уехал в Грасс на чемпионат по пинг-понгу. Я даже помню фамилию своего противника в финале: Дормуа. Но тогда на юге Франции я был как какой-нибудь алжирец сегодня, сразу же подумали на меня. Со мной в Грассе в тот день был десяток приятелей, которые меня видели. Это не я его прирезал. Но признаюсь, я был «на грани», подростки часто бывают «на грани», а особенно сегодня, потому что у них больше жизненных сил, чем жизни, больше жизненных сил, чем возможностей выразить себя в жизни и через жизнь, что и приводит к маю 68-го, или к наркотикам, или к уголовщине, или они становятся старичками в двадцать лет. Меня подстерегали разные опасности. Например, в ту пору я сопровождал в качестве гида автобусы с туристами. Их всегда тянуло в бордель. Так что нужно было везти их в «Ферию» на улицу Сен-Мишель. А в «Ферии» был кинозал, где показывали порнуху. И бандерша предлагала нам процент со всех клиентов, которых я привел бы в порнозал... А мне было всего семнадцать... И были шлюхи, которым хотелось поиграть со мной в «мамочку» и которые хотели поддержать меня на праведном пути, засовывая мне в карманы по пятьдесят франков... Я всегда отказывался, мать бы меня убила.

Ф. Б. *Она бы ничего не узнала.*

Р. Г. Та, что внутри меня самого, узнала бы. Я носил ее в себе. Полагаю, именно это и называется «мать-захватчица», «мать-тиран». Я всегда носил в себе такого свидетеля и сейчас еще ношу. Подростки становятся хулиганами, потому что у них нет свидетелей. Отцам и матерям на них наплевать, или у них вообще нет ни отца ни матери. Без внутреннего свидетеля можно делать что угодно. Большинство несовершеннолетних преступников сегодня — мальчишки, у которых нет пристанища, нет уголка, где их знают, где на них смотрят булочник, бакалейщик, угольщик, у них нет точки отсчета, нет центра тяжести, нет свидетелей, и вот можно вытворять все, что угодно, нет образца для подражания, это пустота, и тогда все позволено.

Ф. Б. *Твоя мать ощущала опасность?*

Р. Г. Временами — да, на нее находил страх. Она орала. И напрасно, это было лишнее, потому что она уже поселилась во мне и жила там как дома. Вот тебе пример. Маргарита Лаэ научила меня танцевать. Тогда на пляже был один перуанец, Чикито. Ну, в общем, мы его так называли. Он отвел меня в «Пале де ля Медитерране», где требовались жиголо, чтобы танцевать со зрелыми дамами. Ты, с густо напомаженными волосами, усаживаешься за столик с такими же профессиональными танцовщицами. Мужья присылают за тобой официантов. Ты танцуешь с женой, и муж всучивает тебе чаевые. Можно было заработать пятьдесят франков за один, как тогда говорили, «чай с танцами». Моя мать прознала про это и разоралась — выдала свой коронный номер по полной программе. И зря, потому что я этим не занимался. Как только я узнал, что надо мазать волосы помадой, я сказал «нет». Мне всегда было противно втирать что-то в волосы, не знаю почему, может, потому что Эдип был лысым. Порой мужья вроде бы даже приглашали жиголо домой, а сами смотрели. Вот в это я уж никак не могу поверить. Тридцатые годы были очень старомодными по сравнению с тем, что происходит сейчас. И скатиться по наклонной плоскости я рисковал не столько в Ницце, сколько в Париже: там я, в принципе, был предоставлен самому себе. Но это не так: мать по-прежнему была внутри меня, она не сводила с меня глаз. А в Париже в тридцатые «алжирцу» — тогда говорили «чурке» — без гроша в кармане было паршиво. Не знаю, помнишь ли ты Брэдли. Нет? Так вот, это был американец, из молодых, да ранний, «потерянный» уже в 1934 году. В Париже на улице Роллен в отеле «Европа» обитал английский художник Ян Петерсен, который иногда приглашал меня поесть и всякий раз предостерегал в отношении Брэдли. Родители отказались помогать тому деньгами, и он нашел для себя выход. В ту пору на улице Миромениль находился некий особый бордель. Там обслуживали женщин. Иногда они приходили со своими мужьями. Таким способом Брэдли зарабатывал по две тысячи франков в месяц. Он пришел ко мне и предложил эту работенку. Я стукнул его бутылкой по голове. Мне было обидно до слез — ведь если он осмелился предложить мне такое, значит, это было видно... Я хочу сказать, ему было видно, что я в отчаянном положении. Его предложение подчеркивало, в каком аховом положении я оказался: «алжирец» двадцати одного года, в Париже, один, без друзей. Это тогда твои родители приглашали меня и подкармливали. Я разрыдался — кажется, я никогда в жизни так не рыдал, — и если я отреагировал с такой яростью — я готов был его убить, — то потому, что меня это искоушало. Я сам себе в этом не признавался, но меня это

искушало. Понимаешь, я с ума сходил от желания, а подружки у меня не было, глухо. Меня просто распирало. В ту пору одна лишь мысль, что есть средство избавиться от того, что не дает жить, была манящей. Потому что, по словам Брэдли, эти женщины совсем не обязательно были старыми и безобразными, — нередко попадались красивые и порочные, или порочными были их мужья. Так что, сам понимаешь... сам понимаешь... Мне двадцать один год, я дурею от похоти, там дожидаются женщины, и вдобавок за это платят. Но дело было еще и в другом. Есть, особенно у молодых, потребность ощущать себя *мачо*. Хочется быть крутым, настоящим, железным, всем говорить: «Я не только ее трахнул, она еще и заплатила мне!», хочется сказать обществу «на-кося! выкуси!», плюнуть в лицо этому обществу, отвергнуть его законы, его «честь». Тут всего понамешано. Ты выброшен из жизни. Ты весь — это только твой пенис плюс беспросветное отчаяние. Единственное, в чем ты уверен, что действует, что не отпускает тебя, — это эрекция. Все вокруг — тревога, страх, лишь одна она — достоверность. И если у тебя нет внутреннего свидетеля, ты пропал. Вот почему нет прощения старым педрилам и растлителям маленьких девочек, которые развращают детей, заманивая их деньгами, шмотками, жратвой, тачками. Это все равно что торговля наркотиками, даже без наркотиков... Секс не подпадает под моральные оценки, но не тогда, когда пользуется нищетой и растерянностью. Ну так вот, я вырубил Брэдли, и меня забрали легавые, а вызволил меня Гликсман-старший, находившийся в Париже проездом. Он тогда был почетным консулом Польши в Ницце и имел вес. Я вернулся к себе на улицу Роллен и проплакал сутки. Мне ужасно хотелось пойти в этот бордель: не ради денег, а просто чтобы потрахаться. Мерзавец Брэдли во всех красках расписал мне этих прекрасных надушенных пантер, а я волком выл без женщины. Можешь быть спокоен, если бы не это недремлющее око, которое всегда смотрело на меня и всегда будет смотреть, я бы туда пошел, и не знаю, что бы из меня потом получилось, потому что я бы никогда себе этого не простил. Я бы стал относиться к себе как к мрази. А если ты относишься к себе как к подонку, ты наверняка им и становишься.

Ф. Б. А банк?

Р. Г. Нет, это не я, это Эдмон. Он хотел ограбить банк. Я сразу же сказал «нет». Он соорудил себе целый маскарадный костюм и даже подошел ко мне на бульваре Монпарнас и попросил огоньку. Я его не узнал. Но он не смог повернуть это дело, потому что так и не смог найти банк, который был бы расположен так, чтобы все прошло как надо и на сто процентов

безопасно. Эдмон относился к тому типу авантюристов, которые хотят стопроцентной безопасности: по-моему, ему только безопасность и была нужна. Как тебе известно, он стал высокопоставленным чиновником в Соединенных Штатах и сейчас весит сто двадцать кило, у него пятеро детей, которых он воспитал в христианском духе, а выйдя в отставку и покинув Госдепартамент, стал преподавать философию в одном из университетов. А что еще, по-твоему, он может преподавать?

Ф. Б. *И ты ни разу не «оступился», не сорвался? Не крал?*

Р. Г. Только жратву. Но уж зато ее — без зазрения совести, с легкостью, с полным ощущением собственной правоты. Мораль всегда на стороне голодного человека, который ест. Деньги у меня заканчивались дней за десять до конца месяца. Я воровал круассаны в кафе «Капулад», а сэндвичи с ветчиной в «Бальзаре». У них тогда сэндвичи лежали совсем рядом с кассой, на стойке, что весьма удобно. Сэндвичи были превосходные, лучшие в Латинском квартале. Я попробовал и в других местах — в «Ля Сурс», в «Клюни», всюду понемножку, где можно было подобраться к сэндвичам, но лучшие были в «Бальзаре», и я оставался их клиентом целый год. Управляющим там работал молодой человек по имени Роже Казес. Теперь он хозяин «Липпа», где я часто обедаю, когда бываю в Париже. Я возвращаю ему долг. Кстати, его наградили Академической пальмовой ветвью^[5]. Да, воровать я мог только жратву, да и сейчас тоже, а ведь я — командор ордена Почетного легиона... это хорошее прикрытие. Но я не остепенился.

Ф. Б. *Твое «я не остепенился» — это вызов. Я бы даже сказал, это политика...*

Р. Г. Не надо обобщать. Я не думаю, например, что коррупция представляет угрозу для капиталистической или советской системы. Скажу даже больше: я считаю, что без нее они бы не развивались. Думаю, что если бы капиталистическая и советская системы были «чисты», они бы давным-давно рухнули. Коррупция — это жалкий, но неизбежный амортизатор бюрократии как на Западе, так и в странах народной демократии. Если бы не существовало взяточничества, бюрократия застопорила бы все возможности развития. Не будь жульничества, нормальные бюрократические сроки сделали бы систему недейственной. Коррупция — это плата за беспредел. Ленин это отлично понял с нэпом: он легализовал махинации, «частный сектор». Истинные большевики, которых казнил Сталин, не были продажными, поэтому, очевидно, привели бы советскую систему к гибели. Если бы Сталин не был извращенцем до мозга костей, если бы он не погубил коммунистический идеал резней, «чистками» и

концлагерями, система бы, вероятно, рухнула сама. Сталин, возможно, спас советскую державу посредством коррупции коммунизма. Хочешь еще одно доказательство? Я видел в странах народной демократии плакаты «Кто не работает, тот не ест». Но единственное, к чему привело стахановское движение и такая концепция труда, это самый высокий в мире уровень прогулов. «Железная дисциплина» смягчается отсутствием на рабочих местах самих рабочих. Коррупция не представляет угрозы для капитализма: он продлевает свое существование при помощи коррупции, благодаря ей дела делаются, заказы заказываются, недвижимость двигается, полная занятость дает навар, а банки могут делать то же самое, что и «Гаранта фонсьер»^[6], только более ловко. Без коррупции не было бы прироста. Будь Альенде коррумпирован, он до сих пор стоял бы у власти. Вот почему социалистам так туго приходится в мире: в социалистическом идеале есть та доля поэзии, «доля Рембо», без которой нет цивилизации, нет человека и никогда бы не было Франции, Жанны д'Арк, де Голля и компании; но поскольку эта доля поэзии есть идеализм и лирика, то она исключает коррупцию, и социалисты регулярно разбивают себе морду о собственную честность. Соединенные Штаты сейчас — это страна, в которой коррупция создала необыкновенное материальное процветание. Вот почему все могущество там в руках адвокатов: цель — контролировать закон *легальным* путем, установить паралегальное общество, которое полностью размещается в дырах, специально обустроенных для этого законом. Я говорю не только о нефтепромышленниках из Техаса и прочих мест, освобожденных от налогов, я говорю о системе *в целом*. Я однажды спросил одного американского миллиардера, согласится ли он платить пятнадцатипроцентный налог, и он мне с лучезарной улыбкой ответил, что нет, потому что с помощью всевозможных «обществ и компаний» он платит куда меньше пятнадцати процентов. Очевидно, что общество, которое постоянно нуждается в адвокатах, как в Америке, — это общество, в котором сами законы предусматривают некий запас легальной коррупции. Вице-президент Агню был смещен, потому что брал взятки, так что можешь себе представить, что происходит в Штатах на более скромных политических и административных должностях. Все действующие лица «Уотергейта» — адвокаты. Знаешь, почему ведется столь яростная атака на Никсона? Потому что хотят доказать, что единственный продажный человек — это он, что американское общество тут ни при чем. Гонорары американских адвокатов превосходят все мыслимые пределы и исчисляются миллионами долларов, интеллектуальная

нечестность проникает даже в язык, даже в нормы французского языка. Когда такой человек, как Жискар д'Эстен, говорит, что отныне *треть* авансового платежа по налогу будет равна *сорока трем процентам*, это не что иное, как коррупция французского языка. Когда так говорят со страной, ее надувают. Мне кажется, что в жизни политической системы — к примеру, в СССР или во Франции времен оккупации, или перед лицом бюрократического бреда, — наступает момент, когда коррупция становится здоровым защитным рефлексом народа, когда она становится честнее системы. Системы сегодня обладают такой сокрушительной мощью, перед которой человек абсолютно беззащитен — а это измена любому социальному идеалу, — и в результате коррупция становится единственным доступным человеку шансом.

Ф. Б. *Говорят, это пока еще не касается Китая...*

Р. Г. Я тоже знаю одну настоящую девственницу...

Ф. Б. *Китай тебя смущает, да?*

Р. Г. Отнюдь. На мой взгляд, коммунизм был гигантским прогрессом для Китая. Но поскольку вопрос о коммунизме наверняка будет постоянно возникать в нашем разговоре, я хочу расставить точки над «i». Что важно в обществе — для меня, — так это его себестоимость, выраженная в человеческом страдании. Не маоисты заставили Китай заплатить эту цену, а век, который им предшествовал. Если знаешь, каков был Китай на протяжении ста лет до этого, то ясно, что цена была заплачена задолго до Мао, что Китай получил свой коммунизм почти даром в сравнении с той ценой, которую он платил за капитализм в течение столетия. Китайский народ провернул выгодное дельце, на данный момент. Продолжение следует.

Ф. Б. *В «Повинной голове» ты говорил о Китае не так отстраненно, когда речь шла о насилии и пытках «культурной революции»...*

Р. Г. Я просто сделал еще один шаг в том же направлении, вот и все. Раз китайцы объявляют о своем намерении построить новую цивилизацию после того, как разрушат прежнюю — цивилизацию Конфуция, судя по всему, — что они уже благополучно и сделали, значит, они признают, что на данный момент вообще не имеют цивилизации. Следовательно, то, что мы видим, это только приготовления. Мгновенная цивилизация, построенная за тридцать лет и защищенная от «ревизионизма», — такого не существует, это исключает будущее, это из области прорицаний. Если китайцы берутся строить новую цивилизацию, то лишь потому, что ни они, ни кто-либо другой не знают, что из этого получится. Это непредсказуемо. *Этого нет.* Летающая

тарелка. Нужно подождать, пока она приземлится. Вот почему я не очень склонен критиковать Китай. Сейчас они едят досыта и не умирают от эпидемий. В Германии тоже. Это немало по сравнению с прошлым, но ничего не говорит о будущем.

Ф. Б. Мы часто виделись с тобой в Париже в 1935–1937 годах в отеле «Европа» на улице Роллен. Когда ты не мчался на поиски ста су, ты в своей крохотной комнатенке писал романы. Издатели отвергали твои рукописи как «слишком жестокие, патологические и непристойные». Именно так ответили тебе тогда «Галлимар» и «Деноэль»... Я нередко видел тебя в отчаянии, готовым на все, как мне казалось. Мои родители очень любили тебя и беспокоились. Иногда ты приходил к ним, когда уже совсем не знал, куда приткнуться...

Р. Г. Я никогда не забуду твоих родителей. Они обращались со мной как с равным, без капли снисходительности.

Ф. Б. Иногда ты пропадал. Это было смутное время в твоей жизни. Так что ж, на самом деле... ни одного низкого поступка?

Р. Г. Был. Один. Никаких налетов, сутенерства. Совсем из другой оперы. Я сменил уж не знаю сколько профессий, одна глупее другой, но я выжил. Единственная работа, от которой я чуть было не свихнулся, это когда нужно было писать от руки адреса на конвертах для торговых фирм. Я вкалывал по пять-шесть часов в день, и эта каллиграфия настолько противоречила моему темпераменту, что я порой кончал в штаны от нервного возбуждения. Да, я совершил низкий поступок. У меня были оправдания, но не в глазах моего внутреннего свидетеля — который никогда об этом не узнал, но с тех пор непрестанно заставляет меня из-за этого краснеть.

Ф. Б. Ну и?..

Р. Г. Эта история не связана с деньгами. Впрочем, не понимаю, чем она может быть интересна... Знаешь, бывают вещи, совсем ничтожные, которые становятся для тебя важными с возрастом... То, что я об этом рассказываю, может показаться совершеннейшим идиотизмом... Времена суровы.

Ф. Б. Нам не стоило встречаться, раз заходит речь о том, что есть «ничтожные вещи, которые»...

Р. Г. Я говорю об этой девушке из «Обещания на рассвете». Ее звали Франсуаза. Говорить-то я о ней говорил, но вот сказал не все: мое «я» еще почитало себя самое. Так вот, этой красивой брюнетке пришла в голову мысль — показавшаяся мне в то время ошеломляющей — «отдаться мне», кажется, это выражение до сих пор еще в ходу. Мы встретились с ней на улице Муфтар, когда я был чем-то вроде нынешнего алжирца, только без нефтяного престижа. Она «отдалась» мне. Это было совершенно неожиданно

и шиворот-навыворот со всех точек зрения, потому что я был влюблен не в нее, а в ее сестру, которая так об этом и не догадалась. Сестру звали Анриетта, она была светловолосая, с маленьким, почти прозрачным лицом в стиле миледи и дамы с камелиями, а на нем выступающие скулы и губы, казавшиеся совсем одинокими, ярко-красными на фоне всей этой бледности, как бы потерянными, — хотелось лететь им на помощь. Светлые волосы, мечтательные ореховые глаза — полная противоположность сестре. Она отличалась некой хрупкостью, которая вызывает желание грубо ворваться в нее, той разновидностью хрупкости, которая порой сопровождается особенно удачными подвигами в постели, но с виду не подумаешь. Я запал на нее в Ницце, еще до выпускных экзаменов в лицее; она приходила в муниципальную библиотеку в ярко-красном свитере и темно-синей юбке, и ее грудки, которые... ее грудки, о которых... на которые... прошло сорок лет, а я все еще помню, какие они там были под этим ярко-красным свитером ручной вязки, и мне хочется поздороваться с одной и с другой. Но на меня клюнула ее сестра, а дар свыше не обсуждается. Затем, благодаря Франсуазе, я познакомился с Анриеттой. Разумеется, тут уж было ничего не поделать, сестры обожали друг друга, да и потом, такое все равно было недоступно, это было не для меня, знаешь, когда хочешь слишком сильно, ты ведь отдаляешь, возвышаешь, идеализируешь, не осмеливаешься. Недоступное — мы часто творим его сами. Я частенько болтал с Анриеттой, поджидая ее сестру. Я заставлял ее лежащей на диване, возле окна, с грелкой: у нее был колибациллез. Она обладала чудесным даром напускать на себя таинственный вид. После войны она посмотрела на меня один раз. По-моему, он и правда был единственным. Я пришел повидаться с ее сестрой, которая заявила о своем намерении простить меня. Это было неправдой, но она меня вызвала. Дверь оставалась чуть приоткрытой, а Анриетта шла по коридору; она остановилась и смотрела на меня в просвет в дверях, не входя. Довольно долго. Я был доволен. Это был мой реванш. Я встретил ее полтора года назад на улице Бак, и она еще раз на меня посмотрела, но я сделал вид, что не узнаю ее. Ей, наверное, было уже лет шестьдесят, но она все еще выглядела безупречно. Бывают хрупкие создания с камелиями, полупрозрачные и мимолетные, которые сотворены из стали. Очень красивая. Желанные шестидесятилетние женщины встречаются не так часто, из-за обычаев, которым они подчиняются, и потому что нужно много денег, чтобы следить за собой. Но Анриетта на улице Бак, исполнилось ей шестьдесят или нет, была такой же, как в Латинском квартале, когда ей было

двадцать два, и я притворился, что не вижу ее. Она до сих пор действует на меня все так же — внушает робость. Я рассказываю тебе об этом, чтобы показать, как мы проходим мимо. Здесь же речь идет о Франсуазе, поскольку мы говорим о моей низости, а не о моей дурости. Когда она пришла ко мне в студенческую комнату и у нас это все произошло, я уже два дня как ничего не ел. Это был конец месяца. Я разрисовывал тогда жирафов в игрушечной лавке и получал двадцать сантимов за жирафа. Я делал это на протяжении двух месяцев, и до сих пор, когда я вижу жирафа, меня тянет блевать. Жирафы снились мне по ночам, мне снилось, что один из них удрал, когда я его еще не докрасил, и мадам Тьерри выставила меня за дверь за жестокое обращение с животными. А еще была моя мать. Она была тогда в Париже. Рене Ажид, который сейчас возглавляет Институт физиологии в Тулузе, договорился, чтобы ее с диабетом положили в больницу Бруссе к Абрами и Лившицу. Но она сбежала из больницы, потому что медсестры «оскорбили» ее, назвав «киской». Так что она заявляется в мою хибару, кипя от злости, без вещей, без гроша, и требует, чтобы я отправился в больницу Бруссе и набил кому-то морду. Я ей сказал: «Мама, послушай, не сейчас, у меня есть поразительно красивая девушка, настоящая королева, которая вот-вот будет здесь, у меня любовное свидание, у меня никогда ничего подобного не было, у меня никогда больше не будет такого, я тебя умоляю, потом я пойду и набью морду хоть самому директору, клянусь, но сейчас сходи куда-нибудь в кафе, к Рене Ажиду или к Гликсману, вот адрес, это рядом, если она тебя здесь застанет, все пропало...» Она сидела на кровати и разом забыла про больницу, похоже, это ее очень заинтересовало. «Она красивая?» — «Ты и представить себе не можешь, — говорю я, — после я покажу тебе фотографию, но, ради бога, сейчас уходи, отправляйся в какое-нибудь кафе, потом я к тебе приду, деньги займем у Ажида...» Она была на вершине блаженства, вечно одно и то же, всякий раз, когда она слышала о девушке, которая смеет, которая не загубила свою жизнь, как она... Она принимала торжествующий вид и говорила с безграничным восхищением: «*Курва*. Вот блядь!» — да, с величайшим восхищением. Она уходит, я бегу вниз, звоню Рене Ажиду, чтобы он занялся ею. Десять минут спустя появляется Франсуаза — и безумие, извержение вулкана, океанические приливы... Ну, в общем, двадцать один год. Я начисто забыл про свой голод и не вспоминал о нем все три часа, но можешь себе представить, что было после. Я готов был съесть быка. Я вышел на улицу с непреклонной решимостью зайти в какой-нибудь ресторан, обожраться, а затем разыграть припадок эпилепсии — этот трюк я

проделывал не раз, — чтобы меня, наплевав на счет, вынесли из помещения, дабы не пугать других посетителей. Я проделал это раз в «Ду-сэ», и все сработало, и один раз в «Пье-де-Кошон», и это совсем не сработало, потому что, притворяясь эпилептиком, я стукнулся головой о стойку и заорал: «Ай, черт!» Мне пришлось оставить им часы — Гликсман забрал их на следующий день, заплатив по счету. Короче говоря, в животе у меня совершенно пусто, и я иду мимо кафе «Капулад». Там было несколько студентов, троих-четверых из них я знал, в том числе и Зиллера, сейчас он генеральный консул в Антверпене. Они мне машут руками. Я обжирюсь чипсами, и они угощают меня перно. Я никогда не пью, из-за... из-за детских воспоминаний, но тут залпом выпиваю стакан, опьяненный тем, что произошло, а затем еще один. Впрочем, дай ты мне и сейчас два перно — и я спячу. Терпеть не могу спиртное, от него я превращаюсь в кого-то другого. Короче, я надрался вдрызг. Приятели не обращают на меня внимания и заводят разговор о Франсуазе. Рене Зиллер тогда с ума по ней сходил. Я их слушаю, а затем триумф и перно ударяют мне в голову: я вскакиваю на стол и ору всем присутствующим: «Может, мне и нечего жрать, но вот Франсуазу я только что трахнул, и плевать я на вас хотел!» Я рассказываю это сейчас так лихо и решительно, но мне тяжело, потому что я по-прежнему считаю, что таким вещам нет прощения и я себе так и не простил. Рассказываю в назидание молодым, потому что узнал от сына, что им в лицее задают читать отрывки из меня.

Ф. Б. *Я не нахожу, что это такой уж большой грех. Я прочел статью, где тебя упрекали в том, что ты убил массу людей во время ковровых бомбардировок в 1943–1944 годах. Думаю, что этот грех в глазах многих куда тяжелее...*

Р. Г. Я убил массу людей «во имя французского народа и согласно данным мне полномочиям». Тут нет никакой связи.

Ф. Б. *Бомбардировки городов — это, думаю, ставит перед совестью проблемы поважнее, мне это кажется посерьезней, чем кричать на весь свет в двадцать лет: «Я трахнул Франсуазу».*

Р. Г. Что это еще за рассуждения в стиле Куртелина?^[7] «Зачем мне покупать зонтик за двадцать франков, когда можно купить кружку пива за двадцать су?» и тому подобное...

Ф. Б. *Тысячи убитых — это что, кружка пива? Или, скорее, зонтик? В общем, был своего рода моральный зонтик, моральный заслон, так? Все же ты из тех, кто бомбил немецкие города... Впрочем, я высказываю этот упрек не от себя: я говорю о некой известной тебе полемике...*

Р. Г. Давай поговорим об этом позже, если хочешь... Я считаю, что единственный раз в жизни, когда я себя

действительно обесчестил, это тогда в «Капуладе», не важно, спяну или нет... Я подло предал женщину.

Ф. Б. В глазах твоего «внутреннего свидетеля»?

Р. Г. В своих собственных. Потом потребовалось много времени, чтобы я смог произнести слово «женственность»...

Ф. Б. Много времени, в самом деле. И это-то как раз меня и интересует... Тебе шестьдесят. В последние годы ты говоришь о «женственности» все больше. Я бы не стал утверждать, что ты вкладываешь в это слово какой-то мистический смысл, но ты явно возводишь его на уровень основ цивилизации, новой цивилизации... Так что мне в голову приходят разные мысли. На исходе шестого десятка ты только и говоришь, что о «женственности». Прежде ты говорил о женищинах... И такое поклонение...

Р. Г. Нет, не поклонение. Ладно, хорошо, допустим — поклонение.

Ф. Б. Из-за этого у твоей кампании за «феминизацию» мира, которую ты уже несколько лет ведешь, к примеру, на телевидении и в американской прессе, есть аспекты, которые мне кажутся психологически... сомнительными, ты уж меня извини.

Р. Г. Давай топчи. Ноги для того и существуют.

Ф. Б. Так вот, я замечаю, что ты начал «теоретизировать» на тему женственности с пятидесяти семи — пятидесяти восьми лет, то есть когда ты подошел, как это случается со всеми, к своему сексуальному упадку... Не является ли этот гигантский «теоретический» подъем компенсацией спада «практики»?

Р. Г. Неплохо разыграно, старина. В следующий раз тебе стоит помериться силами со Спасским или Фишером. Ты загнал меня в угол, и ходить мне некуда. В шахматах это называется «пат». Ты и в самом деле зажал моего короля, если можно так выразиться. Прекрасная провокация, но я на нее не поддамся. Я не до такой степени нудист. Не потому, что мне есть что скрывать, но тут нельзя ответить без эксгибиционизма и без скабрёзности. Когда мы вступаем в область «сколько раз до завтрака», я больше не играю. Я отказываюсь вербально изъясняться на эту тему. Лица, которых это касается, просвещены. Это область, где «вербальное» становится чем-то вроде искусственного члена из секс-шопа, протеза. Я знаю, что это очень модно, секс в большом почете. Сегодня на изысканных сборищах «с полной свободой» говорят о том, кто как трахается и в какой позе, с подробностями и уточнениями, с описью, с цифрами в руках — всегда с цифрами в руках, за неимением лучшего. Все это обсуждается предельно хладнокровно — для пущей «объективности», но в действительности это жалкое зрелище, своего рода суррогат, словесный эротизм, похоже, весьма

заводной, для тех, кто в нем нуждается. Сожалею, я не могу об этом говорить. Я присутствовал на настоящих словесных оргиях, где все было честь по чести, с философией и сигарами, и с «еще коньячку, дорогой друг!», где употребляют такие слова, как «фелляция», для старых добрых отсосов, или «куннилингус», — слова, способные навеки отбить охоту этим заниматься, на латыни, старик, на латыни, на мертвом языке, а когда я говорю на мертвом языке, я и говорю на мертвом языке, по-другому не скажешь; разговор плавно переходит от Фрейда к Жискар д'Эстену и Киссинджеру, затронув мимоходом «управление оргазмом», и лопнуть мне на месте, старик, если я — в свои шестьдесят или около того — знаю, что означает «управляемый оргазм»; невероятно, в какие только места не забирается управленчество. Я говорю тебе это, чтобы объяснить: я терпеть не могу об этом говорить. Я отказываюсь выкладывать свои яйца на стол, я не строю из себя мачо. И вообще, как только люди начинают говорить, вместо того чтобы делать, они начинают лгать. Это «раскрепощающее» пустословие — компенсация страха, жуткого страха, что больше не встанет, фригидности, камуфляж тревоги и отчаяния. Для меня холодная элегантная отстраненность, с которой люди говорят о сексе, ближе всего к классовому страху. Есть тонкий слой сливок общества в стиле Бунюэля, который уже не знает, во что инвестировать, и инвестирует в свою ту самую штуковину; сексуальность стала последним капиталом, в который еще верят и за который цепляются. Я же ни за что не цепляюсь. В тот день, когда я больше не смогу, я больше не смогу, и точка, вот и все. Я не стану пытаться воскресить это посредством слова. Не буду заниматься словоблудием. Как эти, знаешь, выписывают словесные круги вокруг вагины, все ближе и ближе, но при этом не переходят к делу, не входят. Остаются снаружи и пускают слюни. Во мне есть животное начало, приземленное. Что до эротических книг, то мне их присылал Кристиан Бургуа, когда выпускал их, меня это все не трогает. Не понимаю. Я слышал, как вокруг обсуждают эротические книги, в которых я ничегошеньки не понял, до меня даже не дошло, кто что делал и с кем и чем и даже делалось ли там что-то вообще. Всякие там касания разных мест ресницами, опавшие листья без следа жизни, которые трутся и шуршат, или же штучки с цепями, потому что ничем другим люди не связаны... Есть две вещи, которые нельзя проделывать с гениталиями: во-первых, их нельзя одухотворять, наделять нравственностью, возвеличивать, во-вторых, их нельзя отменить, они есть, и это наше животное начало. В Коннектикуте и еще в нескольких американских штатах до сих пор действуют законы, которые

позволяют засадить в тюрьму пару, застигнутую за тем, что она совокуплялась иначе, чем полагается по правилам. Да, абсолютно точно, есть такой закон: спроси у атташе по культуре в американском посольстве, он для этого там и сидит. Трогательно, не правда ли? На протяжении всей истории всегда существовала «нравственная элита», которая никак не могла смириться с мыслью, что у нее есть половые признаки, тогда как это еще самое невинное, что есть в человеке. Когда сравниваешь с головой... Но эротизм, эротические книги, возбуждающая говорильня — это увиливание от дела. Посмертный онанизм. Если ты игнорируешь в мужчине кобеля, он от этого лучше не становится, он становится или грязным кобелем, или бешеным псом. Так что, хоть я и обязался в присутствии нотариуса говорить здесь обо всем, я отказываюсь в шестьдесят лет углубляться в тему «сколько раз». Я люблю простую еду, люблю пожрать, но не читаю литературно-гастрономические рубрики в газетах, чтобы возбуждать свои вкусовые рецепторы, и не стану делать подобного для читателей. Это западня, которую мне расставляют ежедневно, так как известно, что я склонен к искренности. Мое эфемерное «я» не вызывает у меня ничего, кроме жалости, я иду на признания от безразличия и склонности к иронии, от сознания нашей изначальной малости, но я ни разу не купился на этот фокус. Это касается лишь заинтересованных лиц, а они никогда не требовали подготовить для них проект с цифровыми выкладками...

Ф. Б. *Зря ты сердишься.*

Р. Г. Я не сержусь, я чуть повысил голос, вот и все.

Ф. Б. *Наверное, непросто быть восемнадцатилетним подростком в шкуре шестидесятилетнего господина?*

Р. Г. Да. Непросто. Еще труднее было быть восемнадцатилетним подростком в своей собственной шкуре... Но, возвращаясь к отелю «Европа» и нашим двадцати годам, могу сказать, что не знаю, что бы со мною стало, если бы не война.

Ф. Б. *В тебе уже тогда была «легионерская» струнка.*

Р. Г. Думаю, все дело в физиономии. Мое лицо внушает доверие бандитам. Оно выглядит экзотично из-за моих этнических корней и в контексте Франции вводит в заблуждение, а двадцать лет назад вызывало мысль о подозрительном чурке. Очень долго, пока я не поседел, шлюхи, например, никогда ко мне не приставали — рожка не та. Теперь пристают, потому что у меня вид респектабельный. Было очень легко в таком провинциальном городе, как Ницца в тридцатые годы, занять дурную славу или, наоборот, — отличную, это как посмотреть. Просто невероятно, до какой степени люди могли заблуждаться

на мой счет. Вот, кстати, сразу после Освобождения, когда я приехал в Париж, у меня грудь звенела от всяких блях. И вот как-то один господин из Ниццы приходит ко мне в отель «Кларидж». Я знал его в Ницце, когда мне было двадцать. Он с волнением в голосе говорит: «Я всегда верил, что вы чего-нибудь добьетесь в жизни». Я отлично его помнил: он был одной из мелких шишек в окружении Карбоне и Спирито, двух тогдашних криминальных авторитетов. Он мне тогда запретил встречаться со своей дочерью, потому что я «полное ничтожество». Поскольку я продолжал к ней наведываться — между нами ничего не было, мы еще учились в лицее, — то в один прекрасный день двое бандитов отдубасили меня в Пон-Маньяне, после чего меня забрали в полицейский участок Кюрти, местного заправилы, за «скандал в общественном месте». Пришлось торчать в камере, пока мать не ворвалась к Кюрти и не сказала ему пару слов. В общем, я перестал видаться с его дочерью: мне там ничего не светило, как ни крути, я ей был неинтересен, так что лезть на рожон значило попусту тратить время. Итак, в конце 1945 года ее отец находит меня в отеле «Кларидж», где мне как «освободителю» сделали скидку. Он приглашает меня отобедать с «друзьями». Только мужчины: пятьэтаких «старых бойцов», очень серьезных — настоящие мужчины ерундой не занимаются. После еды — сигары, восхваления Сопротивления, героев, отечества, и как они сделали все, что могли. Затем мне делается предложение. «Вы были заняты в гостиничном бизнесе, как мне помнится?» Действительно, я был официантом и метрдотелем в «Мермоне» и других гостиницах, портье, счетоводом и даже две недели мыл посуду в «Рице» в 1936 году. Отец Рене Ажида помог мне поступить счетоводом в отель «Лаперуз», и директор Кордые сказал, что из меня получится отличный хозяин, надо только проявить упорство и меня ожидает блестящее будущее в гостиничном бизнесе... Наверное, я не проявил упорства. Так вот, я сказал — да, я знаю немного это дело, а что? Тут все эти тузы принимают еще более серьезный вид и предлагают мне возглавить административный совет, который управляет тридцатью двумя отелями, разбросанными по всей Франции. «Поскольку вы знакомы с этим делом...» Мне будет причитаться для начала, объясняют они, тысяча триста в год по сегодняшнему курсу и участие в прибыли. Я не верю своим ушам. Прошу уточнений. Мне их дают. Мы вам доверяем, говорит мой «друг» из Ниццы, поскольку я вас знал, когда вы еще только начинали... Слово за слово, и я понимаю, что мне предлагают возглавить сеть борделей, они решили, что кавалер ордена Освобождения, ордена Почетного легиона и Военного креста — как раз такая «крыша»,

какая им нужна...

Ф. Б. *Что ты сделал?*

Р. Г. Я им сказал, что весьма польщен, но не могу согласиться возглавить сеть борделей, потому что совсем недавно получил другое предложение, на которое уже дал согласие, а именно поступить дипломатом на работу в Министерство иностранных дел.

Ф. Б. *И ты не взбесился?*

Р. Г. Ничуть. Не было причин. Они вовсе не стремились меня оскорбить, совсем наоборот. Чтобы чувствовать себя оскорбленным, нужно иметь что-то общее с «оскорбителями». Но видишь, какое представление составил обо мне этот «крестный отец» из Ниццы, когда препятствовал моим встречам со своей дочерью... Люди всегда занимаются *кастингом*, они раздают вам роли согласно своему воображению вне всякой связи с тем, чем вы являетесь на самом деле. Одним из самых приятных, самых мягких людей, которых я знал, был великий актер Конрад Фейдт, незадолго до смерти он сыграл шефа гестапо в «Касабланке». Всю жизнь, начиная с эпохи великого немецкого кино, он играл предателей, дегенератов и мерзавцев. И однажды он сказал мне с грустной улыбкой: «Так я могу хоть немного побыть другим». Нелегко быть мягким и милым человеком, так что на экране он отдыхал от самого себя. Нам всем позарез нужны каникулы.

Ф. Б. *Вернемся к твоему «бесчестному поступку» в «Капуладе»...*

Р. Г. Погоди. Мне бы хотелось упомянуть здесь, что тогдашний директор отеля «Лаперуз» был похож на моего друга Мартелла, аса-истребителя, он погиб в Англии, в сорок четвертом... Поскольку никто больше никогда не упомянет Мартелла, я очень хочу написать его имя здесь. Мартелл. Вот.

Ф. Б. *Итак, что же произошло после твоего подлого поступка в «Капуладе»?*

Р. Г. Зачем всякий раз возвращаться так далеко? Знаешь, с той поры я прожил немало лет...

Ф. Б. *Молодость — это всегда интересно.*

Р. Г. Я вовсе не был интересным. Например, когда меня останавливают на бульваре Сен-Жермен «молодые люди» со словами «У вас не найдется франка?», я никогда им ничего не даю, потому что я в двадцать лет так бы не смог, и я злюсь на них за то, что они могут... Меня раздувало от собственного «я», и я был заперт со всех сторон в королевстве «я», ты знаешь, я об этом уже не раз говорил, это страшно смешно... Такое самомнение, глупее не придумаешь. Видишь ли, мне недоставало очень удобного анархистского приемчика, который позволяет найти

тому, что мы собой являем, политическое оправдание и обвинить во всем общество. Ты попросту переносишь свой невроз на общество, как в XIX веке романтики переносили его на метафизику. Надо было мне пойти туда, в этот бордель на улице Миромений. Я говорил бы себе, что мне платят за то, что я трахаю общество — и даже хорошее общество. Заметь, в 1945-м я сделал удачный выбор, отказавшись стать председателем административного совета французских борделей, потому что через два года стараниями Марты Ришар^[8] бордели закрыли и я все равно оказался бы на улице. Конечно, мог бы податься в недвижимость. Но, по-моему, я правильно сделал, что предпочел набережную Орсе^[9].

Ф. Б. *Значит, эта жажда чистоты и абсолюта, которая ведет к идеалистической гордыне и сарказму, и подвигла тебя написать «Тюльпана» и «Повинную голову»?*

Р. Г. «Повинную гульбу»... Я собираюсь сменить название в новых изданиях. «Повинная гульба»... Галлимар, возьмите на заметку.

Ф. Б. А Франсуаза?

Р. Г. Да, Франсуаза. В «Капуладе» был один приятель — ты его знаешь, — и как только я поведал присутствующим о своем триумфе, он встал, заплатил по счету и помчался напрямик к малышке, чтобы в нужном виде представить меня в ее глазах. Я только-только стал приходить в себя после перно, как заявляется моя девица — и топчет меня. Другого слова не подыскать. Она прошлась по мне, поплясала у меня на роже, раздавила меня и даже вышвырнула в окно банку, где плавала моя золотая рыбка. Ума не приложу, зачем она вышвырнула рыбку, возможно, из-за каких-то фрейдистских штучек, может, она меня символически кастрировала и выбросила мой член в окно или что-то в этом роде, стоит разобраться. Настоящее чудо, что рыбка выжила. Франсуаза сказала, что всегда знала, что я подлец, и только поэтому со мной и переспала, потому что с хорошим парнем ей было бы стыдно. Она даже плюнула в меня, в прямом смысле слова. Это было ужасно. Я лежал у себя в комнате, с жуткой головной болью, просто конец света, а моя золотая рыбка валялась на улице, и я чувствовал себя таким дерьмом, что это изменило мое отношение к дерьму. Я понял, что такое случается не только с другими. Будь я богат, но обещан, это еще ничего, но бедный и обещанный — это перебор. Я все же выбежал на улицу за своей золотой рыбкой, она еще трепыхалась, а когда я вернулся, красотка, совершенно голая, поджидала меня в моей койке. Вот так, старик. С той поры я крайне осторожен с женщинами, потому что это ходячие загадки, за всю жизнь я так

ничего и не понял, порой они даже внушают мне некий религиозный страх. На цыпочках, старик, и с обнаженной головой. Это, наверное, чувствуется в «Пляске Чингиз-Хаима» в отношениях Лили с ее любовниками, которые испытывают жуткий страх, но не могут удержаться. Женщины — существа отчасти мифологические. К счастью, они этого не знают, а если бы знали, творили бы чудеса... Я потерял за сутки килограмма три от волнения.

Ф. Б. Твое поклонение женщине слегка напоминает отношения Люка к Жозетте в «Большой вешалке». Эти сироты-подростки, которые становятся преступниками, разве они...

Р. Г. Погоди. Слово «семья» ничего не значит. Ребенку нужно кого-то любить. Я посещал исправительные заведения и здесь, и в Америке. Ни одной собаки, ни одной кошки, ни одной птички. Ни одной рыбки. Первое, что надо сделать, это дать ребенку собаку, которую он мог бы любить. Даже игрушки служат той же цели. Несовершеннолетние преступники — это дети без собак и без кошек.

Ф. Б. Помнится, твоя «Большая вешалка» привела в восторг Клоделя, он писал об этом в своих письмах и в статье для журнала «Ревю де Пари». Роже Мартен дю Тару книга тоже понравилась. По совершенно иным причинам...

Р. Г. Да. В «Большой вешалке» остро ощущается грандиозное отсутствие Бога. Для Клоделя это отсутствие благодаря самому своему размаху становилось истинным присутствием, в смысле невозможности обходиться без Бога. Для Мартен дю Гара, допотопного атеиста конца века — я хочу сказать, что для него это все еще было большой проблемой, — такое отсутствие Бога просто возлагало вину на общество. Я же не имел в виду ни того ни другого. Название означает, что есть много разной одежды, а в ней нет людей. Есть некая гардеробная с готовым платьем стандартного покроя, а человек, на которого оно надето, отсутствует, человеческая личность отсутствует. Атеизм меня не интересует, а верить в Бога я совершенно не способен. Я размышлял над этим, помнится, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, глядя, как выбивается из сил мать, и пришел к выводу, что верить в Бога значит клеветать на него, это кощунство, потому что Бог не мог бы сотворить такого с женщиной. Если бы Бог существовал, он был бы джентльменом.

Ф. Б. Но разве это тебя не подавляло — беспрерывно ощущать на себе любящий взгляд?

Р. Г. Материнская любовь никогда никого не подавляла. Есть матери, которые подавляют под предлогом любви, но это — совсем другое дело.

Ф. Б. Она ни разу не пыталась выйти замуж по расчету, хотя бы для того, чтобы легче было тебя растить?

Р. Г. Она была не их тех женщин, которые ищут легких путей. Я помню одного человека, мечтавшего на ней жениться. Мне тогда было семнадцать, и я его всячески подбадривал. С меня бы это сняло адскую ответственность. Я мог бы хоть немного расслабиться, пока она будет смотреть в другую сторону... Это был художник из Польши, звали его Заремба. Однажды он появился в «Мермоне», одетый как одеваются в тропиках: на голове — панама, словно он только что сошел со страниц романа Конрада: ну, знаешь, как Хейст в «Победе». В гостиничной карточке для полиции он написал: «художник»; мать бросила на карточку взгляд и тут же потребовала заплатить за неделю вперед. Не знаю, что она имела против художников, может, какое-то неприятное воспоминание... не знаю. Заремба должен был провести в гостинице три месяца, а остался на год. У него был невероятно утонченный вид, руки как у князя, длинные светлые усы, а мать считала, что если художник так хорошо воспитан и у него такие прекрасные манеры, это может означать только одно: он бездарность. Заремба был довольно известен. Писал в основном детские портреты, да и сам был ребенком: мужчина вырос вокруг мальчика, чтобы защищать его, но оказался не способен предоставить ему ни помощь, ни защиту.

Ф. Б. Чего нельзя сказать о тебе: у тебя это отлично получается.

Р. Г. Спасибо. В общем, понимаешь, когда тот, другой мальчик, о котором идет речь, Заремба — ему, наверное, было лет пятьдесят семь, — увидел, какой любовью окружала меня мать, он тут же сказал себе: ага, здесь есть мама, хорошо бы к ней прибиться, места хватит и для двоих. Моей матери тогда было, наверное, года пятьдесят три — пятьдесят четыре. И этот Заремба принялся ухаживать за ней на томный польский лад, викторианский и страдальческий, казалось, еще один вздох — и он умрет. Он весь день играл на пианино в гостиной восьмого этажа, и это всегда был Шопен, с туберкулезом. Бывало, мать отодвигала его, садилась за инструмент и изображала «Венгерскую рапсодию» Листа с такими ужимками, что хоть стой хоть падай, это единственное произведение, которое я когда-либо слышал в ее исполнении, и она сокрушала Зарембу этим, плюс презрительные взгляды. Господин Станислас — мы звали его Стасом — снял рядом мастерскую, где и писал. Он пользовался успехом, был известен в Америке, и мать боялась, что он дурно на меня влияет, потому что мне еще иногда хотелось заниматься живописью, а для нее это означало нищету, сифилис и

алкоголизм. Однажды она потащила меня на выставку Пикассо, чтобы напугать, и на выходе сообщила, удовлетворенно шмыгнув носом: «Видишь, чем все они кончают». Она абсолютно ничего не понимала в современной живописи. У нас был один знакомый, русский художник Малявин — не Малевич, а Малявин, фольклорист, — она приглашала его на обед со зловещими намеками в мой адрес: «Художников надо кормить». Итак, наш маленький мальчик Заремба, видя эту материнскую любовь, попытался пристроиться. Ну а мне только это и нужно было. Для матери это означало спокойный, обеспеченный остаток дней. И потом, честно скажу, я отлично видел себя за рулем тачки, подкатывающей к «Гранд Блэ» на Английской набережной. И мне уже тогда хотелось научиться управлять самолетом, а стоило это дорого. Так что я был за. У нас состоялась волнующая встреча. Недаром Заремба был поляком. Он заботился о формальной стороне. Поэтому пришел просить у меня руки моей матери. Официально. Он поведал мне о своем материальном положении, о своих высоких моральных принципах, показал газетные вырезки. Я сказал, что подумаю. Сказал, что ничего ему не обещаю и не могу принять решение вот так просто. Он мне сказал, что понимает. Он был готов ждать, только попросил меня отметить, что он не требовательный, что он прекрасно удовольствуется и приставным местом. Уморительно было наблюдать за ним, за его печальными усами, когда мать приносила мне корзинку с фруктами или что-то в этом роде. Он чувствовал себя сиротой, он чувствовал себя так, словно его снова отослали в сиротский дом, он смотрел, как я ем, и однажды взбунтовался: взял стул, сел напротив меня и принялся отщипывать от грозди мой виноград. Я и сейчас помню его взгляд, когда он таскал мой виноград, так выглядит вызов на лицах слабых людей, такой же вид бывает у добрых псов, не понимающих, за что их наказывают: непонимание всегда вопрошает. Я ничего не сказал, но занял у него пятьдесят франков. Нужно все же сказать, что я не спешил, и признаюсь, твердо рассчитывал на этого лорда Джима^[10] в том, что касается оплаты первых уроков пилотажа. Все свободное время я проводил, бродя вокруг самолетов; там, где сейчас находится аэропорт Ниццы, была небольшая посадочная полоса. В конце концов я отыскал мать и сказал ей, что так-то и так-то, Заремба хочет на тебе жениться, он тебя любит, думаю, тебе бы следовало принять его предложение. Сначала она опешила, растерялась. Она давно уже перестала смотреть на себя как на женщину, а затем, поразмыслив, заявила с глубокой убежденностью: «Раз он хочет на мне жениться, значит, он педераст». Я взвыл. Бедняга

Заремба, какой же он педераст, он вообще не понимает, что тут к чему. Я разорался, ляпнул глупость. Сказал, что она загубила свою жизнь из-за меня. Она словно окаменела, а потом сказала: «Я ее не загубила, моя жизнь удалась. Она полностью удалась: *мне очень все удалось*». Понимаешь, это я был ее удачей. Она заплакала. Она никогда не плакала. Я попытался сказать, что этот Заремба что надо, что она сможет поехать в Венецию... Ей всегда хотелось поехать в Венецию, в отель «Луна», не знаю, почему Венеция и почему отель «Луна». Воспоминания, наверное. Я про это ничего не знаю. Я получил ее очень поздно: ей было тридцать шесть, когда я родился. Я сказал, что ей следует подумать, что, мол, то и се... Тогда она меня сразила. Чтобы я с ней никогда больше об этом не заговаривал. Она мне тихо сказала — и клянусь тебе, что это было сыграно, причем сыграно плохо, уж актриса она была не из лучших! — она бросила мне фразу: «Ты хочешь от меня избавиться...» Что ж, все, с этим было покончено. Я сказал это Зарембе, который свернул свой сиротский приют на одну персону и вернулся в Польшу.

Ф. Б. *Что с ним стало?*

Р. Г. Не знаю. Спроси у немцев.

Ф. Б. *Кто первым принял эстафету в твоей жизни, после матери? Ведь какая-то другая женщина потом приняла эстафету.*

Р. Г. Ты все валишь в кучу...

Ф. Б. *Илона?*

Р. Г. Мне кажется, эта стрелка-указатель — мать-жена, — которую ты запускаешь через все пятьдесят девять лет моей жизни, этот взлет к сублимации... Разумеется, тут есть какая-то доля истины, но все же не я выдумал Богородицу...

Ф. Б. *И «мадонну с фресок, и принцессу из легенды», конечно, тоже. Но когда в «Пляске Чингиз-Хаима» ты описываешь человечество как женщину — Лили женщина ненасытная, — то это все-таки знаменательно... Илона была, кажется, в 1937 году?*

Р. Г. Вроде да. Не стану скрывать, что я предпочел бы не говорить об этом, потому что не так много времени прошло с той поры... И к тому же она еще жива... в каком-то смысле.

Ф. Б. *В «Обещании на рассвете» ты избегаешь об этом говорить, лишь несколько строк в конце XXVIII главы... Ты пишешь: «С тех пор прошло всего двадцать лет...» Теперь уже тридцать три года.*

Р. Г. Тридцать три года. Вроде бы достаточно.

Ф. Б. *Ты пишешь: «Мы должны были пожениться. У Илоны были черные волосы и огромные серые глаза. Она поехала в Будапешт навестить свою семью, нас разлучила война — еще одно поражение, вот и все...» Вот и все?*

Р. Г. Я писал это... ну да, в 1959 году? Я не знал. Ничего не знал. Я узнал в 1960-м — этой темы я не хотел бы касаться.

Ф. Б. *Послушай, Ромен, это же составляет основу «Европы»... Ты опубликовал этот роман всего три года назад.*

Р. Г. Ее звали Илона Гешмай, и она жила в доме номер 31 по улице Аулих в Будапеште. Она была очень красивой и умной, и я ее любил. Она приехала на Лазурный Берег и остановилась у нас, в отеле «Мермон», и мать доброжелательно смотрела на нашу связь, она ее одобряла. Это единственная женщина, которая могла себе позволить одеваться в серое с головы до ног и не выглядеть при этом серо — благодаря цвету глаз, они у нее были цвета персидских кошек, их меха. С тех пор я никогда не видел подобных глаз, но ты ведь знаешь, все зависит от того, какмотришь... Она была очень хрупкая... Порой неделями не вставала с постели, и если улучшения не наступало, уезжала в Швейцарию на лечение. Я думал, что никогда не смогу жить без нее, но мы всегда можем, и вот это-то и есть самое омерзительное. Как я и сказал в «Обещании на рассвете», она уехала в Венгрию перед самой войной, чтобы сообщить родителям о нашей свадьбе, но не думаю, чтобы она и в самом деле вышла за меня замуж, она была слишком нежной и милой для этого, и поскольку она *знала*... потому что я уверен, что она это знала и скрывала от меня... Ладно. Во время войны я все перепробовал, чтобы связаться с ней, — Красный Крест, посольства... Ничего. Воспоминание о серых глазах и порой ощущение, что я ей изменяю с другой. Вне всяких сомнений, эту женщину я больше всего любил в своей жизни, она была создана для того, чтобы жить со мной до конца дней, по крайней мере моих. Жизнь любит предавать все забвению, но со мной у нее этот фокус не вышел. Я таскал это с собой в течение многих лет вместе с фотографией, которую у меня украли во время войны. А потом, двадцать четыре года спустя, — как удар грома. Я был генеральным консулом в Лос-Анджелесе, и мне стукнуло уже сорок шесть, как вдруг я получаю открытку от Илоны. Несколько слов. Нет, мне было сорок пять лет, сорок пять.

«Дорогой Ромен, — писала она, — я приняла постриг в 1945 году, после отъезда из Венгрии, я монахиня в одном из монастырей в Бельгии. Спасибо, что вспомнил обо мне в „Обещании на рассвете“. Будь счастлив». Земля ушла у меня из-под ног. На обороте я прочел адрес бельгийского монастыря, рядом с Антверпеном. Посылаю телеграмму, пишу, ничего. Молчание. А затем получаю другое письмо. С теми же словами, что и в первом. Мне тут же приходит в голову, что она написала два письма одно за другим, что ей не передали моего ответа,

обет, религия, не знаю уж, что там. Тогда я пишу Риаллану, нашему генеральному консулу в Антверпене. Прошу его навести справки, съездить в монастырь, поговорить с ними, объяснить. Я знал Риаллана по Болгарии, когда он был инспектором дипломатической почты. Он едет туда. И пишет мне. Я узнаю, что Илона не в монастыре, а в психиатрической клинике, что у нее шизофрения уже двадцать пять лет и ей все хуже и хуже, она неизлечима... Я не вижу, какой смысл... Это такие вещи... как сказал... Гимар...^[11] вещи, которые случаются в жизни. Не понимаю, зачем это...

Ф. Б. *Люди нуждаются в дружбе... Это повторяет Морель в «Корнях неба». И из этого вырастают слоны и книга.*

Р. Г. И Гонкуровская премия... Такая вещь, как потребность в дружбе, хорошо продается, писатель, достойный этого звания, не должен был бы печатать такое никогда, не понимаю я, как вы это делаете...

Ф. Б. *Что делаем?*

Р. Г. *Дышите...* Непонятно, как еще людям удастся дышать...

Ф. Б. *И ты освободился от этой боли с помощью осмеяния, в «Европе».*

Р. Г. Освободился, говоришь...

Ф. Б. *В романе из этой подлинной раны ты сотворил жульничество. Почему?*

Р. Г. Я не мог принять этого, не мог говорить об этом прямо. Я не хотел использовать это в «литературных целях». Но меня это мучило, не давало покоя с 1966-го до 1972 года. Приказ шел изнутри, и я подчинился, я написал, но все шиворот-навыворот. И замышляет всю аферу этакая ведьма, Мальвина фон Лейден... В общем, жизнь. Мальвина фон Лейден — на жалованье у жизни. И у меня, как и у всех, бывают моменты отчаяния...

Ф. Б. *Хочешь, мы прервемся?*

Р. Г. Я все понял, но как же поздно! В Ницце Илона чувствовала приближение приступов... Когда она чувствовала, что «это» приближается, она укладывалась в постель, отдыхала, а если «это» усиливалось, уезжала в Швейцарию, в клинику Сант-Анъезе, в Лугано. Как видишь, я никогда не забываю нужных адресов. Я ничего не замечал. Год прожил с шизофреничкой, ни о чем не догадываясь, — слава богу, потому что иначе не знаю, что бы я сделал. Илона избавила меня от этого.

Ф. Б. *Что ты сделал?*

Р. Г. Сел на самолет. Но в Брюсселе дал задний ход и вернулся в Лос-Анджелес. Мне сказали, что у нее бывает просветление только на полчаса в день... Но дело даже не в этом. Все разом перегорело внутри. Я там был уже, так сказать,

посмертно. Все-таки настоящее должно быть съедобно. Я не имел права так с ней поступить. Нет, не имел. Она на тридцать лет постарела и в психическом плане — полная развалина... Я не имел права так с ней поступить... Она даже не могла защитить себя, сказать «нет»... Это было бы насилием над нашим прошлым. Через тридцать лет понимаешь, что я хочу сказать. Наверняка для нее было важно остаться красивой. Я не поехал к ней. Она осталась красивой. Самой красивой.

Ф. Б. И ты попытался от этого освободиться в «Европе». Чтобы растоптать судьбу...

Р. Г. Судьбы нет. Нет господина по имени Судьба, в перчатках, с тростью и цилиндром. Есть мужчины и женщины, которые страдают в неразберихе, вперемешку, в беспорядке, кому как повезет. Но если в «Европе» я обратил подлинность в обман, то потому, что мне нужно было прижечь эту рану, защититься. Ответ «Чингиз-Хайма» ужасу — это смех сквозь зубы. Это *пляска*. Такая пляска, такая народная джига — единственный способ достичь легкости и вынести непомерное бремя. Я написал, не помню уже где, что если Атлас, державший на своих плечах небо, не был раздавлен его тяжестью, то лишь потому, что он был плясуном... Когда Рабле говорит, что смех есть свойство человека, он говорит о страдании...

Ф. Б. Жульничество, самозванство, шарлатанство играют важную роль в твоём творчестве. Тюльпан объявляет голодовку, но тайком ест, чтобы иметь силы для продолжения голодовки, чтобы, его протест длился бесконечно. Его протест — недовольство существующим порядком, как сказали бы сейчас, — превращается в надувательство, злоупотребление доверием...

Р. Г. Да, злоупотребление доверием, потому что в конце войны он видит, что со всех сторон его окружают высокие идеалистические слова, которые тоже суть злоупотребление доверием. Это пустой жест, пародирующий пустые жесты. Я выслушал много упреков из-за фразы по поводу Ганди, которую произносит Тюльпан: «Ганди всю жизнь провел в голодовке, но в конце его пришлось застрелить из револьвера». Господин Жильбер Сесброн^[12] прислал мне возмущенное письмо. Хотел бы я, чтобы мне назвали хоть одного объявившего голодовку, который пошел бы в своей святости до конца... У Тюльпана — и конечно же у меня — цинизм — это идеалистическое отчаяние. Он отчаянно пытается освободиться от идеализма, но ему это не удается: кончается тем, что он и в самом деле устраивает голодовку, чтобы выразить протест против состояния нашего мира по окончании войны, и ты должен признать, что создание в 1945-м крошечной боевой группы под названием «Молитва за

победителей» все-таки получило повсеместное подтверждение с той поры...

Ф. Б. Мы вновь обнаруживаем интеллектуальное мошенничество и надувательство в «Повинной голове», где Матье эксплуатирует комплекс вины тащян по отношению к своему великому «проклятому» художнику — Гогену. Поэтому он изображает из себя нового Гогена, и все носятся с ним из страха ошибиться еще раз... В «Европе» Мальвина фон Лейден — продувная бестия и авантюристка высокого полета, женщина hochstapler^[13] — занимается надувательством в широком масштабе... Клан Дзага в «Чародеях» — это клан шарлатанов... Ты просто одержим идеей интеллектуального мошенничества и одурачивания.

Р. Г. Потому что я писатель XX века и никогда в истории интеллектуальная, идеологическая, моральная и духовная нечестность не была столь циничной, столь гнусной и столь кровавой. *Commediante* Муссолини и шарлатан Гитлер довели свой обман до тридцати миллионов погибших. Фашизм был не чем иным, как жестокой эксплуатацией тупоумия. В России Сталин истреблял целые народы во имя социальной справедливости и трудящихся масс, которые обратил в рабство... Сейчас мы присутствуем при самом низком, самом ожесточенном и самом глупом торговом состязании, устроенном во имя европейского единства... В прошлые века творили несправедливость во имя ложных истин «божественного права», но в которые твердо верили. Сегодня это царство самой бесстыдной лжи, постоянное злоупотребление надеждой, полнейшее презрение к правде. Скандал теперь вещь настолько привычная, настолько *принятая*, что, например, дело Дрейфуса сегодня было бы невозможно. Вообразить, что в 1974 году Франция расколется надвое из-за виновности или невиновности одного человека... Ты такое представляешь? Не представляешь. Идеологическое и интеллектуальное мошенничество — самая очевидная и самая омерзительная сторона этого века... А все мои книги вскормлены этим веком, до последней строчки. Вот почему Матье в «Повинной голове» изображает мошенничество и надувательство, примеряет их к себе, чтобы вырвать из своего сердца идеализм и надежду и обрести тот покой, который знаком всем, кому удастся наконец отчаяться. Но ему не удастся отчаяться, и он продолжает борьбу, продолжает поступать «так, как если бы»... как если бы идея Человека была возможным искушением. К этому, разумеется, примешиваются личные соображения. Жизнь несет вину перед моей матерью за отвратительный подлог. Она была отменно облапошена жизнью, вконец разбита. Илона — разумеется, тут сказывается и

идеализация, на которую толкает воспоминание, — самая красивая женщина, которую я когда-либо видел и которую я любил, как любят, когда любят один раз в жизни, и вдобавок если у вас к этому есть талант, — так вот, она стала жертвой преступного умысла: шизофрении. Я видел, как гибнут рядом со мной молодые люди, созданные для счастья и любви, которые верили, что умирают за братский мир: они стали жертвами жестокого обмана. Конечно, что-то из этого поправимо. Общество может быть изменено, шизофрения может стать однажды излечима. Но есть и доля того, что исправить нельзя. Я представляю себе человека как акцию братского Сопротивления своему изначально заданному уделу. Так что, сам понимаешь, классовая борьба...

Ф. Б. Значит, твое решение не встретиться с Илоной тридцать лет спустя продиктовано желанием сохранить ее образ нетронутым?

Р. Г. Проведя довольно жуткую ночь в Брюсселе, я повернул назад, возвратился в Лос-Анджелес. Я еще чуть больше очерствел и стал еще чуть большей «скотиной», поскольку у меня, наверно, свинский характер. Однако не повезло: одна из двух сестер Илоны почувствовала потребность написать мне длинное письмо, тогда как я уже трахался вовсю, чтобы забыть, и мне, во всяком случае, удавалось не думать. Она, эта сестра, ощутила потребность поделиться со мной последними подробностями, а также очаровательную и милосердную потребность сообщить мне, что у Илоны бывают проблески сознания лишь на пятнадцать-двадцать минут в день и что в эти моменты она всегда с любовью говорит обо мне... Так что у меня случился рецидив, и я долго болел. У меня депрессия принимает физические формы. Огромная усталость. У меня все всегда заканчивается физическими проявлениями. Думаю, эта добрая душа хотела меня порадовать. У людей, старина, понимаешь, есть ноги, у них и правда есть ноги, и они ими топчут что попало. Мне ставят в упрек мой язык. Удивляются, когда «изысканный» человек говорит «вот дерьмо» или «что за бардак». Но каждый блюет по-своему. Я также заметил, что люди, которых шокирует мой язык, это большие специалисты по соглашательству. Я проболел шесть недель, мне дали отпуск, я отправился на Таити, где раздолье для тупого секса, где вновь учишься улыбаться. Затем все улеглось на многие годы, и надо же было, чтобы племянница Илоны в Париже, актриса бывшего ТНП^[14], Катрин Рети ощутила потребность нанести мне визит, чтобы поговорить об Илоне. Я ее мило принял, мы поболтали, я пригласил ее в ресторан пообедать, мы поболтали о том о сем, затем я вернулся домой, и

у меня снова случился рецидив. И вот только что, ты сам видел, когда я заговорил о ней, у меня опять чуть было не случился рецидив, но я сумел этого не допустить, хватило пороку. Так что не стоит меня ругать, когда я порой говорю «вот дерьмо». Это идет от сердца.

Ф. Б. «Европа» заканчивается шизофренией...

Р. Г. Точнее, тем, что по-английски называется *split personality*. Раздвоение личности. Психика Дантеса, французского посла в Риме, человека, как принято говорить, «огромной культуры»: в книгах я всегда ставлю слова «человек огромной культуры» в кавычки. Он эстет, все нравственные и интеллектуальные ориентиры которого в прошлом; он мечтает о Европе, как мечтают о каком-нибудь художественном произведении. Все его ориентиры «благородны» — под знаком Римской премии^[15], *Mittleuropa*^[16], Рильке, Гофманстала, Лу Саломе, — в общем, последний «зеленый луч» заката крупной просвещенной буржуазии конца XIX века, замыкает этот ряд, вероятно, Томас Манн. Но Дантес был человеком слишком тонким, чтобы не разрываться, а в конечном счете не быть морально уничтоженным, оказавшись зажатым между своей культурной мечтой, мечтой европейской, и уродливыми реалиями — социальными, нравственными и интеллектуальными — того мира, в котором он живет, в котором живем мы. Дихотомия культура — реальность раскалывает его надвое, и он погружается в отсутствие, как Гёльдерлин...^[17] Я старался, как мог, передать воплощенное в живых персонажах понятие *Mittleuropa*, столь чуждое Франции, потому что на протяжении трех-четырех веков Франция была Европой, на протяжении трех-четырех веков Европа была Францией, и вот почему Франции так трудно «мыслить по-европейски»: она убеждена, что для этого достаточно мыслить по-французски. На протяжении трех-четырех веков как для немцев, так и для русских мыслить по-европейски означало мыслить по-французски, так чего же ты хочешь? Европа, о которой мечтает Дантес, стала невозможной, потому что культура разминулась с жизнью. Она осталась внешним фактором по отношению к социальным реалиям. Никакая политика невозможна, если прежде не произошло культурного оплодотворения. Это не коммунистам не дается коммунизм: он не дался культуре. Вот почему «создавать Европу» сегодня означает опускаться до самой низкой степени торгашества, конкурентной возни и интеллектуального мошенничества... Культура не имеет абсолютно никакого смысла, если она не является абсолютным стремлением изменить жизнь людей. Она ничего не означает. Это дорогая шлюха. Мне плевать, что слепым запрещают Рембрандта,

безграмотным — Достоевского, а глухим — Баха... И представляешь, критика написала, будто Дантес — это я? Я — эстет, это ж надо... Ладно, поговорим о чем-нибудь другом.

Ф. Б. Нет, не обессудь, продолжим все-таки наш разговор о Европе. Ты начал свою литературную карьеру в 1945-м романом «Европейское воспитание» — название горькое и ироничное, — который через оккупацию Европы и Сопротивление показывает пропасть, в которую рухнула цивилизация. Год спустя ты продолжаешь громогласно сокрушаться об участии Европы в «Тюльпане»... И через двадцать пять лет, в 1972 году, ставишь вроде как на этом финальную точку романом «Европа»... Но в недавних дебатах, нынешних дебатах, когда налицо кризис и все суется в поисках решений, ты хранишь молчание... Почему? Чтобы не смущать своих друзей-политиков?

Р. Г. У меня нет «друзей-политиков».

Ф. Б. Тогда почему?

Р. Г. Потому что вопрос, как сделать из Европы Америку и при этом не стать американцами, меня не интересует. Правда о том, что называют «строительством Европы», бросается в глаза. Такие люди, как Жобер^[18] вчера, как Сованьярг^[19] сегодня, не нуждаются в думающих советниках. Они знают. Брандт отлично знал, и, впрочем, он единственный, кто попытался в своей *Ostpolitik*^[20] помериться силами с правдой, с реальностью. Кеннеди знал: он мне сказал это за три месяца до своей смерти на обеде в Белом доме в присутствии Дика Гудвина. Он мне сказал: «Европа — это также Соединенные Штаты и СССР». Тогда я у него спросил: «А Китай?» Он улыбнулся и ничего не ответил, из этого я заключил, что Китай его скорее устраивает как подтверждение его слов... Правда о Европе доступна всем думающим людям, но когда растерянность и фрустрация сталкиваются с оборотистостью, то нам пытаются внушить любой ценой, что дважды два — пять, и тогда миллионы безработных или сама демократия платят цену за дважды два — четыре... Послушай, я буду только рад, если я не прав. Но пусть мне это докажут. Мне все больше и больше нравится заблуждаться в том, что касается «общепринятых фактов», потому что мне хочется доверять другим... Одному Богу известно, как мне это необходимо. Но возьми наиболее откровенно выраженное умозаключение, самое «прямое», которое сделала французская социалистическая партия, по крайней мере в том виде, в каком оно было пространно изложено Гастоном Деффером в январе этого года и с которым, впрочем, совпадают высказывания, сделанные господином Мессмером^[21] две недели спустя. Господин Деффер говорит, что Европе, для того чтобы избежать «американского господства»,

следует повернуться лицом к развивающимся странам и поставлять им оборудование в обмен на сырье. Чтобы сохранить нашу независимость, мы должны обеспечить себе посредством торговых соглашений, посредством взаимных услуг доступ к природным ресурсам третьего мира. Следовательно, с самого начала налицо очевидный изъян, врожденный физический недостаток: такая Европа будет даже не «колоссом на глиняных ногах», она будет колоссом, ноги и жизненные ресурсы которого будут принадлежать не ему, они будут находиться в других местах, у других людей, в третьем мире, в геологических ресурсах третьего мира, с перспективами столь же многообещающими и столь же очевидными — пусть и не ближайшими, — как дело с арабской нефтью. И это независимость Европы? Но есть и то, что видно уже сейчас, — и это бросается в глаза, разве нет? Политика, которую нам таким образом предлагают, уже *обанкротилась*: это — политика «экономической франкофонии», это в точности та политика, которую Франция пыталась проводить, связывая столько прекрасных надежд со своими бывшими заморскими территориями, это Алжир, который нас национализировал — по праву — и который диктует нам свои законы, Марокко, которое — и это совершенно нормально — сейчас экспортирует нас, это Мадагаскар, который спроваживает нас и заменяет американцами, это бывшее Конго, Мавритания... Вся «зона франка», которая начинает нам диктовать — и это справедливо, как заметил господин Леопольд Сенгор^[22], — свои цены и свои условия. Все это развалилось за неполные двенадцать лет, начиная с Эвианских соглашений...^[23] Несколько лет назад «картьеризмом» называли порожденный досадой мстительный нигилизм, предлагавший оставить Африку один на один с ее нищетой, потом эта теория уступила место «фоккартизму» — теории проникновения, «экономической франкофонии». Сегодня нам предлагают такой же провал в европейском масштабе, узаконивая при этом конкурентную возню и панику каждого из партнеров, приумножая хитроумные уловки и манипуляции, говоря одновременно и о священном союзе, и о свободной конкуренции... Поэтому я и утверждаю, что Франция послужила подопытным кроликом для такой вот Европы, для такой вот политики и необходимо сделать из этого выводы как для Сообщества, которое пытаются создать, так и для Франции: вслед за ножом, который приставили нам к горлу нефтедобывающие страны, неизбежно — и столь же законно — появится нож собственников всего сырья вообще. И пусть нам не приводят других «ловких» аргументов, что третий мир многолик, что он разобщен, раздираем антагонизмами и что, следовательно, там

существует возможность для множества «игр», маневров, манипуляций, разговоров с глазу на глаз: каким бы разобщенным и многообразным он ни был, этот третий мир, он всегда придет к согласию относительно *цен*, максимума возможной прибыли, как это только что проделали арабы, такие же «разобщенные», такие же «многообразные», ведь так?.. И все, конец «ловкости». Я видел, как наши коммивояжеры возвращались с Ближнего Востока в первые часы великой иллюзии, они аж трепетали от радости, потому что «арабская политика» Франции оказывалась «доходной» — и какой доходной, — но только те державы сыграли определяющую роль на Ближнем Востоке, которые не зависят от нефти и прочего сырья, потому что обладают *геологической независимостью*. Позволительно ли спросить наших нынешних и будущих государственных мужей, господина Жискара, господина Миттерана, что они подразумевают под столь громогласно провозглашенной «национальной независимостью», в то время как восемьдесят процентов всей нашей национальной жизни зависит от природных ресурсов, находящихся в чужих руках? Может быть, им угодно говорить о «независимости во взаимозависимости», придуманной Эдгаром Фором в момент «деколонизации» Марокко, которая затем так хорошо смотрелась к концу алжирской войны? В любом случае подчинять жизнь и рост страны экспорту, как это сейчас делается, обрекать себя на то, чтобы экспортировать любой ценой, чтобы жить и иметь возможность оплачивать сырье, импортируемое... и необходимое для нашего выживания... и делать это благодаря экспорту!.. это даже не лозунг Легиона^[24] «маршируй или подыхай», это значит — мало-помалу выпустить из рук судьбу страны, и выпустить безвозвратно. Единственный вопрос, который ставит подобная политика, это вопрос об отсрочке. Это хорошо известно Японии, которая не может больше иметь собственной внешней политики, выбора, альтернативы... Независимость, зависящая от ресурсов, намерений, причуд и платежных средств клиентуры, — это независимость мадам Клод^[25]. Строить и развивать промышленный, экономический и социальный каркас Франции в полной зависимости от богатств и нужд Африки или Азии — это капитализм в бреду. Перефразируя Валери, эта «всегдашняя грядущая пустота», наступление которой хотят отсрочить, не будет грядущей вечно. Мы увидим, как французская экономическая реальность плавает в вакууме, пустоте, образовавшейся из-за растущего расхождения между специфически французской ситуацией и социально-промышленной структурой, построенной согласно африканским, азиатским и прочим ситуациям и находящейся в их власти.

Разумеется, еще есть несколько лет для возможных манипуляций: контрактов, продажи оружия, ухищрений, — политики маневров и компромиссов во избежание худшего, в стиле Лавалья^[26] за вычетом предательства... Я говорю с тобой о «Европе». Ибо, помимо вопроса о помощи и взаимодействии, что является священной человеческой обязанностью для бывших эксплуататоров и спекулянтов, единственная реалистичная и прозорливая политика в отношении третьего мира — это политика, которая осуществлялась бы на основе поддержки двумя геологически привилегированными столпами, коими являются СССР и Соединенные Штаты. Поэтому я говорю, что единственная возможная независимость для Франции и Европы — это «цивилизационная независимость», а она располагается и обсуждается там, где находится, то есть внутри одной и той же стяжательской материалистической цивилизации, которая уравнивается Соединенными Штатами и Советской Россией как системой противовесов. А политика «Франция — третий мир» или «Европа — третий мир» — это мечта отрубленной головы, которая «вспоминает и оплакивает»... которая вспоминает об империи, о наших «заморских территориях», мечта сокровенная, она еще жива... Повторяю, господин Жискард д'Эстен не нуждается в мыслящих советниках, и из этого я делаю вывод, что правда об операции «Франция — третий мир» или «Европа — третий мир» заключается в том, что он видит ее элементом переговоров с Соединенными Штатами, а не с третьим миром. И он не в состоянии себе представить, что единственный урок, который можно извлечь из истории с нефтью, — это попросить еще... то же самое с ураном, медью, марганцем, со всем сырьем, питающим индустриальное общество. Это как винтовка, нацеленная на нашу «независимость»... Но все продолжают рассуждать, успокаивать себя, поздравлять себя и вести себя так, «как если бы»... Как если бы Франция пользовалась привилегированным, преимущественным правом у развивающихся стран — может быть, такова благодарность бывших эксплуатируемых и униженных? — и как если бы у этих стран не было другого выбора, других альтернатив, как если бы не существовало Соединенных Штатов, СССР, Германии, Японии, Великобритании... Вероятно, именно из-за этого в самый разгар нашей «арабской политики» строительство нефтепровода Суэц — Средиземноморье было доверено американской фирме, в то время как наши банкиры утверждали, что «он у нас в кармане»... Когда вы ввязываетесь в политику, в которой орудуют ножами, то существует угроза, что вы натолкнетесь на ножи подлиннее вашего... Третий мир отсылает Францию к Франции, Францию к

Европе, а Европу — к ее двухполюсному миру... Можно спросить у «голлистов», где они за последние два-три года сумели схоронить формулировку «от Атлантики до Урала»?^[27] Де Голль был прав, и нужно быть слепцом, чтобы не видеть, с кем он так говорил, к кому обращался по ту сторону и из каких переговоров рассчитывал не быть исключенным... Даже Египет получил Америку, обратившись к СССР, а думать, что Соединенные Штаты и СССР договорятся между собой «за спиной Европы», чтобы ее «нейтрализовать», — это бред, это то же самое, что сказать, будто СССР и Соединенные Штаты *одновременно* ощущают угрозу своему существованию, исходящую от Западной Европы. «Нейтрализация Европы» могла бы стать, в конце концов, во времена «холодной войны», блокады Берлина той отчаянной ценой, которую какой-нибудь мюнхенский^[28] президент Соединенных Штатов замыслил бы заплатить, чтобы избежать ядерного конфликта, но сегодня это предполагало бы, по меньшей мере, наличие энергетически сильной Европы, способной составить конкуренцию Соединенным Штатам и заставить их дрожать так, что Америка была бы готова пожертвовать своими альянсами, базами и своей старшей дочерью, Германией, из страха перед нашей торговой конкуренцией... Это полная чепуха. Но до чего же восхитительна эта политическая птица высокого полета, этот двухглавый орел, одна голова которого упивается простором и мечтой о могуществе наравне с «колоссами», а другая заклинает призраков небытия, паралича и «нейтрализации», несмотря на ядерное оружие, нацеленное во все стороны, от которого «соперник» — или надо говорить «враг»? — никогда не заставлял нас отказаться, когда оно еще находилось на стадии разработки!.. Бедная птица, летучая мышь, которая расправляет одно крыло во всю широту «великих предназначений» и «ударной силы», но другое ее крыло лишь обрубок ущемленности, фобий и неуверенности. В таком cortege фантазмов греза о независимости «Европа — третий мир» лишь одна из многих... Если бы за нами последовали, то это было бы даже не «девять персонажей в поисках автора»^[29], а девять персонажей в поисках комедии... Нужно ли напоминать, что двадцать лет назад, когда мы отказывались покидать Индокитай, вернуть независимость Тунису и Марокко и дать ее Алжиру, мы убеждали наших союзников в том, что для «построения Европы» мы должны преподнести ей в приданое все богатства наших колоний? К этой же хитрости мы и прибегаем сегодня, как если бы территории, которые мы потеряли, которые отвоевали или сумели сохранить свободу, подписали нам пустой бланк, который Франция и

«Европа» были бы вольны заполнять, как им заблагорассудится. Эти заморские страны, от которых мы бы таким образом все больше и больше зависели по мере того, как их потребности и ресурсы обуславливали бы нашу жизнь и рост, но которые тем не менее позволяли бы Франции и Европе «держат в своих руках их судьбу», — церебральные выверты, типичные для тех, кто отказывается смотреть в лицо реальности. Ты только послушай того, кого по аналогии, если таковая имеется, с Верховным судом Соединенных Штатов я назову одним из наиболее высоконравственных авторитетов страны — председателя Конституционного совета господина Гастона Палевски. Отмечая идентичность взглядов на европейское строительство у господина Деффера и ЮДР^[30], он нам напоминает, что Америка уважает только «сильных». Таким образом, Европа, прочно усевшись на заморских недрах, сможет наконец, объясняет он нам, разговаривать с Америкой на равных... *Ни единого слова о СССР в этом видении Европы и мира, ни единого слова у этого приверженца достопамятной «Европы от Атлантики до Урала»...* Нет, нужно сопротивляться Америке благодаря единой Европе, «сильной» геологическими богатствами Африки и Азии, которые она неизвестно как себе гарантирует... И господин Палевски называет это «великим предназначением». Просто наваждение какое-то, люди грезят наяву... Европа невозможна без СССР, потому что нет Европы без Соединенных Штатов...

Ф. Б. *Однако ты совсем недавно дал интервью в Америке, в котором в весьма... резких выражениях одобрил позицию, занятую господином Жобером на Вашингтонской конференции?*^[31]

Р. Г. Конечно. Потому что речь шла не об энергии, не о Европе, просто господин Киссинджер хотел показать, кто хозяин. Это была манипуляция, классический «дипломатический маневр» в духе XIX века. Киссинджер добился того, что называется «дипломатической победой». На здоровье. Еще несколько таких побед — и ему ничего не останется, как пустить ко дну французский флот в Мерс-эль-Кебире^[32]. Киссинджеру удалось самым неопровержимым образом доказать, что де Голль был прав и нельзя строить Европу без СССР...

Ф. Б. *Все же есть Сообщество, которое существует и способствует процветанию своих членов, ведь так?*

Р. Г. Да, есть клуб бонвиванов. Это даже лучше, чем Ганзейский союз в Средние века. Налицо бесспорный материальный успех, и он открывает новые перспективы для обогащения, для прибыли и превосходных деловых операций с Соединенными Штатами, СССР и третьим миром. Это нужно только поощрять в общем контексте организации рынков. Но как

только заходит разговор о «европейской независимости», все словно забывают, что понятие под названием «Европа» было введено в обиход в 1947–1949 годах как некая идеологическая ценность, способная составить конкуренцию идее коммунизма, некое «нам тоже есть что предложить». Тогда все были заняты поисками наглядной, показной динамики, и «строительство Европы» было поначалу новой диалектической фигурой на шахматной доске холодной войны. Это было задумано и осуществлено из-за «русской угрозы», и Куденхове-Калерги^[33], еще один из многочисленных «отцов» Европы, не устал это провозглашать вплоть до самой смерти, которая случилась два года назад. Эта «европейская идея» во многом была творением Сталина, после блокады Западного Берлина. Вначале она означала «европейскую армию», а обернулась «многонациональными обществами», поскольку экономическое процветание одержало верх над чувством незащищенности. Поначалу это было не желанием перемен, а желанием защититься, а затем — желанием экономической консолидации и укрепления. Это «строительство Европы» вначале опиралось на военный, промышленный и энергетический потенциал Соединенных Штатов, идея посадить его сегодня на природные ресурсы третьего мира, «дабы избежать американского господства» и создать таким образом новое государство, наднациональную державу, внутри которой Франция останется Францией, Германия Германией, Англия Англией, — это из области «куда бы приткнуться», бредовые метания бывших хозяев мира, отчаянная ложь... Есть одна-единственная западная материалистическая цивилизация, которая породила на одном своем конце американский капиталистический материализм, а на другом — материализм советского толка, сращение же их еще не произошло. Этой точкой сращения является Европа. Все остальное — из области душевного томления, «Вишневый сад» Чехова. Или же — вступать в борьбу с материализмом, пытаться дать рождение иной цивилизации, но стремятся, похоже, не к этому... Это самое малое, что можно сказать. Правда заключается в том, что нельзя построить ту Европу, которую пытаются, так сказать, построить, потому что тогда бы за счет колоний смогли построить Европу 1900 года, а та Европа прикрыла свою лавочку в 1914 году, оставила последние перья в Индокитае и в Суэцкой экспедиции 1956-го и испустила последний вздох в Алжире... Но Сообщество существует. Это брак по расчету с ограниченной общей собственностью, от него разит нотариусами XIX века, но это существует, возможны и другие *материальные* успехи, еще более тесная ассоциация и новый скачок вперед в области

производства, распределения, потребления и обогащения... И ничто не помешает нам — в ожидании Китая — помочь третьему миру пойти в том же направлении. Но когда мы разглагольствуем о Европе-отчизне или Европе-державе, где каждая страна «сохраняет свою самобытность», а все в целом защищены от «американского господства» и «советской угрозы», мы погружаемся в постыдное и отчаянное вранье. Сначала мы ввали себе, говоря о «европейской армии», из страха перед русскими, теперь врем, говоря «Еврарабия», «Еврафрика» и «Европа — третий мир», чтобы убежать от реальности и потому что больше никак не вывернуться... Марионеткам «независимой Европы» только и остается, что дергаться: они не творят Историю, они вляпываются в историю...

Ф. Б. Суть проблемы?

Р. Г. Суть проблемы — это конец того, что Дьердь Лукач^[34] называл «манипуляцией». Когда я встречался с ним несколько лет назад в Будапеште, он непрерывно к этому возвращался, потому что, по его мнению, «этой болезнью, свойственной капитализму», были тем не менее поражены и марксистские демократии тоже. «Манипуляция» несовместима с любым реалистичным и объективным осознанием исторических ситуаций, а не только с марксистской диалектикой... «Массы реальности», геополитические, геологические силовые линии стали сегодня, благодаря информации и росту народного сознания, слишком зримыми, они слишком мощные, слишком определяющие, чтобы ими можно было манипулировать, чтобы сработали какие-то уловки, краткосрочные договоренности, изворотливость и упражнения в ловкости, возведенные в ранг большой политики. Я конечно же знаю, что еще какое-то время мы можем перебиваться, использовать ситуацию на местах, подписывать там-сям контракты, тянуть время, заменяя стратегию тактикой, заниматься манипулированием: плавающий франк, маленькие хитрости эксперт-бухгалтера... Мы рискуем дорого за это заплатить. В течение длительного времени История занималась географией с оружием в руках... Сегодня же география делает Историю. Франция, Европа, независимые благодаря природным ресурсам третьего мира, — не в обиду будет сказано господину Дефферу, господину Мессмеру, — это не политика: это церковные утешения... Мы связываем наши надежды на выживание с иным миром. Этот притворный оптимизм — *заказной* оптимизм. И порой в комедии, которую мы для себя разыгрываем, появляются и в самом деле восхитительные находки. Например, мы кричим об угрозе разделения мира на две зоны влияния между Соединенными Штатами и СССР при «нейтрализации» Европы.

Малопонятно, с какой целью нейтрализовать Европу перед лицом Китая, но это не важно. Ведь самый прекрасный цветок в таком букете риторики — это что нас, для того чтобы парировать удар, одновременно призывают стать «сильными» и независимыми, опираясь как раз на тот самый мир, который и собираются поделить между собой два великана-людоеда... Но если бы они оказались способны на такие свершения, им бы тем более было по силам помешать нам построить европейское *commonwealth*^[35], которое бы получало свои питательные соки и «независимость» из стран, над которыми Соединенные Штаты и СССР как раз намеревались бы установить господство? Где же интеллектуальная честность, добросовестность в подобных рассуждениях? Решительно, сестра Анна напрасно выглядывает из окна^[36], она видит лишь мечущую гром и молнии Америку и пламенеющую Россию... И вот тогда-то возникает третий мир. Не пора ли наконец взглянуть в лицо *истинной* причине этого страха? В контексте цивилизации, которой мы сами себя верили, которую мы сами, как могли, помогали возводить, от которой мы не можем освободиться без революции, тем более трудной, что это была бы прежде всего духовная революция... так вот! при таком состоянии вещей, перед лицом *этого свершившегося факта*, бояться сегодня Америки или СССР — *это значит бояться самих себя*. Вот она, истинная причина нашей тревоги, наших вывертов и нашего смутного сожаления и угрызений совести. Если Китай пугает нас меньше, то не оттого, что он слишком далеко, а оттого, что он слишком отличается от нас... Но еще несколько лет материальных успехов, «беспрецедентных в истории человечества», еще несколько лет «большой жратвы»^[37], и наши муки совести успокоятся. *Realpolitik*^[38] одержит верх и над нашими фантазмами, и над нашими «я вспоминаю былые дни и плачу». Мы перестанем воротить нос и осуществим сращение, которого требует наша цивилизация. А впрочем, о чем тут говорить, если СССР и Соединенные Штаты уже пытаются договориться о том, чтобы *сообща* использовать Сибирь? Если им это удастся — а я думаю, что да, — то именно вокруг богатств сибирских недр Европа найдет свои.

Ф. Б. *Даже если сделать скидку на зубоскальство, ты, мне кажется, не придаешь никакого значения идеологиям...*

Р. Г. Тебе отвечают Соединенные Штаты и СССР, когда договариваются о вложении американских капиталов в СССР... Есть западная материалистическая цивилизация, двумя полюсами которой являются Соединенные Штаты и СССР, а мы находимся посередине, мы — ее центр и колыбель, и не существует таких интеллектуальных выкрутасов, которые позволили бы нам выйти

из нее, если только мы не создадим другую цивилизацию или не вернемся к той, которую потеряли, что требует жертвенного и мужественного духа, который появится еще не скоро...

Ф. Б. Разве дело Солженицына не вскрыло глубокое различие между ними, разделительную линию?

Р. Г. Вот уж нет! На счету Соединенных Штатов множество Солженицыных. Когда господин Киссинджер со слезами на глазах взволнованно говорит о Солженицыне от имени господина Никсона... ну, это ни в какие ворота не лезет! Разве забыли, что именно молодой политик Никсон, а затем вице-президент Никсон поддерживал, поощрял, подталкивал сенатора Маккарти, когда Соединенные Штаты бросали за решетку американских интеллектуалов, обвиненных в «антиамериканской деятельности», лишали их заработка, отбирали у них паспорта? Уже забыли — или же предпочитают не вспоминать, чтобы удобнее было предаваться самому оголтелому антисоветизму? Это обвинение в «антиамериканской деятельности», использованное против тысяч либералов, ничем не отличается от обвинения в «антисоветской деятельности», выдвинутого советской ортодоксальной буржуазией против Солженицына. Это с благословения Никсона американские власти изымали паспорт у великого черного певца Пола Робсона, толкали на самоубийство актеров и писателей, объявленных «неблагонадежными», не давали великому романисту Говарду Фасту эмигрировать и в то же время не печатали его, сажали других писателей и режиссеров в тюрьмы за инакомыслие или доноительство... Когда их не удавалось превратить в доносчиков... Либеральные «добрые души», как Рестон из «Нью-Йорк таймс», как Севарид, которые сегодня наперебой солженицынствуют, остерегались поднять голос, когда их собрата, а моего друга и переводчика Джо Барнса прогнали из их газет и пригвоздили к позорному столбу за то, что он играл в теннис на кремлевском корте... Это слишком удобно — забыть, в самом деле слишком удобно... Это одна и та же цивилизация с различным выбором несправедливостей на своих двух полюсах. Мелкомарксистское советское общество гонится в точности за теми же «благами», что и наше. От Нью-Йорка до Москвы — одни и те же ценности, но вот глумятся над ними двумя различными способами. Мы находимся в центре, между обоими, и как бы ни то ни се, больше «раскачиваемся», поскольку более удалены от масс поляризации, и если наш «европейский дух» и существует, если он что-нибудь значит, то разместить его надо именно в центре, между советским материалистическим экстремизмом и американским материалистическим экстремизмом. Возможно, это означает «социализм с

человеческим лицом», а возможно — ряд неудач, но важен не сам наконец-то полученный, наконец-то схваченный успех, а погоня, направление движения, и бывают неудачи, в кильватере которых удалось построить цивилизации. Нам не следовало бы отождествлять себя с римским гражданином, который якобы воскликнул, увидев Христа, умирающего на кресте: «Еще один неудачник!»

Ф. Б. А Франция во всем этом? Какая Франция? Мне кажется, больше всего тебя волнует именно это...

Р. Г. Когда господин Деффер или господин Палевски предостерегают нас от «американского господства», они нам морочат голову, потому что американское господство уже здесь, и пришло оно к нам не из Соединенных Штатов, а от принятия образа жизни, который требует создания все более и более искусственных потребностей, чтобы заставить вращаться социоиндустриальную машину все быстрее и быстрее и со все большим размахом. Результат — материалистический разгул, уничтожающий все, что было французского, начиная с Монтеня... Франция была ручной работы, со всех точек зрения, во всех областях, выполнявшейся терпеливо, уважительно к качеству и творчеству. Было некое уважение, честность в отношениях между руками и жизнью, некая *интеллектуальная честность*... Именно эта интеллектуальная честность начисто отсутствует в концепции «Европа-держава», придуманной сначала в противовес СССР, а теперь в противовес Соединенным Штатам. Руки, они, знаешь... Ладно, не буду пускать слезу, я слишком стар для этого... Но руки морщинистые, осторожные, у которых было *настоящее* отношение, *честное* отношение к тому, что они делают... Франция — это были человеческие руки, с настоящим чувством осязания, глубины и формы, и за ними стоял народ, а не только демография, «чтобы противостоять Китаю в двухтысячном году» — не так ли, господин Дебре, господин Фуаёе?...^[39] Мишель Дебре всегда меня удивляет, когда говорит о «нации» применительно к Франции... Время, которое Франция провела как «нация» на шахматной доске истории, ничто по сравнению с историей ее рук и их творений... Франция была образом жизни и мысли, она не была Европой-протезом... Я ретроград? Старик, они вызывают у меня смех. Самый большой прогресс, который когда-либо знало человечество, произошел, когда Средневековье открыло для себя *прошлое*: оно открыло Античность, Грецию, и именно так оно открыло себе путь в будущее... Вообразить, что за пять тысяч лет труда не был посажен ни один постоянный корень — редкостное скудоумие... Французские руки — это была целая настоящая цивилизация до тех пор, пока к ним не прибавились

карманы. Теперь страна состоит из карманов, которые необходимо набивать и расширять, чтобы набивать и расширять еще больше и еще больше... Вот именно это, а не Пентагон, и есть «американское господство». Начиная с того момента, когда мы утратили свое творение, когда мы стали не способны воссоздать его и пойти на жертвы, чтобы попытаться создать другое, в том же человеческом духе, начиная с того момента, когда душа стала непрерывно растущим карманом, нужно принять реальность цивилизации, чрезмерно, оскорбительно тоталитарной в своем материализме, к которой мы принадлежим, и открыто там расположиться, не дожидаясь, что нас освободит Танзания или вытащит король Фейсал... В высоких сферах мне ответили, что как раз это «единство цивилизации» и следует открыть внешнему миру, развивающимся странам, но поскольку все индустриальные страны, начиная с Соединенных Штатов и СССР, только это и делают, то как находка, как французское решение, европейское и с «великим предназначением», оно и вправду потрясает своей хитроумностью... Нужно также сказать, что ханжеская ложь о Европе, которой нас пичкают, — это часть давней дымовой традиции, которая должна была бы умереть в 1940 году вместе с заявлениями «дорога к железу окончательно перекрыта»^[40] или «мы победим, потому что мы сильнее»^[41], вместе с линией Мажино. Но Европа-держава стала последним прибежищем правящих классов — ямкой, куда страус прячет голову, последней попыткой дешевого религиозного искусства. Я не утверждаю, что господин Ширак или господин Деффер в это верят; я говорю, что они искренне считают, что налицо благочестивая ложь, которая не может причинить нам вреда. Она отлично смотрится. Это — церковное утешение для благонамеренных, пребывающих в поиске псевдоуспокаивающих средств, политическая методика, которая отлично зарекомендовала себя: она позволила режиму Виши заполучить чуть ли не всю буржуазию, спекулируя на ее привычке создавать видимость и на ее святых образах. Мы не строим Европу, и это известно, мы занимаемся заклинанием духов в надежде изгнать настоящих демонов. Европеизм без Америки против Америки, без России против России, Европа-держава, Европа без *питательной европейской геологии* — это последняя рассудочная позиция Камасутры для импотентов, и не забудь, дружище, что это еще и экономическая «независимость» — та, что живет полностью за счет перерабатывающей промышленности на службе у третьего мира... — «независимость» ядерная, военная «по всем направлениям», благодаря урану из Африки и арабской нефти... Ты осознаешь, что это за гарантированное снабжение, со *стратегической* точки зрения, «по

всем направлениям»? Это же значит наплевать на Декарта, Монтеня, Лафонтена, на старые руки Франции, на все, что «разумно», такая вот логика! Прежде хотя бы можно было утешаться, крича: «Все продались!»; но это тоже ханжество и благоглупость: Гамелен^[42] был скрупулезно честен... В любом случае сейчас слишком поздно строить прошлое: независимая Европа-держава — анахроничная операция, которая упустила своего Бисмарка. Желание — впрочем, отсутствующее — дать рождение этому новому колоссу — пассивная затея. Мы не успеем, потому что проблема завтрашнего дня — это конец гигантизма. Грядущие поколения увидят исчезновение колоссов по причине их гигантизма. СССР, Соединенные Штаты, Китай вступили в исторический цикл, когда им очень скоро останется предложить миру только одно: свой распад... Я думаю, это произойдет изнутри и не причинит особого вреда. Тут я полагаюсь на постоянно обновляющуюся молодежь мира, вся моя надежда на нее. Капиталистическая и советская системы уже достигли той стадии, когда единственный вопрос, который они сегодня перед нами ставят, это вопрос о преемственности... Сейчас есть истинная Европа, которая себя ищет, и которая себя ищет там, где она находится, в своих корнях, в своих культурных особенностях, социальные и духовные сообщества, «единицы жизни» в масштабе группы и человека, по мерке рук человеческих; и этот бурлящий дух не будет бесконечно мириться с царством протезов, он не даст себя заключить в рамки бюрократии и концентрационного этатизма, в башни Монпарнас в национальном или европейском масштабе. Мы живем в век демографического и бюрократического расплощивания, когда каждый чувствует себя стертým в порошок, «анонимизированным» до потери личности, и когда человек — молодым французам, молодым европейцам, во всяком случае, это становится очевиднее с каждым днем — ощущает потребность вернуть себе изначальный статус... Только вновь обретая, оберегая национальные и другие особенности, мы сможем укреплять и развивать транснациональную сеть связей, ассоциаций, коммуникации и координации в технически необходимом масштабе для всего сообщества, однако бюрократия будет всегда стремиться к автономности и к политическим манипуляциям посредством своей внутренней технократии Мансхольтского^[43] толка. Но организация, какой бы она ни была, никогда не будет Европой. История не дает примера гуманной отчизны, родившейся из концепции или органограммы. И я закончу, сказав то, что представляется мне очевидным: если бы у нас существовали, как и на уровне наций, так и на уровне

человека, психологические, моральные и духовные условия, чтобы «построить Европу», нам бы не нужно было строить Европу, так как это называлось бы братством.

Ф. Б. *Какова твоя позиция по отношению к буржуазии?*

Р. Г. Она внутри. Я просто пытаюсь держать нос снаружи и принимаю ванны. Я отлично знаю себя в социологическом плане: я либеральный буржуа с гуманитарными устремлениями в стиле «Вандредди», еженедельника 30-х годов, я никогда не изменюсь; и когда ультраправые или ультралевые говорят о «блеющем идеализме» или «блеющем гуманизме», это всегда обо мне. Так что я принадлежу к тем, кого Горький называл «лирическими клоунами, выступающими со своими номерами терпимости и либерализма на арене капиталистического цирка»... Когда «лирические клоуны» выполняют этот номер на арене советского мелкомарксистского цирка, их помещают в психбольницу, ссылают в Сибирь или выгоняют из цирка. В политическом плане я стремлюсь к социализму «с человеческим лицом», тому, что аккумулировал все неудачи, но не перестал указывать единственное направление пути, которое, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы по нему идти.

Ф. Б. *А де Голль, где он во всем этом?*

Р. Г. Де Голль был счастливой эксцентричной выходкой истории, которой Франция отлично сумела воспользоваться.

Ф. Б. *Ты меня извини за то, что я не являюсь приверженцем этого культа, но это твое дело... А как получается, что, несмотря на твое стремление к социализму «с человеческим лицом», о котором ты только что поведал, ты всегда отказывался подписывать какие бы то ни было манифесты, петиции?..*

Р. Г. Я не составляю петиций, не угрожаю, не марширую, потому что за моей спиной творчество, двадцать томов: оно протестует, участвует в манифестациях, подает петиции, взывает, кричит, показывает и вопит, и это — единственный стоящий вклад, который я могу внести. Мои книги существуют, они говорят, и лучше этого я ничего сделать не могу.

Ф. Б. *Я знаю, что несколько дней назад ты вышвырнул за дверь несколько человек, которые пришли попросить тебя подписать протест против грубости полицейских...*

Р. Г. Население, которое ежегодно оставляет на дорогах пятнадцать тысяч погибших, не вправе сетовать на грубые действия полицейских. Это тот же «мачизм», те же свиньи, не важно, в форме они или нет... И эти вот мерзавцы, перед тем как подняться ко мне, оставили свою тачку на тротуаре, перегородив вход... Типично. Я не стану затевать тут дискуссию и выяснять, что было сначала — яйцо или курица, но наших полицейских

убедили. Им внушили. Когда ты начинаешь ненавидеть какую-то группу, то в конце концов она усваивает это и начинает делать все, чтобы заслужить ненависть, это известный исторический процесс. Об этом уже говорилось: Средневековые объясняли евреям, что они презренны, и в силу этого ему удалось создать евреев без чувства собственного достоинства...

Ф. Б. А коммунизм?

Р. Г. Тут все как надо, спасибо. Они поняли, что капитализм сейчас обеспечивает свое собственное исчезновение и делает это очень успешно. Поэтому они довольствуются тем, что извне подталкивают его в этом направлении при помощи профсоюзов, манипулируют капитализмом, и все идет в точности как они того хотят.

Ф. Б. Если бы они пришли к власти во Франции, что бы ты делал?

Р. Г. Это зависит от того, как бы они к ней пришли и с какой стороны были бы трупы.

Ф. Б. А как писатель?

Р. Г. Думаю, что если бы коммунисты пришли к власти во Франции, проблемы возникли бы главным образом у интеллектуалов-коммунистов... Ромен Гари? Да им было бы на него наплевать. Думаю даже, что они бы позволили мне писать и печататься, чтобы обласкасть. Это будет не завтра... Но надо сказать, что буржуазия делает все, чтобы ускорить этот процесс... Послушай-ка вот это... Я занимался судьбой одного студента, негра. Он закончил учебу со всеми возможными дипломами. Я пытаюсь его пристроить, чтобы он мог заработать на кусок хлеба. Обращаюсь к людям, которых знаю, которые руководят очень крупной фирмой. Его берут на работу. Во время испытательного срока мне сообщают, что этот молодой негр — блестящий работник, его ждет прекрасное будущее, им очень довольны. А затем однажды вечером парень приходит ко мне, на нем лица нет. Его вышвырнули вон. Начальник отдела кадров вызвал его к себе и принял с самым высокомерным, ироничным видом, настоящий начальник. «Вот ваше досье, дорогой месье. В мае 68-го вы были на баррикадах... Вы активно работали в негритянских подрывных организациях... И как бы случайно вы живете на бульваре Сен-Мишель...^[44] Чтобы быть в первых рядах, не так ли? До свидания, до свидания...» Так-то. Парень давно забыл, что это такое было, май 68-го года, но вот они не забыли... Эта буржуазия, эти хозяева, знаешь, что они такое? Это консервативное предприятие по саморазрушению!

Ф. Б. Не стоит так кричать. Я согласен. Но, возвращаясь к Европе...

Р. Г. Баста. Кончено. Я сказал то, что должен был сказать. Пускай теперь доказывают, что я заблуждаюсь. Хотел бы я, чтобы они представили мне это в каком-то другом свете, идет ли речь о Мессмере или о Деффере, я так люблю ошибаться, это всякий раз возвращает мне надежду и веру в людей.

Ф. Б. *Тем не менее раньше ты очень любил выигрывать в шахматы...*

Р. Г. Да, во времена славного старого учителя доктора Тартаковера в Ницце. Вот уже сорок лет, как я не раскрывал шахматной доски. Я забросил, когда увидел, что это становится навязчивой идеей. А в шахматах можно что-то сделать, только если они становятся навязчивой идеей... Однажды я поймал себя на том, что лежу ночью в постели и заново проигрываю партию между гроссмейстерами Алехиным и Капабланкой... Тогда я сказал — баста.

Ф. Б. *Но игра в шахматы всплывает в «Европе»...*

Р. Г. Только для того, чтобы показать, до какой степени посол Дантес, «человек высочайшей культуры», задушен абстракциями, но к чему все это? Книги ничего никогда не значат... «Война и мир» — если взять вершину литературы — сделала для литературы все, но войны не прекратились... Знаешь, я тебе сейчас приведу два примера. В «Корнях неба» я яростно протестовал против истребления слонов, против охотников... Речь шла о защите всей нашей окружающей среды — а значит, и нашей свободы. После Гонкуровской премии я стал получать письма с взволнованной благодарностью читателей, многие из которых посылали мне в знак понимания... фигурки слонов *из слоновой кости*. То же самое с «Обещанием на рассвете». Взволнованные люди приходят мне сказать, что они не перестают читать и перечитывать эту книгу... И в конце некоторые из них спрашивают: «А ваша мама еще жива?..» Не знаю, как эти уважаемые господа читали книгу. Порой бывает такое, что нарочно не придумаешь. Все мое творчество зиждется на уважении к слабости. В ключевом эпизоде «Корней неба» узники концлагеря, доходяги, возвращаются к жизни, вновь обретают мужество, надежду, когда один из них предлагает считать, что среди них находится воображаемая женщина... В романе «Прощай, Гари Купер!» я написал: «Сильные и крутые мужчины есть всюду, честь же спасают другие, от которых, казалось бы, мало проку, которые не способны причинить зло, одним словом, слабые...» Все мои книги объединяет тема слабости, непобедимой и всесильной... И вот в один прекрасный день в «Нувель Обсерватор» я обнаруживаю следующую фразу, вышедшую из-под пера Ги Дюмюра: «В книгах Ромена Гари слабые всегда

проигрывают, недаром же он голлист...» Даже если не брать в расчет фашистского подтекста, нельзя зайти дальше в недобросовестности и так мало заботиться о правде. Вообще-то мне нравится Ги Дюмюр: то, что он делает, наверное, нелегко...

Ф. Б. В последний раз ты довольно резко выступил по телевидению, требуя проведения некой кампании за «феминизацию» мира, за «женскую» цивилизацию... Ты не единственный увидел в женщинах великий эксплуатируемый класс человеческой истории. Но ты зашел дальше других. Ты утверждал, что все ценности цивилизации являются женскими ценностями... Мягкость, нежность, материнство, уважение к слабости. И когда ты с такой горячностью потребовал в конце, чтобы «женщинам была отдана справедливость»... Не идет ли речь, главным образом, о двух воспоминаниях, которые с годами приобретают все больший масштаб в «несправедливости»: воспоминание о твоей матери и об Илоне?

Р. Г. Не знаю. Это нелепость какая-то. Отменное кривлянье. Я знаю одно — я остаюсь верен тому, что написал в 1951 году в «Цветях дня». Все ценности цивилизации — это женские ценности. Христианство прекрасно это поняло с Пречистой Девой, но ограничилось благочестивым образом. Оно начало с восхваления слабости и извлекло из этого урок силы. Когда Ренье в «Цветях дня» говорит: «Я верю в победу слабейшего», — я принимаю это на свой счет, во имя той доли женского начала, которую цивилизации следовало бы затронуть, породить и заставить действовать соответственно в каждом мужчине, достойном так называться. Что в моем случае это результат экзальтированной «сублимации» моих отношений с матерью — возможно, но ничего, кроме того, что человек, то есть цивилизация, начинается с отношений ребенка со своей матерью, это бы не доказало. Между тем вся литература сегодня, не говоря уже об эдиповой паранойе психоаналитиков, трактует эти отношения исключительно как невроз, от которого следовало бы излечиться, «освободиться», потому что наша цивилизация на последнем издыхании, чей конец при истощении всех форм энергии столь ощутим, вынуждена искать «оригинальность», «свободу» и «новое» в противоестественных действиях, поскольку она истощила свою исконную оригинальность или изменила ей. Я все же не такой простак, чтобы заявлять: «Нужно поставить женщин на место мужчин, и мы получим новый мир». Это идиотизм, хотя бы потому что большая часть деятельных, активных женщин уже доведены до положения мужчины нуждами и условиями самой своей борьбы. «Мачизм» в юбке не интереснее того, другого. Я просто говорю, что нужно дать шанс

женственности, чего ни разу еще не пытались сделать с тех пор, как человек царит на земле. Если политический выбор сегодня так труден, то лишь потому, что, по сути, все наличествующие силы ссылаются как раз на силу, борьбу, победы, кулак, на мужское начало, если тебе угодно. Взгляни на фотографии Национального собрания. Там одни самцы, фу... Прекрасные физиономии отменных мачо. Возьми Мессмера или Миттерана, это настоящие римские лица, в них есть что-то от каменных бюстов, гладиаторов, один к одному, еще бы лавровый венок на голову, всё как тысячелетия назад... Ни одного женского голоса в этом хоре голосов, поющих о Европе... Вот почему, впрочем, мы и создаем Европу говядины и сала. Ни следа материнства во всем этом... Пока мы не увидим на трибуне Национального собрания беременную женщину, вы, говоря о Франции, всякий раз будете лгать! В мире политики наблюдается пугающее отсутствие женских рук... В конечном счете идеи обретают плоть и форму в руках, идеи принимают форму, мягкость или грубость рук, которые их воплощают, и пора уже, чтобы ими занялись женские руки...

Ф. Б. *Руки элегантных женщин.*

Р. Г. Возможно.

Ф. Б. *Что было после Илоны?*

Р. Г. Ничего. Электрошоки — один, другой.

Ф. Б. ?..

Р. Г. Я хочу сказать, что секс без любви действует как стабилизатор нервной системы, электрошок. Для меня это всегда было радикальным выключателем любого «состояния». Это снятие излишней напряженности и так далее.

Ф. Б. *Ты совсем не пьешь. Как ты сумел избежать спиртного в жизни, которая вся «на нервах»?*

Р. Г. Я всегда алкоголь на дух не переносил, никогда им не увлекался, так что я вовсе не собираюсь подвергаться психоанализу, чтобы узнать, почему я не пью, «излечиваться» и нажираться в хлам. Дай спиртного животному — и ты увидишь его реакцию. Такая же и у меня. И совершенно невыносимо, когда люди по несколько раз пристают к тебе с одним и тем же вопросом: «Вы правда ничего не хотите выпить?» Пытаются обратить в свою веру мой мочевого пузырь...

Ф. Б. *Однако ты вел такой образ жизни, который обычно подпитывается спиртным или чем-то подобным...*

Р. Г. Что ты хочешь заставить меня сказать?

Ф. Б. *И никогда никаких наркотиков?*

Р. Г. Никаких, в смысле дурмана. У меня нет желания жульничать со своей природой. Я хочу быть полностью самим

с собой. Я принимал марплан в особенно драматичный период своей жизни, когда Джин Сибберг, бывшая в ту пору моей женой, потеряла нашего ребенка, став объектом гнусной кампании, развязанной прессой. Этот веселящий препарат принес пользу: я никого не убил. А потом я стал замечать, что марплан, не препятствуя проявлениям естества, не позволял мне... довести их до конца. Из-за него я совсем перестал кончать. Пришлось прекратить.

Ф. Б. *Что ты прекратил?*

Р. Г. Принимать марплан. А что, по-твоему, я должен был прекратить?

Ф. Б. *Итак, Илона тебя оставила, и грянула война... Чем была для тебя война?*

Р. Г. Все не так. Это было не так. Когда грянула война, я уже два года был унтер-офицером летного состава. Мы тогда и без нее разбивались, сами по себе, на машинах «Блох-210» того же «Блох-Дассо», что и сегодня; в то время это был пионер воздуха, известный своими «летающими гробами». Ужасные машины, просто дрянь, со слабыми двигателями, они еле-еле взлетали и падали, как лепешки. К тому времени я уже подобрал Дюпре, который умер буквально у моих ног в двадцать два года, прошептав: «Я только начал...» Разумеется, война увеличила это в сто, в двести раз. Я видел, как все тот же Дюпре, который «только начал», умирал повсюду, от Англии до Эфиопии, от оазиса Куфра до Ливии и затем снова в Англии, если, конечно, от него еще хоть что-нибудь оставалось. От июньского призыва 1940 года остались только Барберон, Бимон и еще несколько человек: лучше не называть их имен, чтобы избавить от ироничных улыбок, потому что всем сегодня известно, как это глупо — отправляться на смерть. В общем, их нет в живых. Это неинтересно, главное — не следует жить в вечном трауре, от этого сходишь с ума. Проблема в том, что я их ужасно любил, этих парней. Впервые я нашел свое место, и это не были пустые фразы, не политические игры. Одно из двух: летать или стать рабом. Я терпеть не могу этакого вечного ветеранства. Жизнь на то и дана, чтобы всякий раз начинать ее заново. Я не собираюсь, не отмечаю, не зажигаю вновь факел. Но это во мне, это и есть я. В каком-то смысле я остался там, потому что не верю в «человека на все времена»: свою жизнь отдаешь лишь раз, один-единственный, даже если выбираешься оттуда живым. Я вспоминаю о них без грусти, без могильных плит, без коленопреклонения. Я улыбаюсь, когда вспоминаю о них. Порой происходят забавные вещи. Вот, например, на днях я отправился на обед к одним моим знакомым на улицу Командира эскадрильи Мушотта. Командир эскадрильи

Мушотт был моим приятелем, мы вместе служили унтер-офицерами, а теперь у него своя улица в Париже, вот умора. Я рассказал об этом таксисту со славной физиономией, и он тоже повеселился. «Вот это да, ухохочешься», — повторял он. Итак, я прибываю на улицу Командира эскадрильи Мушотта, впрочем, совершенно отвратительную. Мерзость, а не улица, мрачная, с какими-то складами, тянущимися с улицы Монпарнас, зияющими пустотой, страшнее не придумаешь, Мушотт не стал бы погибать за такое, ручаюсь тебе. Разумеется, он про это не знает. Но если это все, что «голлистский» муниципальный совет Парижа подыскал для командира эскадрильи Мушотта... Я задаюсь вопросом, чем они живут, на что опираются. Не на память: скорее на недвижимость. Так что война была для меня вымиранием на глазах одного за другим, вылет за вылетом, на протяжении четырех лет, под всеми небесами, единственного человеческого племени, к которому я принадлежу по полному праву. Пользуюсь случаем упомянуть капитана Рока, погибшего в Ливии, который меня на дух не выносил: ну и разозлился бы он! Вот и все о войне.

Ф. Б. *Почему ты так ничего о них и не написал?*

Р. Г. Не хотел делать на них книги. Это их кровь, их самопожертвование, и гибли они не за большие тиражи. Я знаю, среди них были и такие, кто обиделся бы на меня за это, — де Тюизи, Мезоннев, Бекар, Ирлеманн, Рок, — и то, что они никогда не узнают об этом, ничего не меняет, напротив...

Ф. Б. *Ты ведь наверняка не считаешь, что молодым сегодня нужны «примеры»...*

Р. Г. Не нужно провокаций, Франсуа. Я слишком хорошо тебя знаю. Это не сработает. Меньше всего молодежь нуждается в примерных мертвецах. Побуждение к героизму — это для импотентов. Молодым, чтобы встал, не нужны слова. Только старики прибегают к этому возбуждающему средству. Мне хорошо известно, что наши ребятки плюют на армию, но плевать на армию всегда было славной военной традицией. Два года назад Мишель Дебре направил как-то ко мне одного юного пресс-атташе. Тот объяснил, что министр озабочен тем, что молодые люди оскверняют французский флаг, и спрашивает, что я об этом думаю, что тут можно сделать. Я попросил передать ему, что печалиться не стоит, напротив, надо радоваться. Франция и Америка сегодня — единственные страны западного мира, где еще плюют на флаг. Следовательно, это единственные страны, где знамя еще что-то значит. В других странах об этом уже даже не задумываются. Единственное, в чем можно упрекнуть молодежь, так это в вялости.

Ф. Б. *Ты часто встречаешься с молодыми людьми?*

Р. Г. Да, постоянно, и из разных слоев. Что меня особенно поражает, так это, что они сплошь и рядом стремятся прожить свою жизнь в художественном самовыражении. Театр — который сейчас загибается, потому что еще не родился, — очень скоро станет просто образом жизни весьма многочисленных сообществ. Искусство стало молодостью, оно хочет быть прожитым, потому что никогда еще в истории священного не ощущалось такой потребности выразить свою жизнь, вместо того чтобы ее прожить. Театр покидает залы, потому что входит в самую жизнь молодых людей, у них повсюду наблюдаешь потребность симпровизировать себя, сыграть себя, дать себе роль в музыке, на шестнадцатимиллиметровой пленке, в диалоге, на магнитофонной пленке или пусть даже в одежде, в вещах. У них наблюдается необычайное превращение существования в обряд, поиск литургии. Я не люблю «предсказывать», потому что нельзя обобщать из-за всяких там Гитлеров, Сталиных и прочая — они непредсказуемы. Но вокруг нас ощущается все ускоряющееся образование некоего театра жизни, в котором спектакль — это, если так можно выразиться, постоянная импровизация, непрерывная психопантомима, в которой материальным заботам и работе отводится место только в антрактах. Жизнь молодых ребят — даже тогда и особенно тогда, когда она претендует на идеологию, — все больше старается быть импровизацией и способом художественного выражения на избранную тему. По восемь часов в день в конторе, два часа на дорогу — это не тема жизни, это похороны. Я знаю уже несколько таких групп, с которыми встретился случайно либо потому, что они почувствовали, что для меня культура, искусство — это способ жить, а не только способ смотреть или читать. Они мечтают об искусстве-ремесле, материалом для которого послужит их жизнь: впервые с начала христианской пантомимы появилась молодежь, которая ищет художественный, проживаемый способ выражения, художественное изготовление самого себя, новую литургию, исполняемую с утра до вечера. Наркотики были всего лишь псевдохудожественной мастурбацией, отсутствием материала и средств, но эта новая потребность в проживаемом искусстве стала уже не бегством в ирреальный мир, а поиском образа жизни. Есть молодежь, которая не хочет больше подчинять себя зарабатыванию денег как способу существования. Что такое культура, как не создание жизненного измерения, которое не сводится больше к материалистической жестикуляции, единственная цель которой — продолжаться непрерывно, быть вокруг нас, быть самоцелью, с небольшими отступлениями для кино, телевизора и секса! Общество само по себе никогда не

считалось целью, и, однако, именно этим оно и стало. Порабощение человека зарабатыванием денег — это чудовищная вещь, низведение человека до состояния жетона. Его вводят в социальную машину, которая выдает его на другом конце в состоянии пенсионера или трупа. Сейчас готовятся художественные соборы, секты, стили жизни, основанные на превращении существования в ритуал вокруг какой-то свободно выбранной святыни; пятьсот тысяч молодых людей в Вудстоке побратались вокруг музыки; музыкальные поп- и рок-группы стали новыми отношениями с новыми смыслами жизни и поиском новой концепции жизни *выражаемой*, а не только испытываемой, получаемой. Человечество всегда пребывало в поисках некоего театра, начиная с богов античности до соборов, и мне думается, что если нашим рушащимся старым театрам до такой степени не хватает зрителей, так это потому, что молодые люди все больше и больше испытывают потребность в том, чтобы быть актерами, а не просто зрителями. Потребность в народном празднестве так велика, что его проведение в Вудстоке или других местах собирает миллионы участников...

Ф. Б. *А роль правительства во всем этом?*

Р. Г. Следовало бы создать Министерство культурных дел и Национальный центр кинематографии. В любом случае в западной цивилизации, будь то в СССР или во Франции, мы работаем над тем, чтобы построить прошлое. У русских восхитительно получается строить общество 1860 года, а Пятая республика заставила бы ошалеть от благодарности трудящиеся массы 1900 года. Со дня на день мы даже собираемся запретить абсент. Не думаю, что стоит ругать за это наши правительства. У них на шее прошлое. Они управляют прошлым. Они двигаются внутри общества, которое находится в самом хвосте цивилизации. Любое общество — это репертуарный театр, но наше зашло очень далеко по части отсутствия выбора и какой-либо новизны. Молодежь мечтает об импровизации, потому что она — сама спонтанность. А мы живем в обществе статистов, где невозможно получить роль, выбрать поведение, симпровизировать: это общество, которое требует, чтобы молодые играли классиков. Советскому и капиталистическому обществам принадлежит монополия на социальный театр, монополия на текст, монополия на распределение ролей с невозможностью освободиться от них. Отсюда — вооруженные банды на улицах, где полиция «держит все ходы и выходы», культурные или другие. Ты мне возразишь, что так более или менее было всегда, но миру настолько не доставало информации, что сюжетная канва, заданные, продиктованные темы — феодальные, абсолютистские,

религиозные и прочие — имели необыкновенную власть. Понимается ли сейчас в должной мере роль кино в пересмотре мира, реальности? Пусть даже на примере такого простого факта: можно по собственному желанию складывать образы, пользоваться небольшими кусочками реальности или ее видимостью, чтобы создать иную реальность... Кино, даже самое условное, подрывает отношения глаза с реальностью... Когда я слышу, как, вздыхая, произносят: «Ах, эта нынешняя молодежь!» — мне хочется напомнить этим дамам и господам, что Битва за Англию в 1940 году, изменившая ход войны, была выиграна золотой молодежью того времени, папенькиными сынками, «плейбоями», потому что они были единственными, кто мог позволить себе роскошь научиться управлять самолетом для собственного удовольствия в 1938 году, а когда грянула война, они за несколько недель превратились в «легендарных героев»... Декадентской молодежи не бывает.

Ф. Б. *Что и приводит нас в 1945 год. Ты оставляешь авиацию после семи лет службы. С кучей наград. «Европейское воспитание», опубликованное сначала в английском переводе в 1944 году, приносит тебе Премию критиков и переводится на многие языки. Тебе тридцать лет. Трудно мечтать о более удачном возвращении Улисса... Ты немедленно получаешь два предложения, оба я оцениваю как очень престижные: Жорж Бидо предлагает тебе поступить на службу в Министерство иностранных дел, а группа искушенных деловых людей в поисках прикрытия предлагает возглавить административный совет, управляющий примерно тридцатью борделями, разбросанными по всей Франции. Ты выбираешь Министерство иностранных дел и отправляешься в качестве секретаря посольства Франции в Софию...*

Р. Г. Болгария, февраль 1946 года. Уже тогда это была коммунистическая страна, но еще с царицей и царем, царем-ребенком. Его отец, царь Борис, умер полутора годами раньше от яда, возвращаясь со встречи с Гитлером, который уже перестал ему доверять... Новым царем, настоящим, стал с приходом советских войск легендарный Георгий Димитров, герой процесса о поджоге Рейхстага, которого не решился казнить Гитлер. Димитров, глава Коминтерна, Коммунистического интернационала в период между войнами, «хозяин» при Сталине всех компартий в мире. Великий большевик-интернационалист, покорившийся грузинскому царю. Это уже был живой мертвец, тяжело больной атеросклерозом и диабетом, с львиным лицом, которое размалевывали румянами, прежде чем выставить на обозрение публики, чтобы скрыть его мертвенную бледность; его понемногу, день за днем, бальзамировали при жизни в прямом и

в переносном смысле, ибо правил один Сталин, не выносивший ничьего «величия», кроме своего собственного. Можно лишь представить, что испытывал этот страстный интернационалист, играя болгарского националиста... У него был такой чересчур блестящий взгляд, какие прежде удавалось получать у голливудских звезд, когда им капали в глаза привин... Его вид вызывал удивление и волнение — ведь он избежал пули в затылок в период сталинских чисток только благодаря тому, что был фигурой мировой величины, и после тридцати лет бескомпромиссного большевизма ему пришлось согласиться перевоплотиться в балканского «патриота»... В момент моего приезда в Софию Сталин потихоньку готовил федерацию южных славян, которая бы объединила Югославию и Болгарию, нейтрализуя таким образом Тито и Димитрова — одного другим, — промежуточный этап перед «вступлением» в ранг одной из советских республик. Я разговаривал с Димитровым по-русски на одном приеме в нашей миссии, и он, похоже, удивился и даже насторожился, как позднее Вышинский в ООН в Нью-Йорке, когда я заговорил с ним на нашем родном языке... Вышинский даже сказал мне, слушая неположенный для французского дипломата русский язык: «С вами что-то не так...» Когда я объяснил Димитрову свое происхождение и свой отъезд из СССР в 1921 году, он бросил мне фразу «Много потеряли» с такой горькой иронией, что невозможно было сказать, сквозило ли в ней презрение к Франции или ненависть к России. Красная армия была тогда повсюду в Болгарии, и со времен революции это было моим первым соприкосновением со своими корнями. Знаешь, это занятно, хотя я вырос на русской литературе и, слушая на днях Синявского, не без волнения повторял слово в слово стихи, которые тот читал, все-таки русские от меня страшно далеки, что доказывает, что человека формирует не литература. Впрочем, если бы существовал «голос крови», то не было бы Америки... Так вот в этой заснеженной по самую душу стране была царица и маленький царь, заточенные у себя во дворце — этаким старорежимном «Юнион Клабе»^[45], где можно было встретить тех, кто в скором времени будет повешен, сгниет в тюрьме, кому удастся бежать или «устроиться»: для болгар было сущим безумием показываться там в обществе западных дипломатов, но они продолжали приходить, так как еще находили там последний след самих себя. Там властвовал посол Соединенных Штатов и расточал красивые слова, не скупясь на волшебные сказки: Соединенные Штаты придут на помощь болгарской демократии и свободе, — и он возненавидел меня за то, что я умолял этих несчастных ему не верить. Мой друг

Николай Петков, глава либеральной аграрной партии и председатель «Альянс Франсез», верил этому голосу Америки: он громко и твердо говорил о свободе, демократии, «конце кошмара». Димитров его повесил, и я не знаю, кому чаще являлся его черный язык — Димитрову в его последние ночи или Его Американскому Превосходительству. Я вспомнил об этом через двадцать лет, чтобы нарисовать портрет посла, раздавленного угрызениями совести, в романе «Прощай, Гари Купер!», но угрызения совести посла там были лишь частью сюжета... Впрочем, тут не было вины мистера Мейнарда Барнса: он и в самом деле думал, что явится Гари Купер и справедливый, чистый, крутой герой в очередной раз выйдет в конце победителем. Гари Купер не пришел, и Петкова повесили. Один из тех, кто отправил его на виселицу, Трайчо Костов, самый ярый коммунист из всех болгарских коммунистов, двумя годами позже тоже был повешен, как и Петков, для симметрии, когда Сталин начал искоренять националистов в странах-сателлитах. Другие члены «Юнион Клаба» повыбрасывались из окон или пятнадцатью годами позже вышли из тюрьмы. Зимы были ослепляюще чистыми, страна очень красивой, народ чрезвычайно радушным. Люди исчезали, и о них больше никто не слышал; некоторым удавалось бежать, как Молову, который отправился из Варны в Марсель на корабле в ящике с этикеткой «Семечки». Как ему удалось продержаться две недели в этом ящике, у меня до сих пор в голове не укладывается... Сейчас он живет в Париже со своей очаровательной женой и красавицей дочерью. Были женщины с великолепными глазами, приемы, на которых ни о ком не следовало спрашивать, любовные связи, каждое слово которых повторялось в милиции, старорежимные болгарские дипломаты, которых держали еще какое-то время для видимости, они бледнели, когда западный дипломат подходил к ним сказать несколько слов... Одному из них, советнику при «регентстве», удалось отправить свою жену в Рим. Затем он выбросился из окна правительственного дворца в Софии, а его жена, узнав об этом, выбросилась из окна своей гостиницы в Риме... Это была коммунистическая история любви. Порой я задаюсь вопросом, что стало с их собакой, жесткошерстным фокстерьером, им бы следовало отдать его мне. Возле бассейна во французской миссии росли вишни. Наш посол, Жак-Эмиль Пари, был самым молодым посланником, а его жена напоминала Марию-Антуанетту, бюст которой, впрочем, стоял на камине у нее в гостиной. Меня поцарапала бешеная кошка, и пришлось делать уколы от бешенства. В конце лечения я узнал, что от этой вакцины не было никакой пользы и многие люди умерли в жестоких мучениях. Я

провел много дней в ожидании симптомов, но не дождался. Была икра, много икры. Ее можно было купить в магазинах для дипломатов, это было проявлением заботы со стороны властей. Я говорил с Димитровым о пожаре в Рейхстаге, что было одним из крупнейших политических событий моей юности. По-моему, еще и сегодня в точности не известно, действительно ли Геринг приказал устроить этот поджог или же он только использовал случившийся пожар. Димитров мне сказал: «Знаете, это ведь и правда я поджег Рейхстаг». Я вежливо улыбнулся, это было очень забавно. Нужно уметь смеяться над остротами властителей. Это был юмор того же рода, что и у Хрущева, когда он на одном приеме показал пальцем на Микояна, бросив журналистам: «Знаете, а ведь это Микоян пристрелил Берию!» Я часто выезжал для связи в Белград. В то время у Тито была немецкая овчарка, и супруга французского посла мадам Пайяр пыталась устроить брак между псом Тито и своей собакой — для Истории. Пайяр — чудесный бородатый посол — заходил ко мне в комнату в пижаме, с недокуренной сигаретой в зубах, в два часа ночи, чтобы до рассвета без устали говорить о политике, он это делал всякий раз, когда я приезжал в Белград, где, впрочем, была все та же икра. Практикующий католик с радикал-социалистическим уклоном, он дал обет не брить бороду, если ему не удастся бежать из немецкого лагеря для военнопленных во время Первой мировой войны. Трижды его ловили, и теперь он свято исполнял свой обет, так что посреди его заросшего лица виднелись только синие-синие глаза и чинарик. Его рассуждения были полны «центробежными силами» и «центростремительными силами», но ни он ни я — никто не сумел предвидеть разрыв Тито со Сталиным. Я возвращался в Софию и вновь обнаруживал в «Юнион Клабе» самых-самых: тех, кто рисковал жизнью или свободой, чтобы еще раз пообедать в свете. Их становилось все меньше и меньше, «Юнион Клаб» пустел, леденел. Тот, кто, наверное, был последним болгарским плейбоем с седеющей шевелюрой, появился в один из последних вечеров в смокинге и в течение часа разговаривал со мной о своей «бугатти», которая была у него до войны; уходя, он сказал мне «Благодарю вас» с волнением, которое полностью изменило мое мнение об автомобилистах. Его арестовали на следующий день, но отпустили, и он стал носильщиком на вокзале. В дипломатическом магазине фунт икры стоил по нынешнему курсу двадцать франков. Ее ели с луком, но дипломаты избегали подавать ее на стол на своих встречах, чтобы не быть банальными.

Ф. Б. Болгария 1946–1948 годов наложила отпечаток на твое

отношение к коммунизму?

Р. Г. Нет. Я никогда не подпадал под влияние коммунизма, поэтому не стал и антикоммунистом — от разочарования, как столько людей моего поколения... ты их знаешь. Любые предрассудки отвратительны, и в силу моей профессии у меня их быть не должно. Моя работа в Болгарии заключалась в том, чтобы холодно и беспристрастно наблюдать за формированием коммунистического аппарата, за тем, как прибирается к рукам страна, и, по возможности, делать из этого выводы об отношениях СССР с компартиями других стран и о мифе «мировой революции». Я приноравливался думать «по-коммунистически», предвидеть каждый следующий ход на шахматной доске. С коммунистами это довольно легко, потому что они на редкость далеки от предательства. Они действительно верны системе до конца, так что строить прогнозы можно с большой долей вероятности. Иногда их верность вступает в противоречие с человеческой честью, гордостью, достоинством, с «культом себя», ну и тогда получается Костов, отказывающийся «сознаваться» для спасения своей жизни. Самый мерзкий документ, который я видел, это публичная исповедь Сланского^[46]: пока коммунистический прокурор разоблачал этого «иудео-предателя», на губах у Сланского была улыбка, исполненная такой грусти, что можно и в самом деле задаться вопросом, стоит ли еще быть человеком. Нужно сказать, что прокурор, участвовавший в процессе, покончил с собой, повесившись на дереве во время Пражской весны, но не надо забывать и то, что все там вернулось на круги своя и там снова есть икра в дипломатических магазинах. Иногда еще артачится один мачо — Тито. В его отношениях со Сталиным все дело в яйцах, идеологией даже и не пахнет: никогда нельзя забывать, что мужское начало играет во всем этом весьма видную роль... Вот тут-то бы и пожалеть о кастрации. По поводу советской политики то и дело появляются спекуляции на тему «жесткого» и «умеренного» направления внутри Кремля: однако поскольку там до настоящего времени всякой смене направления предшествовала смена людей, то ошибиться трудно. Но дипломаты умудряются порой ошибаться от избытка тонкости. Однажды лет десять назад судьба столкнула меня с одним важным французским послом, занимавшим весьма influential пост, и он объяснял мне, что разрыв между Китаем и Советской Россией был необычайно хитроумным и дьявольским маневром, который китайцы и русские придумали вместе, чтобы обмануть Америку... Это был человек чересчур умный. Ничто так не разочаровывает большой ум, как необходимость остановиться на том, что дважды два четыре. Вот почему Оливье Вормсер,

который, прежде чем возглавить Французский банк, был нашим послом в Москве, оказался единственным послом, хладнокровно объявившим за три недели до вторжения, что СССР собирается оккупировать Чехословакию. Он остановился на том, что дважды два четыре, а это требует сильного характера...

Ф. Б. *Что ты как профессионал сумел предсказать в Болгарии?*

Р. Г. Ничегошеньки. Это совершенно неинтересно, мои депеши из Болгарии хранятся под инициалами Р. Г. в Министерстве иностранных дел. Два года спустя меня назначили поближе к коммунистическому папе — в Москву. Я ехать туда отказался. Мне уже осточертела икра.

Ф. Б. *Каковы наиболее значимые, наиболее яркие воспоминания о Болгарии по прошествии тридцати лет?*

Р. Г. Кроме черного языка Петкова — он обедал у меня за несколько дней до своего ареста, — я сохранил о Болгарии очень приятные воспоминания. Из всей своей дипломатической карьеры я отдаю предпочтение своему последнему посту, Калифорнии, и первому — Болгарии.

Ф. Б. *Это означает, что ты кого-то любил там?*

Р. Г. Болгары выпутались. Похоже, дела у них идут все лучше. Коммунизму нужно всегда дать время сесть в лужу, чтобы он преуспел. Я пережил там незабываемые моменты. Ну, к примеру, шпионы. Ты никогда не знал, кто шпионит, на кого и при помощи чего: задницы, дружбы или любви. Как и всюду, у местных шпионов была лишь одна навязчивая идея: сейф дипломатических миссий, код. Если ты наложишь руку на сейф одного посольства, можешь в течение месяцев расшифровывать все телеграфные сообщения всех посольств по всему миру. В Анкаре знаменитый Чичеро, камердинер посла Великобритании, стал хозяином всех жизненно важных сообщений, исходивших из английского Министерства иностранных дел. Это мечта, которую лелеют все контрразведки, ключ к раю, и совершенно естественно, что секс играет в этой мечте большую роль. В Болгарии это было нечто. Жена британского военного атташе, исключительная женщина, целую неделю обходила все западные посольства, чтобы сообщить нам, что ее сфотографировали... у болгарского гинеколога и что если мы получим эти снимки, не следует воображать, что речь идет о какой-то тайной встрече или каком-нибудь там сеансе, это просто гинекология. Восхитительная женщина. Она до сих пор стоит у меня перед глазами, с большим чувством собственного достоинства она сообщает мне о нарушении норм профессиональной этики со стороны одного видного члена медицинского корпуса. Дочь генерала, она поняла, что лучший способ защиты — это

нападение. Меня тоже сфотографировали... во всех ракурсах.

Ф. Б. Ты был раздосадован?

Р. Г. Восьма. Восьма. Я в тот день был не в форме. Мне не хватало воодушевления. Особа, о которой идет речь, не сделала абсолютно ничего, чтобы я мог показать себя в лучшем свете: в стиле «ни рыба ни мясо» ей не было равных. Мы были у нее дома, в комнате на первом этаже, с окнами во внутренний дворик, одно оконное стекло было разбито, и, очевидно, через эту дыру и снимали. Я был явно не в ударе — я даже не пытаюсь найти себе оправдания, так как оправдания мне нет, нужно всегда быть на высоте, «по двадцать раз переделывайте работу»^[47] и так далее. Но моя работа никуда не годилась, старик, жуткая халтура, а что тут поделаешь, если я трудился один. Неделью спустя ко мне на улице подваливают двое болгар в стиле «усатый мерзавец». Хотят со мной поговорить. Кое-что показать. Мы заходим в кафе, усаживаемся за столик, и они предъявляют мне снимки. Я смотрю, и меня охватывает стыд. До чего же я был жалок, старина, просто жалок. И потом, ракурс, в котором снимали эти негодяи, лишь усугублял ситуацию: с трудом можно было понять, чем я занимаюсь. Я испытал унижение. Мне было тридцать, это мой первый пост, я представляю Францию... А тут такое! Если бы я знал, что есть свидетели, что я войду в историю в качестве представителя Франции за рубежом, я бы совершил что-нибудь потрясающее, ведь как-никак я работал для моей страны, нужно было поддержать тысячелетнюю репутацию: Жанна д'Арк, Декарт, Паскаль и все прочее. Да и в девушке тоже не было ничего исторического. На снимке было видно ее лицо, она стояла на четвереньках, слегка повернув голову в мою сторону, как будто спрашивала себя: «А этот что там делает?» Что до меня, то можно было подумать, будто я толкаю тачку. Я смотрел на снимки, милиционеры смотрели на меня, девица смотрела на меня на снимке. Это был настоящий провал. А ведь она была прехорошенькая, такая вот милая блондиночка, которая говорила мне о любви с потрясающей убедительностью, наверное, она и в самом деле любила кого-то, кого-то другого, может, родителей, которых она пыталась таким образом спасти. Или возможно, она была искренней и, не раздумывая, отдала себя служению народу и социализму, чтобы заполучить ключ от сейфа французской дипмиссии. Это тебе не нынешние времена, когда девице засовывают в задницу микрофоны. Я сказал этим гаерам: «Слушайте, это ужасно. Я очень сожалею». Они были довольны. Один из них с задумчивым видом поглаживал свои усы и даже не сомневался, что я еле сдерживаюсь, чтобы не плюнуть ему в физиономию. Впрочем, это был единственный раз в моей жизни,

когда мне действительно хотелось плюнуть кому-то в лицо. В принципе я питаю большое уважение к человеческому лицу из-за той громадной услуги, которую оно оказало живописи Возрождения. Наконец самый суровый из этих легавых говорит мне: «Проявив немного доброй воли с одной и с другой стороны, все можно как-то уладить». Меня переполняла благодарность. «Потрясающе... Спасибо, спасибо... Все, о чем я вас прошу, это дать мне еще один шанс... Вызовите эту юную особу или, что предпочтительнее, другую, чуть позажигательней... Вот, например, дочь вашего шефа, министра внутренних дел, мне всегда хотелось ее трахнуть, и если бы вы могли это устроить... Мы рвем эти снимки и начинаем по новой. Обещаю выступить гораздо лучше. Обещаю славно поработать, особенно если вы позволите мне водрузить в углу трехцветный флаг, на меня в подобные моменты триколор всегда производит невероятный эффект, я именно так и стал голлистом. Мы очень мило встречаемся, и вы делаете любые снимки, какие захотите, выбирая такие ракурсы, в которых я выглядел бы попредставительнее. Если вы не хотите сделать это для меня, сделайте это для Рабле, Мадлон^[48], Брантома^[49] и Мориса Тореза». Помню, что голос мой дрожал, я действительно чувствовал — нет, я не шучу, — что говорю во имя народа Франции, народа виноградной лозы и сладости бытия. Оба коммунистических придурка глядели на меня так, будто перед ним Антихрист. Еще немного — и они бы попросили у официанта святой воды. Я всегда терпеть не мог пуритан, всегда. Я выкладывал им все это сквозь зубы, старик, глядя, как они зеленеют, и у меня было только одно желание — как следует поплясать на них...

Ф. Б. *«Пляска Чингиз-Хаима» и «Повинная голова». Извини, «Повинная гульба», раз уж ты решил сменить название.*

Р. Г. Да. Абсолютный ригоризм во всех видах мне отвратителен, человеческое — это народный праздник... Между этими двумя болванами и мной лежало различие длиной в века, на лицах этих мелкомарксистских буржуйчиков царило такое оскорбленное непонимание, такое возмущение, что я переживал момент полного наслаждения, которое могут понять только те, кто умеет зайти дальше ненависти... туда, где властвует смех. А еще мой русский без акцента — он тоже нагонял на них жуткий страх, потому что русский был языком «добра», а я был «злом», и сексуальные ужасы, которые я выдавал, звучали по-русски... Настоящее кощунство. Я вернул им снимки и ушел. Я никогда больше не слышал об этой истории. Но я отлично понимаю, что для людей, не столь благоволящих любовным утехам и

помещающих честь человека и мораль на уровне задницы, а не на уровне сердца и головы, такие истории с шантажом сразу же оборачиваются трагедией. Некоторые бедолаги даже кончали с собой из-за того, что их вот так сфотографировали за этим делом. Был и другой случай. У нас там работала секретарем одна старая дева лет пятидесяти, которая до этого так ни разу и не получила свою часть пирога. Она носила маленький крестик, который всегда висел между ее плоскостями. Очень славная женщина. Однажды я заметил, что она начинает чахнуть: тает на глазах, стареет на десять лет. Эта секретарша была родом из Парижа, из тех, кому все доверяют, она расшифровывала телеграммы. Ее никак было не заставить сказать, что стряслось. Рыдания — и все. А потом в одно прекрасное утро она врывается ко мне в кабинет, сложив в мольбе руки: «Спасите меня! Спасите!» И я узнаю, что один «приличный» господин пригласил ее к себе в номер люкс в отеле «Болгария» и организовал все так, что их фотографировали во время всего сеанса лишения невинности в пятьдесят лет и все такое прочее. И вот несколько дней спустя он предъявляет снимки. «Вы станете с нами сотрудничать или...» Этой восхитительной женщине потребовалось чертовское мужество, чтобы прийти и все рассказать нам. Набережная Орсе оказалось на высоте. Они немедленно отозвали несчастную, дали ей повышение и назначили в славную тихую страну. У меня сохранилось приятное воспоминание о Министерстве. Случись беда — они вас не бросят. В то время была еще человеческая администрация, не только бюрократия, это были личности, все эти люди еще имели лица. Но очевидно и то, что подобная атмосфера делает вас немного параноиком.

В этой связи мое самое занятое воспоминание — это история серпа и молота моего маленького талисмана Мортимера, этот бедолага потерял их во время моей поездки в Турцию. Мортимер — это плюшевый бельчонок, который закончил войну вместе со мной. Я не суеверен, но мне нравится общество. Вот почему я клал себе в карман кусок хлеба, когда отправлялся на задание. Я знал и других летчиков, которые поступали так же... Мне необходимо человеческое присутствие и хлеб, с точки зрения человечности лучше не придумаешь. За свою жизнь я, наверное, таскал с собой штук пятьдесят престранных штукун, и это на самом деле приносит счастье, потому что они нашли кого-то, кто бы о них позаботился. В Болгарии я надел на голову Мортимеру русскую меховую шапку с серпом и молотом: он любил маскарад. Так вот, я отправляюсь в Турцию, в Бурсу, и этот ротозей ухитряется где-то потерять свою шапку и значок. Полгода спустя сижу я у себя в кабинете в Управлении по делам Европы, в

Париже, куда я только что был назначен. Приходит Моник Пари, жена нашего посланника в Софии. Она входит, садится передо мной и молча смотрит — ну с таким выражением в своих прекрасных глазах, с таким выражением! В них и мягкий упрек, и растерянность, и таинственный намек, мол, «смотрите, что я для вас сделала». Я спрашиваю, что происходит. Она ничего не говорит и показывает пальцем своей затянутой в перчатку руки на телефон у меня на столе. Микрофоны, понимаешь. *Болгарские микрофоны*. Я хочу сказать, что это были болгарские микрофоны, они засели у нее в мозгу и мучают до сих пор, и она переносит это на Париж. В то время, в 1948–1949 годах, еще не шпионили за французскими чиновниками в их собственных кабинетах. Сказывались три года, проведенные ею в Болгарии. Я ничегошеньки не понимал. Тогда она в полнейшем молчании достает из сумки маленькую меховую шапку Мортимера с коммунистической эмблемой, кладет ее ко мне на стол, бережно, чтобы не взорвалось. И снова тот же взгляд, в том же порядке: нежный упрек, растерянность и «ах, боже мой, на какой же риск я иду ради Ромена!». Знаешь, что, оказывается, произошло? Она отправилась в «Брусс-Палас», в Турции, и метрдотель вручил ей коммунистическую эмблему, которую потерял французский дипломат, находящийся на посту в Софии. Он ей вручил это для того, чтобы дать делу ход. Тогда Моник, которая меня все ж таки знала, черт возьми, задалась вопросом, уж не являюсь ли я секретным агентом мирового коммунизма, таким Филби в буквальном смысле слова. Она дождалась, когда окажется в Париже, и пришла ко мне в кабинет на набережную Орсе, такая трагическая героиня, выложила мне на стол театральным жестом, в котором было все, серп и молот моего Мортимера и умоляюще взглянула на меня, как бы призывая все ей сказать, во всем сознаться. Если живешь в одной из стран, где за тобой постоянно следят, в атмосфере постоянного недоверия, — я знал там одного швейцарского дипломата, который носил ключ от сейфа в кожаном мешочке под мошонкой, — становишься немного параноиком. Сегодня это куда менее серьезно, потому что у тебя нет сомнений, *ты знаешь*, микрофоны стали частью жизни, вошли в повседневный обиход. Кстати, учитывая постоянные вторжения в частную жизнь, больше нет причин для того, чтобы не совокупляться на публике, как собаки, нас ведь все равно могут сфотографировать, подслушать, записать, и если министру внутренних дел захочется узнать, как ведет себя в момент оргазма господин Марше^[50], то ему стоит лишь нажать на кнопку. Я помню, как ушел с одной вечеринки в Беверли-Хиллз, когда один молодой режиссер включил нам крики и воркование

трех кинозвезд, записанные на магнитофон. Уничтожение приватности может вести лишь к скотству, потому что уже и вправду нет причин пытаться что-то скрыть, раз скрыть больше нельзя. Америка, разумеется, в авангарде по части прослушивания телефонов и прочей слежки, но все страны prostituteуют на этот манер. Когда я был поверенным в делах в Ла-Пасе, в Боливии, в 1956 году, я слал во Францию довольно мрачные телеграммы. Тогда это была нищая страна на высоте пяти тысяч метров над уровнем моря, а сейчас это страна Клауса Барби^[51], лионского палача, страна, где в тавернах горланят нацистские песни. Я отсылал по три-четыре телеграммы в неделю, в них я писал о том, что видел. А потом вдруг заметил, что у меня больше нет в городе никаких контактов. Никакой возможности застать кого бы то ни было в местном Министерстве иностранных дел или в других местах. Полный остракизм. А ведь у нас не было никаких политических проблем с Боливией. Следовательно, это личное. Я ничего не понимал. И вот как-то я сидел в гостиной посольства, размышляя над своим провалом. Ибо это был провал: глава миссии, находящийся на плохом счету из-за своих *личных* качеств, это действительно катастрофа. Тут появляется метрдотель и подает мне кофе. У него была физиономия танцора аргентинского танго, и, несмотря на пятнадцать лет работы метрдотелем в дипломатической миссии, он не выучил ни слова по-французски. Так что в его присутствии все говорили посвободнее. Едва до меня это дошло, как я услышал щелчки в соседнем кабинете. Сейф находился не в канцелярии, располагавшейся в другом месте, а в резиденции посольства для пущей безопасности. Гостиную и кабинет разделяла перегородка с застекленной дверью, но щелчки были слышны довольно отчетливо. Это открывал сейф первый секретарь. Я слушаю и считаю щелчки, с паузами — с расстояния в семь метров, через перегородку! Жду еще — и сейф закрывается, что позволяет мне прослушать щелчки и паузы комбинации из трех цифр, которые образуют код. Это был старый сейф с изношенным механизмом, производившим такой грохот, что кто угодно мог подслушать комбинацию из соседнего помещения. Метрдотелю достаточно было всего лишь войти в гостиную и прислушаться. Вот почему я стал *persona non grata*: боливийцы читали мои телеграммы, и поскольку те были, мягко говоря, не очень для них лестными, они затаили на меня смертельную обиду. Они не могли потребовать моего отзыва, чтобы не раскрылся весь фокус. Я провел с метрдотелем интересный сеанс, во время которого он сделал абсолютно сенсационные успехи во французском, вплоть до употребления

imparfait du subjonctif^[52]. Я немедленно телеграфировал об истории с сейфом во Францию. Меня тут же отозвали. Надеюсь, что они с той поры уже сменили сейф, не знаю.

Ф. Б. *Итак, в Софии ты делаешь первые шаги в «дипломатии»... А это слово все еще окружено некой аурой привилегированности, принадлежности к особому кругу, почти таинственности...*

Р. Г. Это идет из прошлого, пережиток XVIII и XIX веков, он имеет мало общего с настоящим. Посол, даже выдающийся, сегодня ведет себя как марионетка, которую дергают за ниточки из Парижа. Разумеется, один и тот же балет может исполняться дрянными танцовщиками и очень умелыми, хотя Нижинские — большая редкость. Сегодня дипломатия больше напоминает медсестру. Дипломаты бережно ухаживают, успокаивают, обещают, что будет лучше, что это излечимо. Они измеряют пульс, давление, температуру, производят хорошее впечатление, составляют отчеты, внушают больным доверие, сигнализируют о функциональной недостаточности, критическом состоянии и даже порой замечают смерть больного. Они делают это отлично. В нынешнем мире социоэкономические, этнические, географические массы реальности набрали такую силу, что «большие начальники», способные на нечто серьезное, а не только на то, чтобы ставить диагноз и следить за все ускоряющимся эволюционным процессом, практически не обладают инициативой. Мы замыкаем цивилизацию, где-то есть дитя-цивилизация, которое уже бьет ножкой в утробе, но еще не готово выйти из нее, и нам о нем еще ничего не известно. Смутный период вызревания... Известно, что у женщин он длится девять месяцев, но у цивилизаций... Если ты возьмешь нынешнюю французскую дипломатию, то увидишь человека, который спешит изо всех сил, — Жобер, — но который абсолютно не в состоянии воздействовать на ситуацию, он силится следить за удобством французских пассажиров во время пути, направление которого полностью от него ускользает... Что действительно потрясает в «ускорении истории», которое мы переживаем, так это то, что умопомрачительная скорость, с которой мир стремится к будущему, сопровождается отсутствием контроля за направлением движения. В этом путешествии вслепую удалось полностью скрыть основной вопрос — о пункте назначения — и заменить его вопросом о материальном удобстве внутри транспортного средства... Лично мне направление очень не нравится. Если говорить откровенно и резко, если говорить на том языке, каким он был изначально и в эпоху крепкого здоровья, я думаю, что мы держим курс на дерьмо, но вот только еще не

знаю, в какой компании...

Ф. Б. *Понятие дипломатии по традиции всегда связывается с неким извилистым путем, с хитроумно разработанными международными комбинациями, а порой даже с двуличием и ложью...*

Р. Г. Самая типичная характеристика хитреца: если только он чего-то не знает, то сразу демонстрирует, что уж он-то в курсе дела и осведомлен как никто. У него настоящий культ «оккультных сил»: он обожает их ненавидеть и всюду замечает их проявления, а поскольку у него очень логичный ум, поскольку он любит объяснять, то эта палочка-выручалочка — идея «всемирного заговора» — дает ему ощущение, полностью его удовлетворяющее, что у него на все есть ответ. Иезуиты, рука Москвы, масоны, евреи, ЦРУ, хитроумные и, разумеется, «макиавеллические» дипломаты — все это всегда входило в набор интеллектуальных удобств Великого Умника. Именно так в 1940 году военные неудачи он объяснял происками немецких шпионов, сброшенных на парашютах и переодетых в кюре. Я слышал от людей, умеющих читать и писать, что французские дипломаты напрямую получают деньги от крупных коммерческих банков и имеют комиссионные со всех заключенных контрактов... Как-то на днях я пил кофе в одном бистро, хозяин которого на дух не выносит арабов. Он держал передо мной речь, восхитительную по своей логике. Он объяснял, что Помпиду предатель, что он проданся арабам и таким образом предал евреев, ведь всем известно, объяснял он мне с потрясающе хитрым видом, что именно Ротшильды сделали Помпиду президентом Франции, и, в конце концов, заключал он, чем там занимаются эти Ротшильды, чем там занимаются эти евреи, как они позволяют Помпиду вытворять такое? И это было не сумасшествие, а крайнее выражение илиотской осведомленности, которая «знает», которая «посвящена» и которую «не проведешь». Так что я во всех кругах наслушался таких глупостей о набережной Орсе и дипломатах вообще, что зачастую не видел иного выхода, кроме как поощрять этих людей идти дальше в их бредовых толкованиях, мне нравится упиваться блеском, который выказывает порой человеческая натура, если ее почешешь в нужном месте. Пример: я повстречался с одним университетским преподавателем, филологом, который спросил у меня о тайне моего рождения, потому что для него было ясно, что раз уж Министерство иностранных дел приняло меня в свои ряды, то я не мог быть побочным сыном русских степей, а, наверное, происходил из благородного рода, как генерал Вейган^[53], понимаешь, без этого меня бы никогда не приняли в эксклюзивный французский клуб,

полностью находящийся в руках аристократии... За словом «дипломат» не скрывается ничего более таинственного, чем переговорщик, человек для связи на более или менее высоком уровне, человек для «связей с общественностью» и адвокат. Что касается двуличия и лжи, то это особенно смешно. Это профессия, в которой невозможно лгать, потому что большей частью речь идет о передаче точных указаний. Но очевидно, что если ты хороший или великий артист, как Эрве Альфан, например, или как Добрынин, русский посол в Вашингтоне, ты можешь придать большую убедительную силу отсутствующим у тебя убеждениям, когда приходится излагать некое политическое соображение, которое самому тебе не кажется убедительным. Единственная ложь, которую ты можешь себе позволить — да и то вряд ли, — это сказать не всю правду, а как раз столько правды, чтобы твой собеседник сделал из этого нужные тебе выводы, что, впрочем, он будет делать очень редко. Личный фактор у выдающихся послов, разумеется, играет роль, но по-настоящему «успешные» послы — это те, кому повезло занимать свой пост, когда политика — предположим — Соединенных Штатов и Франции движется в одном направлении. Впрочем, «хороший» посол — это тот, кто преуспел в глазах собственного правительства. И еще раз повторю, именно массы исторических и географических реалий все больше и больше определяют успех политики и тех, кто ее представляет. Если ты возьмешь, к примеру, Киссинджера, когда он «высвобождает» Соединенные Штаты из Вьетнама, «заключает» соглашение с Китаем, «открывает» Суэцкий канал, то ты сразу заметишь, что его «успех» состоит не в том, чтобы создавать новые исторические ситуации, а в том, чтобы оказаться на том направлении, в котором движется неизбежное... Для французской дипломатии, которая представляет страну, чей «реальный вес» невероятно изменился за тридцать пять лет, ситуация особенно болезненная и сложная... За пятнадцать лет, проведенных на дипломатической службе, я неоднократно имел возможность убедиться, каким тяжким испытанием является фрустрация и ощущение бессилия, пассивная роль «наблюдателя»... Один раз я провожал на вокзал коллегу, который покидал Софию, чтобы занять пост второго советника в Москве. Он очень радовался этому повышению. Три дня спустя после приезда в Москву он повесился в окне своей гостиной, что требовало действительно большой решимости, так как его ноги касались пола. Жизнь под стеклянным колпаком приводит порой к серьезным психическим сбоям. Некий начальник кадровой службы объяснял мне, насколько внимательным он должен быть, когда тот или иной агент

начинает вдруг просить назначение на необычный и совершенно не подходящий для себя пост. Эти требования часто вызваны депрессивными психическими заболеваниями, почти незаметными для посторонних глаз. Именно так через несколько дней после своего прибытия в Уругвай один блестящий посол вскрыл себе вены в ванной. А после войны представитель Франции в Аддис-Абебе, который послом не был и впоследствии умер от алкоголизма, на официальном приеме показал императору Хайле Селассие зад. Порой чрезвычайно трудно подолгу так жить, постоянно дистанцируясь от всего, придерживаясь пассивной нейтральной позиции, — внезапно что-то внутри не выдерживает. Когда я смотрю на товарищей, принадлежащих к моему поколению, тех, кто блестяще преуспел на этом поприще — а это Бомарше, посол в Лондоне, Вимон, посол в Москве, Лабуле в Токио, Сованьярг в Бонне, Суту и другие, — то вижу, что помимо, разумеется, ума и рассудительности главную роль тут сыграл характер. Проблема возникает на уровне характера, так как, в конце концов, сколь долго ты можешь изо дня в день проявлять гибкость, приспособляемость, а также согласие в том, что касается инструкций, которые ты получаешь, мнений, которые ты обязан выражать, отношений, которые ты обязан поддерживать с людьми, порой внушающими тебе отвращение, в странах, где ты находишься, — и в то же время сохранить нетронутым свой характер, свой центр тяжести, прочные отношения с самим собой, не дать себя обезличить? Я думаю, что самая серьезная угроза после двадцати лет службы — это потеря личности. В тридцать лет ты блестящий первый секретарь или второй советник, живой, преисполненный мечтами о будущем, яркая «индивидуальность», а ближе к пятидесяти ты подчас видишь перед собой марионетку, идеально двигающуюся, прекрасно одетую, вежливую, улыбающуюся, но абсолютно пустую внутри, которая вспоминает о былых раутах... Это довольно жестоко. Вот почему я с большим восхищением отношусь к некоторым из своих товарищей, тем, например, которых я упомянул выше. Они и не слишком гнулись, и не сломались. Разумеется, я не говорю о случаях простого и чистого безумия, которое существует всюду. Я помню одного советника, которого обнаружили в ванной комнате плавающим на животе — это был лысый толстяк, — в зад у него торчала зажженная сигара: он принимал себя за теплоход «Нормандия». Случаи безумия особенно трагичны во всех профессиях, но когда речь идет о дипломате за рубежом, когда в некоторых странах необходимо любой ценой скрыть это и отправить домой бредящего человека так, чтобы никто ничего не заподозрил... Вот

так.

Ф. Б. *Значит, в феврале 1948 года ты возвращаешься в Париж в Управление по делам Европы.*

Р. Г. Я поселяюсь в комнате, которую мне сдает в своей квартире на улице Фобур-Сент-Оноре старый маркиз де Сен-Пьер, отец Мишеля де Сен-Пьера, — тот тогда делал первые шаги на литературном поприще. Квартира была большая, в стиле провинциального замка. Старик Сен-Пьер показывает мне все как хозяин. Мы тогда только-только вышли из полосы крупных забастовок, существовала «коммунистическая угроза», Жюль Мок создавал республиканские роты безопасности, многие «готовились»... Старый маркиз открывает окно, поднимает указательный палец, прищуривает глаз и шепчет мне на ухо: «Сбоку у вас посольство Соединенных Штатов и посольство Великобритании, а позади, как раз позади, месье... — тут просто ликующий шепот, — а позади площадь Бово, господин Жюль Мок, Министерство внутренних дел... Это чтобы вы знали, месье, что в случае беспорядков вам здесь будет ничуть не хуже, чем в других местах!» Я тут же вручил задаток, это было прекрасно. Моего лба только что коснулось аристократическое дуновение французской революции. Я с трудом сводил концы с концами. Оклады у нас были нищенские, Гастон Галлимар не платил аванса. Он опасался, он еще не знал, принесу ли я деньги, стану ли я рентабельным. Затем я устроился в гостиничном номере на улице Сен-Пер, где и написал «Большую вешалку», восседая на биде в ванной комнате. В Управлении по делам Европы моим начальником был зять Поля Клоделя^[54] — Жак-Камиль Пари, восхитительный тип, который впоследствии погиб под колесами грузовика. Я отдавал ему свои служебные записки, и он их относил часто совсем тепленькими в кабинет министра.

Ф. Б. *У тебя есть ощущение, что ты сыграл какую-то роль в Управлении по делам Европы?*

Р. Г. Ты что, смеешься? Никакой. Во-первых, я был слишком мелкой сошкой, а во-вторых, никто в наши дни еще не видел, чтобы внешнюю политику делали дипломаты. Твои «размышления» играют роль, только если они идут в русле политики настоящего момента. Когда ты сочиняешь речь министру, ты отталкиваешься от его идей, а не от своих. Если у тебя есть оригинальные мысли, в твоём деле запишут: «Очень самобытный характер». На тебя навесят ярлык как на неудобного сотрудника: «Если хотите отстаивать свои идеи, занимайтесь политикой». Но было бы занятно разыскать эти бумаги. С Фабром и Майяром — ныне послом в ЮНЕСКО — я сделал первое из когда-либо сформулированных предложений о создании

сообщества угля и стали^[55]. И еще я разродился самой первой служебной запиской — *mea culpa*^[56] — о создании «Европы». Она осталась незамеченной. В период блокады Берлина я видел, как приходили депеши, призывавшие к капитуляции и эвакуации из Берлина, чтобы избежать войны с СССР... и чтобы лучше расчленив Германию. Это было настолько абсурдно, что я подал в отставку — это тоже, наверное, еще хранится в моем досье, — и именно Жак-Камиль Пари заставил меня передумать. Я не стал бы говорить здесь о том, какими громкими именами были подписаны эти бредовые пораженческие опусы, терпеть не могу пригвозждать кого-то к позорному столбу. Попадались и люди с характером. Среди них Пьер де Лесс, который впоследствии подал в отставку с поста посла в Тунисе, когда Ги Молле^[57] и Робер Лакост оказались виновными в первом в истории угоне самолета, похитив алжирского лидера Бен Беллу^[58]. Они заставили его самолет DC-3 приземлиться в Алжире. Я думаю, не следует забывать, что именно тогдашнее французское правительство и господа Ги Молле и Робер Лакост, французские социалистические лидеры, открыли таким образом путь воздушному пиратству. Робер Шуман был в ту пору министром, Клапье у него директором кабинета, и они еще ни разу не обмолвились о том, чтобы «построить Европу». Я их бомбардировал служебными записками, получавшими одобрение Жак-Камиля Пари, в которых всячески изощрялся, доказывая, что эвакуировать Берлин, дабы убажить Сталина, колоссальная глупость... что они конечно же знали. Меня премиленько назначили в Берн, чтобы я успокоился, а спокойнее Берна места не найти. Занятно, что с французской стороны все это было сплошной теорией, решали американцы...

Ф. Б. *Что тебя больше всего поразило, когда ты обратился к политическим делам?*

Р. Г. Что никто на самом деле не думает о будущем. Ни разу не было ни одного «сценария» будущего. Лишь в декабре 1973 года Жобер создал в Министерстве иностранных дел отдел долгосрочного прогнозирования, включающий главным образом технический персонал... Представляешь? В 1973-м... После нефтяного кризиса. Но думаю, это не так уж важно, судя по тому, куда идет мир... Вся эта политика, которая состоит в том, чтобы вопрошать, как превратить Францию и Европу в Америку, чтобы не стать американскими, — это все интересно только Красной Шапочке... Если Франция интересуется соусами, под которыми ей предлагается быть съеденной... ну что ж! значит, она далековато заходит в своей любви к хорошей кухне, но что, по-твоему, я могу тут поделывать? В любом случае не думаю, что решать будут люди,

стоящие у власти сегодня, или те, что окажутся у власти завтра утром. В данный момент нет ни одной политической речи, в которой не ощущалась бы растерянность и лукавство безруких. Возможно, Франция вновь вспомнит о своих руках, вновь поймет их цивилизационный смысл и применение...

Ф. Б. *Берегись! Кончится тем, что руки станут для тебя предметом роскоши...*

Р. Г. Так всегда говорят, когда свои руки становятся культями. Я не верю в вечные протезы. Если молодежь так много кричит об охране окружающей среды, так это не для того, чтобы позволять бесконечно себя дурачить идеологическими вибраторами типа «независимая Европа — третий мир, чтобы избежать американского господства» и чтобы «Франция оставалась Францией». Это полная чушь, эквивалент славного старого «универсализма» в стиле ООН, этакий пропагандистский фильм по «обработке мозгов» в системе всемирного телевидения, который не сделает сборов. Идеи нужно взять в руки, потрогать, пощупать, чтобы убедиться, живое это, теплое или бутафория. Чтобы не ставить телегу впереди лошади, я, прежде чем познакомиться с идеями, всегда смотрю на руки. Гений Монтеня, Паскаля не в абстракциях, а в здравом смысле...

Ф. Б. *Я ошибаюсь или это правда, что ты впервые приехал во Францию в возрасте тринадцати лет?*

Р. Г. А ведь это именно то, что я подразумеваю под «французскими руками»: в моем случае это руки преподавателя французского в лицее в Ницце — Луи Ориоля. Он вылепил меня своими руками. Инвалид войны четырнадцатого года, парализованный, которого надо было поднимать с кресла, чтобы водружать на кафедру. Никогда не забуду. Никогда. Людей делают не спермой, людей создают руками.

Ф. Б. *Ты не думаешь, что в твоей приверженности «некоему образу Франции» есть нечто отличное от отношений с цивилизацией, здесь ощущается воздействие эмоционального эха войны, братского духа эскадрильи, людей, проживших четыре года в самой тесном единении...*

Р. Г. Я человек из плоти и крови, и я не отстраняюсь от какого бы то ни было страдания и какой бы то ни было любви, чтобы хладнокровно поразмышлять. Послушай, в одной из радиопередач «Маска и перо» некий доброжелатель сказал мне строго: «Нужно отрешиться от себя, когда делаешь политический выбор». Очень смешно. Потому что у этого парня, понимаешь, нет подсознания. Он полностью в курсе того, что в нем происходит. И когда он делает политический выбор, он сначала сдает свое подсознание на вешалку. Это правда, я испытываю трудности,

когда надо сделать политический выбор, но причина этого, по-моему, очевидна. Мы живем в конце цивилизации. И тут что совместная программа левых сил, что программа ЮДР — это отказ от перемен, едва отличающиеся друг от друга способы обустроить кресла и кушетки в экспрессе, но без малейшей попытки перенести рельсы, изменить направление. Это всегда одна и та же перестановка мебели. В любой программе есть исходный вопрос — это человек, люди. Программы разбиваются о головы людей и разбивают голову людям...

Ф. Б. *Но есть все же политики, которых ты уважаешь?*

Р. Г. Лично — да. Мне очень нравится Савари^[59], я бы голосовал за него, но он поражен интеллектуальной честностью, в нынешнем контексте у него нет никаких шансов.

Ф. Б. *Но... он, кажется, кавалер ордена Освобождения?*

Р. Г. Да, ну и что?? Это недостаток?

Ф. Б. *Я подчеркиваю совпадение... или верность, вот и все. Миттеран?*

Р. Г. Он для меня — литературное открытие. Я иногда читаю передовицы, которые он публикует в своей газете, они замечательно сработаны. Продолжал бы лучше как писатель.

Ф. Б. *А в плане политической деятельности?*

Р. Г. Честно тебе признаюсь, он привел меня в ужас своей эмблемой. На последних выборах иду в свой избирательный участок — я специально вернулся с Майорки, где у меня дом, — и что я вижу на стенах? Миттерановский плакат, ну, ты знаешь, роза в кулаке. Остолбенел и остановился. Я стоял там, не веря своим глазам: эта рука, сжимающая стебель розы, нисколько не заботясь о шипах, впившихся в ладонь... Там, в ладони, наверняка кровящи черт-те сколько... Это, бесспорно, самый мазо-политический плакат, который я когда-либо видел... В итоге я вообще не стал голосовать.

Ф. Б. *Вечно эти руки...*

Р. Г. Да. Вечно и прежде всего.

Ф. Б. *Мендес-Франс?*^[60]

Р. Г. Я питаю большое уважение к его интеллектуальной честности и восхищаюсь его верностью самому себе. Но это сочетается в нем с излишней верой в диаграммы и абстрактные построения. У меня был такой случай... В конце войны Мендес попал в мою эскадрилью. Он был непревзойденным «в классе», в навигационных упражнениях на бумаге. Но однажды он оказался в моем самолете во время тренировочного полета. Несмотря на все свои расчеты, он заблудился, не мог сказать, где мы, и пришел с просьбой разрешить ему посмотреть мои навигационные расчеты. Я их не сделал: я знал «треугольник»

наизусть, я был командиром боевой машины, стояла прекрасная погода, я летел по наземным ориентирам. Что я ему и сказал. Тут он прямо взбесился, кричал, что я-де отказываюсь показать ему свои расчеты... по-моему, он принял меня за какого-то «анти» и устроил небольшую психологическую бурю. Он мне даже заявил — я цитирую: «Я вам это попомню». Впрочем, когда он мог бы это сделать? Годы спустя, прибыв в Нью-Йорк в качестве премьер-министра, в ООН, где я был мелкой сошкой, он был со мной крайне любезен. Короче говоря, я не мешаю ему бушевать, показываю на местность, над которой мы пролетаем, говорю, что это Букингем и что ему нужно исходить из этого. Он смотрит в свои расчеты и говорит: «Это Одихем». Я ему говорю: «Букингем», показывая на две знакомые зеленые цистерны на земле. Он мне сует в нос свои бумаги и повторяет: «Одихем». Я запрашиваю пеленг у земли и показываю ему местоположение, опираясь на материальное доказательство: «Вы же видите, что это Букингем». Мендес смотрит еще раз в свои расчеты, улыбается, повторяет: «Одихем»... и уходит... Что ж, он человек не без юмора, но с излишней верой в абстрактные расчеты...

Ф. Б. Шабан-Дельмас?^[61]

Р. Г. Очень симпатичный. Помнишь нападки на него из-за налоговой бумажки, которую он заполнил в соответствии с законом, что было большой ошибкой? Против него развернули кампанию ненависти, и ему пришлось уйти из власти, потому что он не жульничал и, следовательно, был нерепрезентативен...

Ф. Б. *Но не отказываешься же ты совсем от политического выбора?*

Р. Г. Политическая истина состоит из встреч с истинной исторической, это линия, которая проходит зигзагами через все партии, и я стараюсь следовать этой линии и идти за теми партиями, которые она в данный момент пересекает. Но есть и другое. Единственная священная обязанность, которую я возлагаю на искусство или литературу, это поиски *истинных* ценностей. Я считаю, что нет ничего более важного для писателя. Между тем только непочтительное отношение, ирония, насмешка, даже провокация могут проверить ценности, очистить их от грязи и выделить те, которые заслуживают того, чтобы их уважать. Подобная позиция — и это, возможно, самое восхитительное, что есть в истории литературы, — для меня несовместима ни с какой полноправной политической ангажированностью. Истинным ценностям нечего бояться испытаний сарказмом и пародией, вызовом и язвительностью, и любой политический деятель, значимый и подлинный, выходит невредимым из этих испытаний. Истинной морали не страшна порнография — так же как и

политическим деятелям, не являющимся фальшивомонетчиками, незачем бояться «Шарли Эбдо», «Канар Аншене»^[62], Домье^[63] или Жана Янна^[64]. Совсем наоборот: если они настоящие, то испытание кислотой всегда идет им на пользу. Достоинство не накладывает запрет на непочтительность: напротив, оно нуждается в этой кислоте, чтобы показать свою подлинность.

Ф. Б. Ты ведь присутствовал на съезде ЮДР в Ницце в 1963-м и выступал на нем?

Р. Г. Да, и сыграл там роль кислоты. Это был период, когда голлистский антиамериканизм достиг апогея. Я выступал первым и объявил название своего доклада: «Любовь к Америке». Наступила мертвая, ледяная тишина, от которой у меня должна была дрожь пройти по спине, будь я склонен к избитым фразам. Я стал с симпатией говорить об Америке и о Кеннеди, с которым был немного знаком, а поскольку моя аудитория становилась все холоднее и холоднее, превращаясь в лед, то мои похвалы делались все горячее. Когда я закончил, одна двенадцатилетняя девочка в конце зала попыталась захлопать, но ее папочка тут же ее одернул. В ту же самую секунду Жак Бомель, бывший тогда генеральным секретарем ЮДР, — ну, знаешь, тот, кого Помпиду всегда называл Красавчиком Браммелом^[65], — вылетает, как пушечное ядро, на сцену, выхватывает у меня микрофон и заявляет: «Считаю необходимым уточнить, что Ромен Гари высказал сугубо личное мнение». И тут же ретируется, не сказав больше ни слова. Между тем, дружище, оказалось, что пока я восхвалял Кеннеди, в того стреляли в Далласе, и эта новость достигла отеля «Рюль», где проходило заседание, ровно через десять минут после моего выступления. И тогда произошло нечто действительно комичное и даже довольно мерзкое. Меня окружила толпа членов ЮДР, преисполненных симпатии, в глазах — слезы, и эти дамы и господа давай дефилировать передо мной и пожимать мне руку, бормоча: «Вы спасли нашу честь». На банкете меня усадили на почетное место. Одна выдающаяся личность из верхов подошла и заключила меня в объятия перед телекамерами. Если у тебя есть хоть малейшие сомнения в моих словах, загляни в «Канар Аншене» за тот период. Там про это написано.

Ф. Б. В 1967 году ты согласился войти в кабинет Торса, министра информации.

Р. Г. Любой может ошибиться, говорил ежик, слезая со щетки. Мне хотелось сломать хребет Комиссии по цензуре, которая тогда свирепствовала самым бессовестным образом... Я выдвинул в качестве своего условия разрешение выхода в прокат «Монахини», фильма по Дидро, который предыдущий министр

запретил. Горс получил согласие де Голля. Я был «советником без жалованья», свободным. Я снимаю «Птицы прилетают умирать в Перу», и тут же Комиссия по цензуре мой фильм запрещает. У меня на столе лежал отчет об их совещании: с перевесом в один голос — это был голос психиатра... А Комиссия мотивировала запрет тем, что поскольку мой фильм трактует женскую фригидность в трагическом плане, вплоть до попытки самоубийства, и учитывая, что шесть из десяти женских неврозов вызваны фригидностью, есть угроза, что мой фильм подтолкнет к самоубийству женщин, страдающих фригидностью... Горс дает мне разрешение на прокат. Тут я получаю от Мальро и Горса согласие на совместное с Центром кинематографии и *ORTF*^[66] производство фильмов. Совещание в верхах с «директорами»: Аллод — от Центра, Жак Дюпон — от *ORTF*. Оба пытаются доказать нам, что проект неосуществим. После совещания, в дверях, Горс обнимает меня и говорит: «Ах, мой дорогой Ромен, это был прекрасный сон». Министр склонялся перед чиновниками. Я ушел.

Ф. Б. *Другие воспоминания об этом времени?*

Р. Г. Никаких. Полная амнезия. Ах да... телефонный звонок де Голля. Это было в момент забастовки «Родиасета». По телевизору показывают интервью, которое некий журналист берет у рабочего. Звонок де Голля, он в бешенстве: «Что это еще за манера? По какому праву журналист *тикает* этому рабочему? Они что, вместе в школе учились?» И тут же повесил трубку...

Ф. Б. Ну а твои отношения с де Голлем? Ты когда-нибудь подвергал его проверке цронией? Ты ведь не станешь отрицать, что боготворил его?

Р. Г. Стану. Не стану. Я не боготворю, я уважаю. И, с твоего позволения, я процитирую себя самого. Нет нужды напоминать тебе, как важно для него было знать, какое место он занимает в истории. Между тем в «Тюльпане», переизданном в семидесятом, — ты знаешь, речь идет о сказке, действие которой происходит в будущем, — ты найдешь следующее примечание: «Соппротивление (1940–1945) — противодействие немецкого народа захватчику в момент, когда Германию оккупировали французские армии под командованием одного племенного вождя по имени Шарль де Голль. Последний был в конце концов побежден в Сталинграде китайцами и покончил с собой вместе со своей любовницей Евой Браун на развалинах Парижа». Тут де Голль написал мне письмо, в котором интересовался, правда ли, что это я написал черную серию «Горилл» под псевдонимом Доминик Поншардье и собираюсь ли я и дальше всю жизнь колебаться между идеализмом и цинизмом. Старик очень хорошо воспринимал сатиру. Я вспоминаю, как на обеде в Елисейском дворце жена одного министра, желая, чтобы это услышал Король, громко возмущалась тем, как его пародировал один известный в ту пору шансонье. Де Голль ей заметил: «Но, мадам, он отлично это делает, впрочем, и я его тоже порой изображаю в свои неудачные моменты». Великий Шарль был вознесен на такой пьедестал, настолько боготворим, пересмотрен, исправлен, что даже жалко. И я меня страшно огорчает то, как толкуют сегодня его мысли и идеи. Я не выношу реликвии. Думаю, что любые реликвии, чьи бы они ни были, Маркса, Ленина, Фрейда, Шарля де Голля или Мао, всегда действуют пагубно. Несколько лет назад я купался в море в Монте-Карло, а сбоку от меня на одном из двух молов у входа в порт находилась группа местных мальчишек лет пятнадцати-семнадцати. Ты знаешь, какая грязь в Средиземном море, и вода была довольно мерзкой. Тогда в порту стояла большая яхта Онассиса «Кристина». Один мальчуган ныряет и всплывает посреди прекрасного собрания экскрементов отличной лепки. Он вопит, закрывает рот, ругается, возмущается. И один из его приятелей замечает ему голосом, преисполненным уважения: «Да ты только подумай, может, это от Онассиса!» Именно такое впечатление производят на меня любители и поклонники реликвий великих людей. Впрочем, что касается де Голля, то самый верный способ предать его наследие, исключительно французское, — это сделать из него политический продукт массового потребления. Когда я однажды сказал,

выступая по телевизору, что мои отношения с де Голлем скорее замешены на метафизике, чем на идеологии, я заслужил усмешки прессы — «вертикальную улыбку»^[67] дураков, которой впервые дал определение американский романист Ричард Кондон. То, что я находил притягательным в де Голле и что меня с ним связывало, это понимание того, что бессмертно, а что нет, старик верил в непреходящий характер некоторых гуманистических ценностей, которые сегодня объявлены мертвыми и которые мир рано или поздно заново для себя откроет, как открыла античное понятие гражданина Французская революция и как Возрождение вновь открыло Античность.

Ф. Б. Почему, по-твоему, так мало писателей и людей искусства примкнуло к де Голлю, когда он вернулся к власти в 1958-м?

Р. Г. Потому что в писателях и людях искусства заложен инстинкт неуважения и антипатии к руководителям, начальникам, хозяевам, великим государственным деятелям, людям, ниспосланным Провидением, спасителям отечества и всем остальным любителям пускать пыль в глаза. Если бы писатели и люди искусства все были за существующую власть, то впору было бы совсем отчаяться. И в любом случае в сфере идеологий «величие» — ну, в общем, когда произносится это слово, — сразу же приходит на ум могущество, вспоминается Гитлер и Сталин. Сегодня, из-за изобилия дерьма, царит невероятная путаница. У мира, похоже, больше нет выбора, разве что между обработкой мозгов или их промывкой. Прибавь к этому индивидуалистический характер, из-за которого француз, когда речь заходит о «великом человеке» в политике, чувствует лично себя приниженным, как если бы у него что-то украли. Я знаю одного очень благовоспитанного господина, который ни разу за всю жизнь не смог проголосовать, его приводила в ярость сама мысль о том, чтобы отдать свой голос кому-то другому. Это гораздо чаще встречается, чем кажется. Вспомни историю двадцатого века: несмотря на все отданные ему голоса, де Голль расплачивался и за кайзера Вильгельма, и за Гитлера, и за Муссолини, и за Сталина, и за Петена.

Ф. Б. Ты мне говорил в 1967 году, что де Голль поступил правильно, изменив французскую политику в отношении арабов в момент шестидневной войны.

Р. Г. Я тебе говорил не это. Я прекрасно помню: я написал тебе, что арабская политика Франции не выдерживает критики, потому что ее нельзя назвать иначе как политикой презрения. И добавил, что эмбарго на проданные израильтянам «миражи» было несправедливостью, внезапной переменной настроения школьного

учителя, который бьет ученика линейкой по рукам. Де Голль правильно поступил, положив конец политике презрения в отношении арабов, потому что нельзя было без конца лгать о французской армии — Фуко^[68], Лиоте^[69] и все эти прекрасные истории, которые мы сами себе про себя же и понарасказывали. Впрочем, в де Голле совершенно явно проступало сходство с «великим белым вождем». Думаю, он бы охотно сыграл как защитника Израиля, так и защитника арабов, но этого не случилось, так как одна из сторон не выполнила того, чего он от нее ожидал. Думаю также, что он бы охотно использовал Израиль, чтобы завоевать популярность у американских евреев и обзавестись таким образом хорошим рычажком в Соединенных Штатах. Все могло бы решиться в легендарном и библейском духе между ним и Бен Гурионом, но когда Израиль не послушался великого белого вождя, доброго, справедливого и великодушного, старик не на шутку рассердился, как после генеральского путча в Алжире, когда ему отказались отдать Салана^[70]. Его пронзительный голос был слышен далеко за стенами...

Ф. Б. *Он не помышлял о нефти во время этой резкой смены альянсов?*

Р. Г. Не думаю. Я думаю, что когда де Голль приходил в ярость, тут выступала на первый план своего рода *bitchery*^[71], почти женский гнев, замешенный на раздражительности, злопамятстве и обиде, и вся сила его рассудительности, как только она к нему возвращалась, организовывалась тогда вокруг его обиды. Это был человек, который помимо всего прочего обладал и талантом злопамятства. Я ни на секунду не поверю, что де Голль бросил Израиль ради нефти или ради того, чтобы продавать оружие арабам. Был другой способ сблизиться с арабами, и сегодня, между прочим, совершенно очевидно, что Израиля нам скорее не хватает в наших отношениях с арабами: нам больше нечего сбросить. Страсти ослепляют умы. Говорят, например, что СССР хочет, чтобы Израиля не было. Абсурд! Если бы Израиль исчез, СССР утратил бы свои позиции на Ближнем Востоке, потому что стал бы абсолютно не нужен арабам, СССР смог проникнуть на Ближний Восток лишь благодаря Израилю. Повторюсь: о чем идет речь, когда говорят об «арабской политике Франции»? Об отсутствии выбора...

Ф. Б. *Что такое для тебя голлизм?*

Р. Г. Воспоминание. Был момент в истории, встреча, какие порой бывают в истории всех стран, дуновение, которое коснулось французского края. Теперь все кончено, и это очень хорошо. Будут другие моменты, другие люди, другие встречи, другие дуновения. Это не в последний раз. Это было что-то живое

и не может быть сохранено, забальзамировано, это не было дано раз и навсегда. Он вовремя пришел и вовремя ушел. Я счастлив, что такое было в моей жизни. Сегодня восемьдесят процентов молодых французов, которым меньше тридцати, не знают, что значит кавалер ордена Освобождения, и это тоже очень хорошо. Если де Голль чего-то и требует, так это признания его оригинальности, а это конец ковчега с культовыми реликвиями. Стоит извлечь урок из того, как он отказался от организации преемственности своей власти, разве нет? Он не хотел, чтобы его продолжали. Он всегда говорил об обновлении, а это вовсе не означает, что нужно пятиться в будущее, не сводя глаз с иконы. В СССР забальзамировали Ленина, выставили его под стеклянным колпаком, и посмотри, что это дало: чучело, мумию, этакую восковую фигуру, сделанную раз и навсегда, исключаящую любые перемены...

Ф. Б. *Мне помнится, был момент, когда де Голль советовал тебе заняться политикой?*

Р. Г. Дважды. С иронией и пренебрежением, как бы говоря тем самым, что большего я не стою. Ну, он мне не сказал, чтобы я отправлялся к шлюхам, он так не разговаривал, но в его совете была масса пренебрежения. В первый раз это было в начале того длительного периода, когда он был не у власти, до моего отъезда в Берн, и потом на улице Сольферино, в момент подъема РПФ [72], когда вокруг него били копытами от нетерпения будущие молодые маршалы. И всякий раз он делал это с ироничной улыбкой типа «и вы тоже!». Перед тем как оставить Управление по делам Европы и отправиться в Швейцарию, я чуть было вообще не распрощался с МИДом и не занялся новым литературно-сатирическим еженедельником, который так никогда и не вышел, к счастью, и я направился на улицу Лаперуза повидаться с де Голлем, не столько для того, чтобы спросить у него совета, а просто так, постучать по дереву. Не дав мне никакого совета, он в течение четверти часа расспрашивал меня... о Мальро! [73] Мальро его необычайно занимал — мадам де Голль говорила о нем: «Дьявол...»

Ф. Б. *В конце концов ты занял пост в посольстве в Берне и провел там полтора года. Будь осторожен в своих высказываниях, ведь я швейцарец...*

Р. Г. Не беспокойся, у меня не сохранилось об этом никаких воспоминаний... Пробел в памяти длиной в полтора года. Я смутно припоминаю уличные часы с человечками, которые отбивают время или что-то в этом роде. Похоже, я наделал глупостей. Я залез, говорят, в ров с медведями в Беренграбене, быть может, в надежде на то, что наконец-то что-нибудь

произойдет. Не произошло ровным счетом ничего, медведи не шелохнулись, это были бернские медведи. Через два часа подъехали пожарные-спасатели и вытащили меня оттуда. На днях я нашел у себя письмо с бернским штемпелем, датированное 1950 годом, от одной особы, которой я не помню, письмо, где она говорит, что никогда мне не простит — это подчеркнуто трижды — то, что я ей сделал, или же то, чего я не сделал, мне абсолютно неизвестно, о чем идет речь, и я ужасно мучаюсь угрызениями совести, возможно, это было что-то по-настоящему гнусное, то, чего я ей не сделал. И к тому же по-английски. Она написала мне по-английски, и не знаю почему, но от этого я чувствую себя еще более виноватым — из-за слова *gentleman*. Если она прочтет эти строки, пусть соизволит взять на себя труд изложить мне свою историю. Я ничего не помню. Ах да, я обедал с Черчиллем в посольстве, в узком кругу, и он один выпил полбутылки виски до обеда, бутылку шампанского за обедом и треть бутылки коньяку за кофе. Во время войны я влюбился в его дочь Мэри в купе поезда, следовавшего с вокзала Ватерлоо в Кэмберли, мы провели в пути час, но не обменялись ни словом, потому что находились в купе одни, а мне хотелось показать, что у меня хорошие английские манеры. Час выразительного молчания с моей стороны, а малышка неотрывно смотрела в окно, ни разу не взглянув на меня, иначе бы ей было не устоять. Это было очень красиво, очень возвышенно. Вот только на выходе она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «А я было подумала, что вы говорите по-французски». Вот так, прямо в морду. И ушла. Мне было так паршиво, что я даже забыл сойти с поезда. Я был просто уничтожен. Но то, что случилось потом, было еще ужаснее: в 1972 году в посольстве Великобритании Мэри Черчилль, ставшая миссис Сомс, женой посла Великобритании в Париже, приглашает меня на прием. Я был потрясен: час молчания, а она все еще помнит обо мне, тридцать лет спустя. Я ей напомнил о нашей встрече и... нет, ты ни за что не поверишь: она ничего не помнила! Это был полный облом. Так вот, я рассказал Черчиллю, как чуть было не женился на его дочери в 1943-м, он задумался, посмотрел мне в глаза и сказал: «Да, разумеется, с де Голлем так всегда и было!» Это меня добило, я уже просто совсем не врубался. Берн все-таки странно действует на людей. Это, вне всякого сомнения, самое таинственное место в мире, своего рода Атлантида, которую остается найти. Знаешь, одно из тех мест, где не происходит ничего вообще. Кончилось тем, что я отправил Бидо личную телеграмму, суперзашифрованную, первоочередной важности: «Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что с тринадцати часов над Берном двадцать минут шел снег.

Следует отметить, что швейцарская метеослужба не оповестила об этом снегопаде, и я предоставляю Вашему Превосходительству самому сделать выводы, которые напрашиваются». Бидо сделал выводы немедленно. Он сказал Буске, занимавшемуся кадрами: «Отправьте его в психушку». Вот как я был назначен в Организацию Объединенных Наций, в Нью-Йорк, в качестве официального представителя. А до того я получил несколько недель отпуска из-за переутомления — переутомления в Берне! — которые провел в «Отель де Театр» на авеню Монтень, куда наведывались в ту пору самые красивые манекенщицы в мире: Дориан Ли, Ася, Максин де ла Фалез, конечно же Беттина, и среди прочих — Нина де Войт и Сьюзи Паркер. В отеле был крошечный лифт, и когда тебе выпадал шанс ехать на нем с одной из этих богинь, ты возносился в рай. К сожалению, там был знаменитый маркиз де Портаго, позднее погибший на ралли «24 часа в Ле-Мане», у него были машины, громыхавшие как гром небесный, а у меня что, у меня был только лифт. «Отель де Театр» в тот момент был одним из тех мест, что еще хранили следы хемингуэевского «Праздника, который всегда с тобой». Там царили Капа, знаменитый фотограф из «Лайфа», который снимал высадку союзников в Нормандии и которому впоследствии было суждено подорваться на mine в Индокитае, Ирвин Шоу, Питер Виртел^[74], Али Хан^[75], и в номерах происходили чудесные вещи, которые я с трудом осмеливаюсь вообразить из-за нравственных принципов и за неимением опыта. Мне доставались лишь взгляды, когда порой одно из этих неземных созданий ошибалось дверью. Дверь открывалась, девушка возникала, нужно было действовать быстро, причем только носом, вдохнуть в себя несколько райских дуновений, затем дверь вновь закрывалась. Это были видения, «меня посещали видения», в мистическом значении этого слова.

Ф. Б. Ну и ну. Поэзия, да и только...

Р. Г. Я порой возвращаюсь в «Театральный бар» и думаю о том, какой могла бы быть моя жизнь, прояви я тогда инициативу...

Ф. Б. Что ж, после этого приступа самоуничтожения, если ты уже снова в норме, отправимся в Нью-Йорк. Это был твой первый контакт с Америкой.

Р. Г. Вообще-то первый контакт с Америкой невозможен. Наверное, это единственная страна, которая и в самом деле такая, какой ее знают до того, как туда приезжают. Первое, что понимаешь по приезду, это что американское кино самое правдивое в мире. Самый скверный американский фильм всегда достоверен, он всегда верно передает Соединенные Штаты. Это

делает открытие Америки весьма затруднительным. Ты получаешь лишь длинную вереницу подтверждений. Возьми американский фильм, каждый кусочек пленки пропитан достоверностью, каким бы бессодержательным и неправдоподобным ни было все в целом. Америка — это фильм. Это страна, которая и *есть* кино. Это означает нечто большее, чем соотношение реальность — кино. Это означает, что американская реальность столь мощна, что пожирает все, поэтому все художественные способы выражения там специфически американские — кино, театр, живопись, музыка. Отсюда много чего следует. Вот уже тридцать лет Франция живет американской цивилизацией, как и весь западный мир. И разумеется, стопроцентная подлинность такого образа жизни достигается только в Америке. Так что нам тут грозит лишь участь подражателей. Франция ассимилировала все в XVIII и XIX веках, но французская жизнь требует сегодня американской витальности. Сегодня есть молодое французское кино, которое пытается защищаться и почти что возвращается к «почвенничеству» в его нынешнем виде. Иначе говоря, к Паньолу^[76], последнему из писателей, кто имел с Францией, с Провансом те же отношения, что и Америка со своим кино. Мне думается, что Европа сможет вновь обрести свои реалии, свою жизненную силу, лишь вернувшись к своим великим, своим настоящим корням — итальянским городам, французским провинциям, немецким княжествам. Эта наднациональность создается лишь благодаря корням. Иначе Европа всегда будет лишь никудышной Америкой. Мне думается, что никогда прежде в мировой истории не было народной формы выражения, более показательной для цивилизации и находящейся с ней в большем единстве, чем американское кино. Малейшее психологическое, политическое, этическое, этническое волнение американской нации немедленно отражается на пленке. Несмотря на все преграды, возводимые деньгами и кассовым успехом, жизненная сила американца, во всей ее неистовости, во всем ее цинизме или ярости, находит дорогу к фильму. Так что когда я приехал в Нью-Йорк, я испытал лишь ощущение *déjà vu*. Каждый силуэт, каждый перекресток, каждый жизненный эпизод напоминали не использованные при монтаже куски пленки, что валяются на полу. Прежде чем приступить к своим обязанностям, я объехал Соединенные Штаты, пользуясь исключительно местными автобусами. Я стремился, как делаю это всякий раз, когда попадаю в новую страну, перемещаться по ней, не отрываясь от земли. В Мемфисе меня поколотил начальник станции автобусов «Грейхаунд», обозвав меня «мексиканской собакой»; а когда я

зашел в аптеку, чтобы мне наложили повязку, меня размалевали йодом: «На вас это будет не так заметно, как свинцовая примочка...» Там больше узнаешь со смуглым лицом, чем с бледным. В Лос-Анджелесе женщина нотариус — нотариальные конторы там такие же лавочки, как у нас табачные, — заявила мне: «Мне нравится то, что вы делаете на телевидении. Но почему вас всегда заставляют играть предателей?» Не знаю, за кого она меня приняла. В Новом Орлеане я остановился в каком-то жалком мотеле и очень удивился, увидев на стойке у входа фотографию де Голля с его автографом. Расспрашиваю. Хозяином оказался Готье, водитель грузовика из «Свободной Франции», которого я знал в Банги, в Экваториальной Африке. Я прошу передать ему записку. Я должен был уехать на следующий день, а задержался там на десять. Готье, который при нашей первой встрече в Африке весил семьдесят кило, тянул уже на сто двадцать и был одет как вылитый техасец: от сапог до *gallon hat*^[77]. Его мотель был центром профессионального покера в Новом Орлеане, и я со всеми ними перезнакомился: с Тони Джеком, у которого из-под огромного сомбреро выглядывала физиономия взрослого младенца и который вот уже тридцать лет играл по восемнадцать часов в сутки, со Щеголем Мавро, не вылезавшим из своего невероятного костюма в серебряную полоску, из-под которого выступала белая рубашка, словно сотканная из взбитых сливок, — он был очень худой и похож на египетского писца: бритый череп и мертвая улыбка, которую, должно быть, забыли убрать с его губ лет двадцать назад, — я даже имел честь встретиться там с Ником Греком, возможно, самым знаменитым профессиональным игроком в покер, достаивавшим порой этот дом своим присутствием для поднятия его престижа. Слава Ника была такова, что даже просто появление его среди игроков щедро оплачивалось. Сам он не играл, а только улыбаясь смотрел, снисходительный, не имеющий возраста, у него был тот тип лица, что уже на протяжении тысячелетий являются общим для греков, армян и иранцев, и он стоял там, чуть томный, но с живым взглядом, и следил за ставками — я так и не понял, кто был подлинным владельцем этого заведения?.. Простак с удовольствием приходили сюда, чтобы дать себя обобрать, считая за честь помериться силами с гигантами: как классические персонажи вестернов, что хотят «пострелять», сразившись с легендарными «пистолерос». Никто не жульничал: престиж чемпиона был так высок, что люди, принимавшие участие в игре, теряли все свои средства, были не в состоянии думать и уходили разгромленные. Они приходили сюда выразить почтение, принести себя в жертву на алтаре своего восхищения. Они были

конформистами. Когда у них уже больше ничего не оставалось, они вставляли и шли жать руку *supremón*^[78], повторяя: «Это удовольствие и честь, Джек, да, удовольствие и честь». Впрочем, там играли в уж не знаю сколько видов покера: с тремя открытыми картами, в покер «наоборот», когда победитель — тот, кто не бьет, в «обманный» покер и так далее, и «мастера» быстро переходили в игре от одних правил к другим, совершенно запутывая любителей, которые просто тонули во всем этом. Сегодня это продолжается в Лас-Вегасе. Там были бедолаги, которые в течение года откладывали деньги, чтобы приехать потеряться вокруг «грандов». Самый сильный американский миф, самый укоренившийся, — это деление людей на победителей и проигравших, на *winners* и *losers*, это и есть основа для мачизма, американская мечта об «успехе», которая производит в американской психике страшные разрушения, губит Джека Лондона, Фицджеральда, толкает на самоубийство Хемингуэя. Это единственное, что остается в Америке неизменным. И я твержу это своим друзьям Джимми Джонсу^[79], Ирвину Шоу и своему бывшему другу Норману Мейлеру, все они заживо снесены этой навязчивой идеей. Для них существуют парни, уходящие проигравшими, и парни, уходящие победителями, и недостаточно быть просто победителем, нужно быть сильнее, чем все остальные победители. Успех, мачизм... Психологический гной, самое активное, самое действенное и самое разрушительное гниение американской психики и американской истории. Это было очень посемейному, в игровом зале, без шлюх, между мужиками, *настоящими* мужиками. В точности то, чего я на дух не переношу: яйца в чистом виде, только яйца, и ничего больше. Менталитет комикса, если можно так выразиться. Я слонялся по городу. Джаз переживал тогда пустой унылый вялый период бибопа, в поисках дикси и рега я заглядывал в негритянские заведения, но там этого было мало. У меня завязалась дружба с одним старым негром, Суини, который болтался всюду, ему было лет семьдесят, он работал на букмекеров. Незадолго до этого он ударился в наивную живопись, полную ангелов и райских куш. У него был голос, как у человека, который проорал всю жизнь, но, по-моему, это наследственное. Негры, они уже не одно поколение орут в душе, так что есть такие, кто рождается без голоса. У него была племянница такой красоты, что я до сих пор не могу прийти в себя. Наше с ней знакомство длилось несколько дней, ее звали Пеппер, перец, я вновь встретился с ней через четырнадцать лет в Лос-Анджелесе, она стала *call-girl*, а потом я ее уже больше не видел. У меня на Майорке до сих пор висит одна картина Суини. Кончилось тем, что я заболел, тут всполошили Генерального

консула Франции в Новом Орлеане, который застал меня лежащим в постели Суини, и я никогда не видел более удивленного Генерального консула Франции. Я, еще очень слабый, снова сел в автобус. Проехав на нем две тысячи километров, добрался до Биг-Сюра — это около сотни километров призрачной красоты, такой красоты, что вы в своем пиджаке ощущаете себя каким-то загрязнителем среды, место, где великий призрак океана встречается с призраком земли в туманной, насыщенной испарениями атмосфере, где лают тюлени и вам хочется покаяться просто потому, что вы не вода, небо и воздух. Но самым большим потрясением стал Сан-Франциско, который остался для меня самым красивым городом в мире: кажется, что его изгнали из Азии и он хранит ее свет и тоскует по ней. У меня было письмо к Джеку Керуаку, который еще не был известен, но которого, к счастью, там не оказалось. Я говорю — к счастью, потому что не пью, так что все равно не было бы никакого толку. Керуак был пророком. Он первый и единственный еще за пятнадцать лет предсказал Америку хиппи, Америку буддизма, дзен, Америку отчаянных духовных исканий, которые уже начинались тогда в марихуане, чтобы завершиться в героине. В конечном счете вот уже скоро семьдесят пять лет, как Америка только и делает, что колеблется — в плане «кто я?» — между капитаном Ахавом^[80] с его белым китом, потерянным раем Уолта Уитмена и «богемными буржуа» Джека Лондона, который был первым хиппи в начале пути. В Сан-Франциско я получил аванс от своего американского издателя за «Цвета дня» и поселился в пятизвездочном отеле с видом на залив, я смотрел на Золотые Ворота: у подножия этого гигантского моста, переброшенного через залив, есть место, куда приходят фотографии и поджидают кандидатов в самоубийцы, которые собираются совершить смертельный прыжок. Когда я был там в прошлом году, их насчитывалось уже пятьсот человек, тех, что прыгнули. Сан-Франциско принадлежит рекорд по самоубийствам и алкоголизму в Соединенных Штатах. Почему? Думаю, оттого что ритм жизни там куда медленнее, чем в других местах Америки: у людей есть время поразмыслить... и заключить. Я наблюдал и другую историю с фотографами, устроившимися в подобной же засаде, но уже в Сингапуре. Сингапур — остров, и там очень мало свободной земли. Так что китайцы стали строить в высоту, небоскребы разом покончили с насчитывающей пять тысячелетий традиционно горизонтальной китайской жизнью и попытались заставить китайцев жить по вертикали. Что это дало? Десятикратное увеличение числа самоубийств. Я посетил эти вертикальные улы, и то, что я там обнаружил, довольно

необычно. Китайцы всегда жили группками вокруг небольших рынков, каждый перед своей лавкой с фруктами и овощами. Когда их заставили жить высоко, они тут же воссоздали маленькие рынки на каждом этаже, в коридорах многоэтажки, разложили свой скромный товар перед входной дверью. Что смогли, то и сделали. Но эта жизнь вдали от земли сводит их с ума. Вот они и стали выбрасываться из окон. И ты видишь в Сингапуре туристов, которые в поисках местного колорита идут со своими камерами в кварталы Тоа-Тайо и ждут в надежде, что найдется несчастный китаец, который прыгнет. Что касается Золотых Ворот, то я видел в Сан-Франциско почтовую открытку, на которой был залив, мост, а между ними человек, ставящий точку. Я объездил там разные кварталы на лодке ловца креветок, затем вернулся к себе в отель и провел там чудесную неделю, хотя меня и обокрали при обстоятельствах, не зависящих от моей воли. Бывают обстоятельства, когда у моей воли случается затмение. Океан там ледяной, а сей мерзавец не выносит морских купаний. Рыбацкие суда принимают тебя на борт на ночь, и ты плывешь с парнями, которые совсем на тебя не похожи, мне это нравится — парни, совсем не похожие на меня. Американская внешность настолько отличается от моей, что я наконец-то чувствую, что я не дома, что я и вправду в другом месте, это очень приятно. Но не нужно слишком много с ними разговаривать, с этими столь отличными от тебя парнями, потому что тогда они начинают чертовски походить на тебя, и это в очередной раз все то же дерьмо, ты вновь оказываешься в своей привычной обстановке. Я всегда пытался подружиться с людьми, не имеющими со мной ничего общего, это хорошо для иллюзий, хорошо для моей веры в человечество...

Ф. Б. *Что же тебе так не нравится в себе самом?*

Р. Г. Страдальческая жилка.

Ф. Б. ?

Р. Г. Да. Вечно я маюсь. В конечном счете какое мне дело до этих черных, к примеру? Да никакого. Мне до них нет никакого дела, в них нет ничего особенного. Но из-за этой страдальческой жилки у меня все нутро из-за них болит. Во мне есть нечто от полного слабака. Я всегда болею за других, ну, нечто от педераста, я говорю это не в уничижительном смысле, педерастов я уважаю. Но во мне есть нечто — скорее женоподобное, чем женственное, ну, знаешь, типа «еще пятьдесят тысяч человек умерли с голоду в Эфиопии». Слюни. Нет никакого оправдания тому, чтобы мужику, награжденному за свою военную доблесть, до такой степени не хватает душевного здоровья. Итак, короче. Я выходил по ночам на рыбацких судах с простаками и придурками,

у них были плечи настоящих мачо и головы настоящих кретинов, пышущих душевным здоровьем, но как только они начали со мной откровенничать, то вдруг переставали быть крестинами, ничему уже больше нельзя верить. Когда перед тобой этаким великан, который начинает открывать тебе свое сердце, а оно внутри такое нежное, это деморализует, как мало что. Мне попался там один капитан — они все капитаны, — у которого рожа была как у моего приятеля Стерлинга Хейдена, и он принялся мне говорить, в три часа ночи, в открытом океане, о духовных ценностях. Просто в голове не укладывается. Я дошел до того, что порой спрашиваю себя, не являются ли женщины в действительности мужчинами, скрывающими это. Но воздух был необычайно чист, как будто ничто еще не прогнило и не могло прогнить, а на суше, в двенадцати километрах от Золотых Ворот, растут *redwoods*, красные деревья сто пятьдесят метров высотой, которым по три тысячи лет, три тысячи, а они все еще здесь, как будто для того, чтобы доказать тебе, что такое возможно, что необязательно все разрушать. Я сядил, прислонился спиной к коре какого-нибудь *redwood* и пытался взять что-нибудь от него, украсть у него что-нибудь, потихоньку, как бы между прочим, вороватым прикосновением стянуть у него на два гроша твердости, невозмутимости, безразличия, этакое «плевать мне на всех на вас». Никогда не получалось. Есть еще камни, но у них тоже ничего не взять. Каждый остается при своем. Именно так я придумал персонаж Сен-Дени в «Корнях неба», Сен-Дени, сидящего у подножия секвойи из Северной Калифорнии. Калифорнийские секвойи — это последние американцы. Ты сейчас, наверное, снова станешь говорить о моих поисках Отца, но уверяю тебя, когда стоишь под деревом высотой в сто пятьдесят метров, окружностью — в тридцать, возраст которого три тысячи лет и которое пережило все и продолжает жить, ты начинаешь чувствовать себя лучше, у тебя появляется ощущение, что это возможно, что это может выжить и быть спасено, несмотря ни на что.

Ф. Б. «Это»?

Р. Г. Да, *Это*. Наверняка там внутри затаилась слабость, которая, скрываясь и прячась, циркулировала, поднималась, защищала повсюду эту потрясающую твердость. Может, последнее слово будет за слабостью, не знаю. Я набирал с собой жратвы на целый день, и мне было хорошо. Порой я поднимал голову, и это возвышалось надо мной, величественное и царственное, непоколебимое. Да, их зовут секвойями. Я чувствовал себя не таким хлюпиком. Я уходил оттуда посвистывая, возродив в себе восьмилетнего ребенка, которого

оставил где-то в России тридцатью годами раньше. А затем у меня случился второй приступ малярии в гостинице, и я ощутил такую потребность в женском присутствии, что чуть было не окочурился. Я еще не скоро стану секвойей. Затем я съездил в Орегон, где океан и леса сочетаются еще лучше, чем в любом другом месте, и где океан еще более ледяной, чем в Сан-Франциско, и я потерял сознание возле Сиэтла, едва успев, выйти из воды. Меня подобрала миссис и мистер Донован и приютили у себя, в деревянном доме среди сосен. У Донованов была пес, Питер, который ухаживал за мной. Собаки всегда оказывали мне внимание очень по-дружески. Миссис Донован была веселой женщиной, ее отношение к жизни было заразительно, это мне тоже помогло. Она была одной из тех американок, которые верят, что все просто, и порой так оно и оказывается, благодаря их святой убежденности. Когда они меня подобрали, то нашли у меня в пиджаке дипломатический паспорт, а я так мало походил на их представление о дипломатах, что однажды вечером Джон Донован пришел меня проводить, положил мне руку на плечо и предложил все ему рассказать, уверяя, что я могу ему довериться, он меня не выдаст. Он был уверен, что это подложный паспорт и что я какая-то важная персона, за которой гонится полиция. Им так хотелось мне помочь и они были такими милыми, что я им признался, что на самом деле я — русский, моя настоящая фамилия Касев и что я приговорен к смерти как дезертир во Франции в 1940–1941 годах, я им сообщил, что французский дипломатический паспорт на имя Ромена Гари мне выдал некий Жильбер в Министерстве иностранных дел в Париже в 1945-м, чтобы помочь сбежать. Как видишь, я им не солгал, и они успокоились. После этого они уже навещали меня несколько раз в Париже, и я их люблю. Я их очень люблю. Я глубоко люблю некоторую Америку, и моя вера в человека еще правит бал. Это вылилось двенадцатью годами позже в «Прощай, Гари Купер!», которого я написал на американском арго под названием *Ski Bum* и который, наряду с «Большой вешалкой» и «Пляской Чингиз-Хаима», стал моим самым большим успехом в Соединенных Штатах. Я покинул Донованов, чувствуя себя слегка виноватым, виноватым в том, что считаю, будто знаю побольше их, что лучше осведомлен обо всем этом, что французский XVIII век меня просветил и меня-де не проведешь, виноватым, что ощущаю себя чуть выше их. Я очень хочу сказать здесь Мэри Донован, что она и ее муж «знают» куда больше моего, что они гораздо ближе к истине, чем когда-либо был или буду я, что секвойи есть и останутся в Америке и все, что искатель, коим я являюсь, считает, будто знает, на самом деле на три четверти не стоит знания.

Волосы Мэри теперь совсем седые, но она не постарела, и все, что отличает меня от Донованов, это и есть то, чего мне недостает. У меня не осталось ни цента, и я занял деньги у Луи де Гиренго, ныне нашего представителя при ООН, который был в ту пору Генеральным консулом в Сан-Франциско. Мне нужно было возвращаться в Нью-Йорк и приступать к своим обязанностям, но я сделал крюк и побывал в Мексике и Гватемале: я всегда мечтал о вулканах и тут же побежал посмотреть, не там ли я. Меня там не было, это врожденное.

Ф. Б. *И это неоправимо?*

Р. Г. Если ты говоришь о моем провале, о «возвращении Улисса» домой с пустыми руками и слишком поздно для того, чтобы воздать должное матери, то считаю необходимым сказать здесь раз и навсегда: моя жизнь не была и не является сейчас продолжением, которое господин Ромен Гари дал «Обещанию на рассвете». В 1945 году одна моя жизнь подошла к концу и началась другая, потом еще и еще одна, каждый раз, когда ты любишь, для тебя начинается новая жизнь, когда появляется на свет твой ребенок, начинается твоя новая жизнь, мы не умираем в прошлом. Я никогда не жил жизнью «бывших». Мне даже моего «я» не хватает для жизни, и именно это и сделало меня романистом: я пишу романы, чтобы пойти к другим. И если мое «я» зачастую для меня невыносимо, то это не из-за моих личных особенностей или изъянов, а из-за изъянов человеческого «я» вообще. Мы всегда в западне какого-нибудь «я».

Ф. Б. *Я вот только интересуюсь, в какой мере тебе удалось освободиться от давления?*

Р. Г. Такие чувства делают тебе честь. У меня тоже есть сомнения на этот счет. Но сомнения счастливые. Я подразумеваю, что «освободиться» от материнской любви или от любви к женщине — это не то, что я называю освобождением, это то, что я называю оскудением.

Ф. Б. *Значит, ты вернулся в Нью-Йорк и приступил к обязанностям представителя по связям с общественностью при французской делегации в ООН. В чем это выражалось?*

Р. Г. Представлять французскую точку зрения в прессе, на телевидении и на радио, представлять Четвертую республику в ее отношениях с миром, ее политику — главным образом в Европе, Индокитае и Северной Африке.

Ф. Б. *Трудное дело, разве нет? Защита колониализма...*

Р. Г. Во-первых, мне не нужно было защищать, мне нужно было объяснять. Это не я защищал эту политику в ООН, ее защищал Опно, который совсем в нее не верил, даже упорно противился ей, и в Париже это было отлично известно, так что я

даже слышал, как один заезжий министр иностранных дел обозвал его «лицемером»... Вот что тогда происходило. ЦРУ устроило государственный переворот в Гватемале, направленный против «левого» режима Арбенса, тогдашнего Альенде. Это было в воскресенье. Русские срочно созвали Совет Безопасности. Опно воспользовался тем, что не успел получить инструкции из Парижа, и потребовал создания следственной комиссии ООН, которая должна была на месте разобраться, что произошло в Гватемале. Понятно, что все там было делом рук ЦРУ, и Фостеру Даллесу, американскому госсекретарю, это расследование нужно было как дырка в голове. Все случилось, как я тебе уже сказал, в воскресенье, и я был единственным советником, сидевшим рядом с Опно на скамье французской делегации. Он уже был послом в Берне и моим начальником, и вот мы в очередной раз оказались вместе в Нью-Йорке. Когда он мне сообщил, что потребовал создания комиссии, я исполнил свой долг — заявил, что Париж сотрет его в порошок. Но старый посол был просто в страшной ярости, он метал громы и молнии, его невозможно было удержать, он высокомерно повернулся в мою сторону и произнес — тут я цитирую: «Они ужасные мерзавцы». Не могу поклясться, что он имел в виду агентов ЦРУ в Гватемале... И вот он — без инструкций и вразрез со всей тогдашней французской политикой, находившейся в полном подчинении у американцев, — требует отправки в Гватемалу следственной комиссии. Это была одна из тех первосортных дипломатических бомб, на которых, как правило, подрывается тот, кто их бросает. Один из помощников Даллеса подошел ко мне и шепнул: *That's typically french*, это типично по-французски. Он имел в виду предательство. Я ему в ответ: *Go and fuck yourself* да пошли вы... Вот как низко опустились в своем общении изысканные дипломаты. Американцы пустили в ход свое право вето, никакой следственной комиссии так и не создали, и несколько часов спустя Даллес уже требовал от французского правительства отзыва Опно. И тут нам неслыханно повезло: наш тогдашний министр иностранных дел не мог позволить так себя унижить, особенно если вспомнить, что посол Опно был аккредитован не при Вашингтоне, не при США, а при ООН. Так что Опно остался на своем месте, и я вместе с ним. Впрочем, это был один из тех совершенно безумных дней, когда во всей красе раскрывается дух международного согласия и сотрудничества. Воспользовавшись тем, что шел перевод какого-то выступления, потрясенный тем, что мой старый посол только что окончательно потерял всякий шанс продолжить свою карьеру, я встаю и иду писать. Я уже почти справился с волнением, пустив струю, как вдруг возникший

ниоткуда советский псевдо-пресс-атташе, некто Титов — ну, это имя, под которым он работал в то время, — пристраивается писать сбоку от меня. Увидев, что я абсолютно растерян, и сочтя момент подходящим, он наклоняется ко мне через наши две струи и шепчет жарким шепотом по-русски: «Скажите-ка, дорогой коллега, сколько истребителей поставила Великобритания Федеративной Республике Германии?» Этот клоп, который был таким же пресс-атташе, как его бабушка, пытался меня завербовать, воображая, вероятно, что после этого первого шага мне уже будет не вырваться из его когтей. Я ему ответил тоже по-русски — тут я цитирую для знатоков этого прекрасного языка, в котором имеются, так сказать, безграничные возможности для нанесения оскорбления: *Ubiraisia k yebenei materi na legkom katere*. Это, разумеется, непереводаемо, но тут задействованы его мама, некоторые интимные части ее тела и путешествие на борту легкой яхты, которое я предложил ему совершить с кое-чем не являющимся мачтой, воткнутым в совершенно другое место, нежели палуба судна. А что, прекрасный денек в ООН. Мне предстояли еще и не такие.

Ф. Б. Мне хочется прояснить один момент. Я сейчас коснулся того, что называю проблемой совести. Ты сказал, что ты не «защищал» внешнюю политику Франции в глазах американской и мировой общественности, а «объяснял». По-моему, это уклончивый ответ, смысл которого скорее в том, чтобы слукавить, чем убедить. Будучи представителем французской делегации в ООН с 1951 по 1953 год, ты должен был «объяснять» войну, которую французская армия вела в Индокитае, категорический отказ предоставить независимость Тунису и Марокко, как и другим африканским колониям, — а об Алжире тогда даже не заикались, поскольку он просто-напросто считался «французской вотчиной». И в то же самое время ты писал «Корни неба», роман, одна из главных тем которого — наряду с защитой природы — призыв к освобождению африканских народов. Поэтому я спрошу тебя вот о чем: всякий раз, когда ты, «объясняя» эту политику, выступал перед миллионами американцев, перед представителями мировой прессы — а это происходило едва ли не каждый день, — ты шел против собственных убеждений, а значит, и против совести, так?

Р. Г. Я отвечу тебе со всей точностью, на какую ты вправе рассчитывать. Здесь прежде всего встает вопрос демократии. Моя совесть — это не совесть французского народа. Французский народ демократическим способом избрал парламент, а последний назначил правительство, в рамках строжайшей республиканской законности. В это правительство входил министр иностранных дел, который прилетал в Нью-Йорк, господин Морис Шуман,

такой же, как и сегодня или вчера, ну, более или менее; господин Эдгар Фор, такой же, как и сейчас, — ну, в той мере, в какой он может быть предсказуемым; господин Миттеран, такой же, как сейчас, — ну, в той степени, в какой сегодняшний напоминает того, вчерашнего. Так что Франция была представлена всем тем, что Четвертая республика могла предложить самого перспективного в плане свободы народов. Проводимая правительствами этой Четвертой республики внешняя политика была политикой Франции, если парламентская демократия хоть что-то значит. В целом эта политика регулярно, от выборов к выборам, получала одобрение электората, что привело к появлению господина Мессмера, господина Жобера, а завтра, возможно, приведет к еще более полному обновлению: господам Миттерану или Эдгару Фору. Вот эту политику французского народа я и «защищал» как мог — это точное слово, ибо я выступал в роли адвоката, как Моро-Жиафери, когда тот защищал Ландрю^[81], или мэтр Но, когда тот защищал Лавалья^[82]. Я выполнял работу адвоката со всей виртуозностью, на какую только был способен, со всей своей лояльностью.

Ф. Б. *Где тот предел, до которого может дойти лояльность?*

Р. Г. Конец демократии.

Ф. Б. *Это тоже весьма виртуозно.*

Р. Г. Тем лучше, спасибо. Но если хочешь, я для тебя расставляю все точки над «і» относительно моей «нравственности». Для этого возьмем, к примеру, адвоката левых взглядов, который публикует в газете «Монд» распрекрасные «левые» статьи, левая нравственность которого не подвергается сомнению, ну, хотя бы мэтра Бадентера. Так вот, мэтр Бадентер, из левых, является, между прочим, адвокатом огромнейшей французской печатной империи. Или вот мэтр Ролан Дюма, левый политический деятель, бесспорный носитель высокой морали. Так вот, он всеми возможными юридическими средствами защищал миллиарды Пикассо от кровных наследников Пикассо, детей, не признанных самим Пикассо, а значит, юридически не являвшихся наследниками Пикассо, ибо я вполне допускаю, что совесть левых — это прежде всего совесть юридическая и в моральном плане неотделима от буквы закона, вопреки всем иным мнениям, которые с некоторой натяжкой можно было бы счесть гуманными. Совершенно очевидно, что для мэтра Ролана Дюма большие деньги собственника — это именно те большие деньги собственника, которые должны передаваться согласно букве закона капитализма. Будучи адвокатом Франции, я поступал точно так же, как мэтр Ролан Дюма и мэтр Бадентер, когда они встают на защиту крупного капитала своих клиентов. *Any more*

questions?^[83]

Ф. Б. Это, наверное, было нелегко?

Р. Г. Да, нелегко. Кстати, это единственное, чем мне было интересно там заниматься.

Ф. Б. *Снова наслаждение виртуозностью...*

Р. Г. Я действительно был на хорошем счету. После сессии ООН ко мне подошел господин Морис Шуман, пожал руку и сказал: «Отличная работа».

Ф. Б. *Почему Министерство иностранных дел выбрало тебя?*

Р. Г. Не знаю. Не имею понятия. Не думаю, что там кто-то обладает чувством юмора. Возможно, потому, что я владел «беглым» английским, говорил на нем, как коренной американец, несмотря на ярко выраженный русский акцент. Я и сейчас говорю по-английски с русским акцентом. Многие из моих коллег хорошо владели английским, но то был элитный английский, а с таким не повыступаешь ни на телевидении, ни в публичных дискуссиях, ни в средствах массовой информации. Я говорил на американском английском, как Мао, то есть я чувствовал себя в нем «как рыба в воде», а Мао настоятельно рекомендует именно это.

Ф. Б. *Кое-что я все-таки не понимаю. Я помню, как ты сокрушался перед войной по поводу того, что ни слова не знаешь по-английски. До 1940 года ты совсем не говорил по-английски, а с 1940-го по 1945-й, минус два года войны в Африке и на Ближнем Востоке, то есть за три года, ты овладеваешь английским так, что пишешь на нем шесть высокохудожественных романов. Хотя ты служил во французской эскадрилье и был окружен своими товарищами-французами. Как такое возможно?*

Р. Г. У меня были все условия.

Ф. Б. *Как ты научился бегло говорить по-английски?*

Р. Г. Мы же общаемся.

Ф. Б. *Под одеялом?*

Р. Г. Мы общались. К концу войны каждый французский летчик говорил по-английски в соответствии с его возможностями.

Ф. Б. *Какого рода возможностями?*

Р. Г. Мы были молоды, а иностранный язык дается очень легко, когда ты молод... Видишь ли, в Англии у нас среди ординарцев были и девушки. В Биггин-Хилле, например, в самой знаменитой эскадрилье истребителей — где, кстати, служил Джонни Джонсон, сбивший тридцать шесть самолетов противника, — женский персонал, на который приходилось тридцать процентов всего состава, выбирали из самых красивых девушек Англии. У бомбардировщиков их тоже было немало.

Спроси у Мендес-Франса.

Ф. Б. ???

Р. Г. В Бистере у нас с ним была одна девушка-ординарец. Рыжеволосая. Вспоминается мне еще один случай, но поскольку в нашей эскадрилье было полно будущих государственных деятелей, имен я называть не буду: сегодня ведь в ходу блядская мораль, которая пытается порвать с чисто французской традицией наслаждения радостями жизни, чтобы избежать «американского господства», вот как... Я не хочу здесь бросить тень ни на Мендес-Франса, ни на кого-либо другого, все грехи я беру на себя и признаю, что мои свободные и откровенные отношения с сексуальной моралью объясняются моим иностранным происхождением. Какое-то время я жил в бунгало вместе с одним будущим выдающимся государственным деятелем, которого очень уважаю. И там тоже у нас была одна общая девушка-ординарец, и тоже — рыжеволосая красотка. ...В то время в моей эскадрилье было какое-то невероятное количество французских государственных деятелей и рыжих красоток... Бывают такие моменты в истории... Хотя умиляться я не собираюсь. Эта была удивительно сочная девица, длинноногая, казалось, солнце встает в уголках ее рта с каждой улыбкой, а уж когда она в шесть часов утра приносила поднос с завтраком... Ах, старина! Бывают в жизни такие дивные пробуждения, которые в корне меняют твоё отношение к зарождающемуся дню... И вот однажды утром она предлагает мне хлеб-соль, а потом уходит. Какое-то время еще я лежу в постели, в состоянии полного блаженства, словно индийский йог, буддист, воспаривший над собственным телом, как вдруг слышу слоновый топот за стеной, в комнате, где ночевал один из наших выдающихся политических умов... Бегу туда — она ведь, в конце концов, была и моим ординарцем. Толкаю дверь и вижу, как наш государственный деятель, облаченный в пижаму, весело скачет вокруг стола, гоняясь за ординарцем. Он хотел забрать у нее поднос с завтраком, как ты понимаешь. Не знаю, было ли это в его привычках, возможно, он нуждался в легкой утренней пробежке. Если это неправда, государственный деятель может доказать обратное. Если он докажет, я отрекусь от сказанного и принесу ему свои извинения. Скажу, что видел эротический сон с... с одним государственным мужем, вот.

Ф. Б. *Должно быть, ты все-таки изрядно помучился, когда писал романы по-английски...*

Р. Г. Я не считаю это мучением. В 1945 году я женился на англичанке и повысил свое мастерство... Не вижу тут ничего смешного.

Ф. Б. *Какое впечатление на тебя произвела Организация Объединенных Наций?*

Р. Г. Это корпус замечательных международных функционеров, символом которого был Генеральный секретарь Даг Хаммаршельд, умерший в Конго. Что касается политического содержания, то это — постоянное насилие над великой мечтой человечества. Организацию Объединенных Наций пожирал националистический рак. Национализм, особенно когда он юн, свеж и напыщен, это прежде всего право безнаказанно распоряжаться народом — посредством внутренней тирании, — спекулируя на праве народа распоряжаться самим собой. Ты можешь уничтожить, миллион человек внутри границ своей страны — и заседать в Организации Объединенных Наций в Комиссии по правам человека, подниматься на трибуну Генеральной Ассамблеи и произносить речи о свободе, равенстве и братстве, срывая аплодисменты, потому что внутренние дела государства — это святое. «Объединенные Нации» — эти слова уже сами по себе вызов языку, искажение смысла, насилие над языком. Организация Объединенных Наций — это то место, где руководящий орган, то есть Совет Безопасности, способен похоронить любой труп, проигнорировать истребление людей, рабство путем использования вето одной из сверхдержав — Франции, СССР, Соединенных Штатов, Великобритании, Китая, — и тем не менее ты слышишь, как министры иностранных дел то одной, то другой сверхдержавы требуют участия всей Организации Объединенных Наций в обсуждении того или иного вопроса. Как будто у этих сверхдержав нет права вето, позволяющего похоронить любую истину, любой труп... Но нужно вести пропаганду, ты же понимаешь, так что они стараются изо всех сил. Я когда-то попытался освободиться от этого в книге, которую опубликовал под псевдонимом Фоско Синибальди, «Человек с голубкой», но получилось слишком мягко, слишком беззубо. Я видел на трибуне Организации Объединенных Наций самых ужасных, самых кровавых поставщиков мертвечины в истории человечества, таких, как, например, Вышинский, который выступал обвинителем на всех крупных сталинских процессах и отправлял на расстрел самых выдающихся и самых честных ленинцев — отцов и творцов большевистской революции 1917 года. Я бы даже сказал, что самым показательным моментом Объединенных Наций, бесспорным моментом истины было, когда Вышинский поднимался на трибуну, чтобы высказаться о свободе народов, правах человека и заклеить французский колониализм, а как раз в ту минуту, когда он выступал, его хозяин, Сталин, завершал депортацию татар или вел подсчет

результатов истребления целых народностей, подтверждение чему ты найдешь у Солженицына в книге «Архипелаг ГУЛАГ». Мне вспоминается один из самых одиознокомичных моментов всей моей жизни. Сталина только что настигла смерть, до странности незаслуженная, поскольку он скончался внезапно, так сказать, не расплатившись. И все министры иностранных дел, все послы, представители всех наций встали в очередь, чтобы пожать руку Вышинскому и выразить ему свои соболезнования, сожаление и чувство симпатии... Это был момент братства — по версии Организации Объединенных Наций. А потом те же люди льют слезы над участью Солженицына... Посмотри, что случилось на Ближнем Востоке. Арабы и израильтяне вцепились друг другу в глотку, но Объединенные Нации не шевелятся; с общего согласия всех мачо, включая мачо израильских и мачо арабских, им дают повоевать, чтобы там произошли захваты территорий и стратегических объектов и появилось столько трупов, сколько нужно, чтобы «разрулить» ситуацию. И только после этого, после этих рек крови, — я не видел ни одной фотографии Киссинджера, где бы он не улыбался, — американцы и русские, согласно заранее достигнутой договоренности, вступают в игру и добиваются прекращения огня, что отвечает их взаимным интересам. Четыре или пять лет тому назад я написал послу Израиля в Париже, Эйтану, письмо, в котором я, зная ООН и ее хозяев, США и СССР, сообщил ему, как это произойдет, — и все произошло именно так, как я и предсказал... А Бурунди, ужас Бурунди? Два с половиной миллиона населения, меньшинство захватывает власть и уничтожает в сентябре 1973 года полтора миллиона мужчин, женщин и детей... И что Объединенные Нации? Да ничего. Генеральный секретарь Вальдхайм не стал поднимать крик, не швырнул на весы истории свою отставку... Груды трупов вдоль всех дорог... Поскольку они разрушили там всю свою фауну и охотиться стало больше не на кого, глава государства охотится на людей из вертолета... поставленного Францией... ну, в общем, техническое сотрудничество. А потом говорят, что я не стесняюсь в выражениях... Эх, старик, старик... За три года работы в ООН я истерзал всю свою душу, тщетно надеясь на установление дружбы между народами. ООН — это то место, где санкционируют акты насилия в Гватемале, Сан-Доминго, Вьетнаме, Плайя-Хирон, Будапеште, Праге и все прочие акции, продолжая разглагольствовать о братстве, свободе, священном праве народов на самоопределение...

Ф. Б. Одним словом, ООН — это виртуозное предприятие?

Р. Г. Ну, скажем, человек — это недостижимое искушение, и подведем черту... Но ты поймешь, что он на самом деле не был

«виновен» в том, что «защищал» Францию, в подобном контексте...

Ф. Б. *Как это происходило, когда ты применял на практике свою... виртуозность?*

Р. Г. У меня почти постоянно перед носом маячил микрофон; телевидение, пресс-конференции — три месяца Генеральной Ассамблеи в этом смысле изнурительны. Изнурительны! Приходилось говорить с миллионами американцев, которые смотрели на Францию как на девку, находящуюся у них на содержании, но не позволяющую иметь себя столько, сколько им бы хотелось.

Ф. Б. *От чего у тебя осталось наихудшее воспоминание?*

Р. Г. От депутатов Четвертой республики. Хотя нет, будем справедливы: от *некоторых* депутатов Четвертой республики. Это были последние черные царьки: они сваливали правительства одно за другим, министры трепетали перед ними, а когда их делегация прилетала в Нью-Йорк, это было что-то... Разжиревшие, опьяневшие от своего жалкого могущества, они вели себя в отношении демократии и республики как девки на содержании. Они были примерно такими же представителями французского народа, как я — фирмы эскимо. Это было время, когда председателя Совета Безопасности, прибывшего просить у Вашингтона чуть побольше денег на войну в Индокитае, возили по вечерам на служебном «кадиллаке» в Балтимор смотреть особенно жесткие стриптизы, которые тогда устраивались прямо на стойках баров, да так, что практически можно было уткнуться в голую задницу носом. И это в тот момент, когда мы в Индокитае теряли одних только офицеров такое количество, что это равнялось двум полным выпускам Сен-Сира...^[84] То было время, когда два французских депутата, приехавшие по делам, обратились к председателю местного отделения «Альянс франсез» с просьбой раздобыть для них девушек, но с одной оговоркой: они хотели черных. Парень все устроил, потому что хотел... заполучить орден Почетного легиона. Признаюсь, впервые с тех пор, как я с тобой говорю, у меня появилось желание назвать имена... Да, мне хочется назвать имена... Но я этого не сделаю, я не доносчик. Председатель «Альянс франсез», поставляющий черных шлюх двум французским депутатам, потому что он хочет заполучить орден Почетного легиона... Черт! Клянусь тебе...

Ф. Б. *Так он заполучил орден Почетного легиона?*

Р. Г. Он у него уже был! Он хотел теперь заполучить офицерскую розетку. Эти люди вели себя так, словно чувствовали приближение конца света и боялись, что не успеют сделать перед

смертью еще один выстрел. Кстати, в Токио тогда появились первые секс-шопы, их там называли *pink-shops*. Так вот, можно было наблюдать, как трое выдающихся представителей Четвертой республики — все бывшие министры — примеряли перед остолбеневшими японцами «годмише», искусственные фаллосы. Я знаю, ты мне веришь, но если кто-нибудь подвергает мои слова сомнению, пусть спросит у Жьюглариса, французского журналиста, специалиста по Японии, который все еще находится в Токио...

Ф. Б. *В тебе есть какое-то противоречие. С одной стороны, ты встаешь на дыбы, когда нравственность начинает измеряться «на уровне задницы», как ты говоришь, с другой — возмущаешься тем, что министры или депутаты дают волю своему либидо...*

Р. Г. Здесь нет никакого противоречия. Это обычный вопрос лояльности. Если бы я захотел нацепить «годмише» и вышел бы в таком виде на Елисейские Поля, чтобы продемонстрировать свою мужественность, это касалось бы только меня. Но если я — Генеральный консул Франции, посол Франции, председатель Совета безопасности, министр, бывший министр, сенатор или депутат, если я нахожусь в какой-то стране *официально*, избранный либо уполномоченный пятьюдесятью миллионами французов, то самое элементарное понятие лояльности вынуждает меня соответствовать в своем поведении и одежде некоему стереотипу, принятому большинством французов, которых я представляю за рубежом. Если же я за рубежом неофициально или же во Франции, где уже никого не представляю, где я — обычный гражданин, без привилегированного дипломатического паспорта, где я представляю только себя самого, то имею полное право среди бела дня отправиться на бульвар де Капюсин и выбрать на панели ту, что мне покажется наиболее романтической. Это никого не касается. Но французские политики, представляющие за рубежом французский народ, оплативший им их поездку, и ведущие себя вышеупомянутым образом, изменяют своим представительским обязанностям. Я, разумеется, не обобщаю, были среди них люди достойные и галантные, люди безупречные, но ты не можешь представить, как же меня раздражали те, другие. Вдобавок эти депутаты ненавидели все, что относилось к Министерству иностранных дел. Во-первых, мы работали на постоянной основе, им же вечно грозило быть выдворенными на следующих выборах, а во-вторых, потому что они зачастую бывали крайне невежественны, совершенно терялись, им казалось, что каждый их шаг оценивается, они отличались болезненной мнительностью, в каждом нашем поступке им виделось уж не знаю какое

превосходство: эти толстопузые все были сыновьями народа — представляешь! — тогда как мы, «дипломаты», считались «аристократами». Надо еще сказать, что мне доставалось больше всех. Они меня ненавидели всей душой, потому что именно я всегда выступал на телевидении, на радио и перед журналистами, и они просто умирали от зависти. У них была такая жажда саморекламы, что они преследовали меня с утра до вечера в коридорах ООН и в помещении представительства, требуя, чтобы я уступил микрофон, организовал им пресс-конференцию, дал им покрасоваться на телевидении. Они не знали ни слова по-английски, эти рогоносцы, но они объясняли мне, что с помощью переводчика... Вообрази: французский депутат с переводчиком на американском телевидении... Только вообрази... Представляешь, какой громадный интерес это может вызывать у частных телевизионных каналов, с какой радостью рекламисты выложат по тридцать тысяч долларов за три минуты ради того, чтобы полюбоваться рожей французского депутата... Три минуты выступления, три минуты перевода — бред, полный бред! Добиться этого было совершенно невозможно. Сотрудники американских телеканалов хохотали во все горло. Ну и какой же они из этого сделали вывод, наши депутаты? Они решили, что Министерство иностранных дел специально поручило мне затыкать им рты, что это зловещая политическая интрига. Они потратили массу времени, чтобы добиться моей отставки. Я вынужден был защищаться, а поскольку министры и госсекретари, возглавлявшие делегацию, без конца напоминали мне, что депутаты не должны выступать вместо меня, но сами боялись и слово сказать этим царькам, то я по-своему исполнил их указания. Иначе говоря, я принялся устраивать для этих господ — любителей злоупотребить полномочиями — липовые пресс-конференции и липовые радио-и телезаписи. Что касается пресс-конференций, я обходил знакомых журналистов, умоляя их заглянуть в мой конференц-зал и послушать страстные речи изголодавшегося по почестям депутата, который сообщал им последние статистические данные по выращиванию свеклы в своем округе. Я был в хороших отношениях с журналистами, так как никогда не лгал им, и они никогда меня не выдавали, если я снабжал их какой-нибудь информацией, с просьбой не предавать ее огласке. Они заходили на десять минут и, ничего не понимая, слушали депутата, который говорил по-французски и был вне себя от радости. Он испытывал оргазм. С телевидением было еще проще. Депутата ставили перед телекамерой, в которой не было ни кассеты, ни пленки, техники же делали вид, что снимают; ослепленный лучами прожекторов депутат исполнял свой номер

перед объективами мертвых камер либо перед отключенными микрофонами...

Ф. Б. А как же... *лояльность?*

Р. Г. Этот вопрос следовало бы задать тем депутатам. Являясь членами французской делегации, возглавляемой в ходе сессий либо министром иностранных дел, либо госсекретарем, депутаты не имели полномочий обращаться вместо них к американскому народу, равно как и выступать с трибуны ООН. Они находились там в качестве *наблюдателей* либо выполняли конкретные представительские функции в Совете по опеке или где-нибудь еще. Но не тут-то было! Они царили. Правительству, чтобы выжить, нужны были их голоса или голоса их парламентской группы, а на правила игры им было наплевать... Так что было невозможно — я повторяю, *невозможно* — позволить, чтобы какой-нибудь французский парламентарий, заседавший в Совете по опеке, прибывший с *особой* миссией либо в качестве наблюдателя, принялся объяснять, например, представителям мировой прессы и американскому общественному мнению, что тунисцы и марокканцы ни за что не согласятся на независимость или что нужно использовать американскую атомную бомбу в Индокитае, который — я цитирую — «был, есть и останется французским». Это они вышли за рамки демократии, а не я: они превышали свои полномочия и глумились над разделением полномочий между законодательной и исполнительной властью. Герен де Бомон, госсекретарь в Министерстве иностранных дел, не раз просил меня: «Попридержите их, не позволяйте им говорить глупости», — однако сам не говорил ничего: голоса, вечно эти голоса... Посол Опно поучал меня: «Выпутывайтесь как знаете, но чтобы ущерб был минимален...» Однако им он не делал ни малейшего замечания. Морис Шуман: «Они не должны выходить за рамки своих полномочий... Пусть говорят исключительно о внутренней политике...» И мне, мелкому советнику посольства, надлежало осуществить это чудо: помешать депутату выступить... Едва завидев микрофон, они тут же набрасывались на него... Шутка ли, мировая аудитория! И тогда я делал единственное, что можно было сделать, — отключал микрофон... Я оставляю за французами право судить меня и решить, кто служил им более преданно в данных обстоятельствах, я или депутат, который хотел объяснить американцам, что тунисцы сами убивают своих «мятежных» борцов за независимость, чтобы затем возложить вину за это преступление на французских землевладельцев... Я всегда буду готов отключить этот микрофон... Так что я устраивал липовые пресс-конференции, мне пришлось сделать это как минимум

шесть или семь раз, из которых три или четыре перед неработающими камерами, испытывая при этом чувство гордости за то, что я оградил свою страну от нескольких тонн презрения, стыда и насмешек... Были среди членов делегации — об этом тоже надо сказать — обворожительно опасные эксгибиционисты, такие как принц Дуала Манга Белл из Камеруна, который буквально кидался на камеры. Облаченный в свою пелерину с золотой застежкой, маленький, прямой, как прусский кавалерист, с «африканской» шевелюрой, он странным образом напоминал великого русского поэта Пушкина, дед которого был выходцем из Абиссинии. У него была привычка звонить самому себе по телефону, установленному в большом холле для делегатов, единственно затем, чтобы услышать свое имя по громкоговорителю, гордо прошагать через холл перед восхищенными взорами присутствующих... Он делал это по пять-шесть раз в день. Обученный в Пруссии, в военной академии, когда Камерун еще был немецким, он обладал выправкой улана, но с кожей цвета черного дерева, и во время заседаний передавал послу Опно записки с комментариями или советами, составленными на греческом или латинском языках... Он убил своего сына за то, что тот переспал с одной из его жен. На одном весьма изысканном ужине в Манхэттене какая-то дура спросила его прямо в лоб: «Принц, вы правда убили своего сына?» — «Да, мадам, — с царственным презрением бросил ей Дуала, — а потом я его съел, потому как мне в высшей степени присуще чувство семейственности...» Я был там. Он был по-своему гениален, но когда речь заходила о Вьетнаме... он ратовал за истребление в чистом виде, и все пресс-конференции, которые я ему устроил, были липовыми. По истечении получаса «съемки» в лучах прожекторов, когда у моих славных сообщников-операторов кончалось терпение, я подходил к нему и говорил: «Принц, пора закругляться...» И он закруглялся, рекомендуя «суровость в отношениях с малокультурными народностями»... Камера сверлила его пустым глазом. Позднее, снимая один из своих фильмов, я вспомнил об этой уловке. На мне висело совместное производство четырех стран: Германии, Франции, Испании и Италии, и существовавшая разумная практика обязывала меня привлекать актеров и техперсонал всех этих национальностей. Мне, в частности, надо было снять одного итальянского актера — он занимал ключевую позицию в той части, что касалась вклада в производство итальянской стороны, и требовал взамен роль. Ну, я его вызвал и образовал вторую съемочную группу, она три дня снимала его в идиотских сценах, которых не было в сценарии, камерой, в которой не было пленки, и он уехал довольный; мы

долго пожимали руки, честно глядя друг другу в глаза, при полном взаимном удовлетворении и уважении. Когда он посмотрел фильм, ему объяснили, что эти кадры исчезли при монтаже, потому что и так все было слишком затянуто. Как видишь, сейчас без честности никуда. Однако что касается всех этих господ из Четвертой республики, даже с такой методикой мне не удалось полностью избежать неприятностей, поскольку я не смог помешать одному депутату сказать в кулуарах Тэду Шульцу, корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» в ООН, что Америка должна дать Франции атомную бомбу, чтобы та швырнула ее в рожу вьетнамцам. Но по крайней мере, это не было сказано напрямую миллионам телезрителей... Правда, попадались и образцовые парламентарии, иногда непростые в обращении, как Жюль Мок, но наделенные высочайшим чувством ответственности...

Ф. Б. *Одному депутату ты все-таки дал по морде, как мне сказали?*

Р. Г. Нет, не по морде, я лишь слегка толкнул его в присутствии Жака Эденже, представителя «Франс Пресс» в ООН, — и там не было иностранных репортеров. Он обозвал меня гнилым отщепенцем и отъявленным голлистом, потому что в день убийства профсоюзного тунисского лидера Фархата Хашеда — не знаю, как он правильно пишется, — я должен был дать пресс-конференцию и осудить это преступление, которое тогда в ООН приписывали французским колонистам. Важно было квалифицировать это преступление как подлое убийство, каковым оно и являлось, что я и сделал. Но этот деятель рвался занять мое место на пресс-конференции, желая объяснить американскому обществу, что это сами тунисцы убили своего профсоюзного лидера, а потом возложили ответственность на французов. Я его оттолкнул, а он заявил, что добьется моей высылки в двадцать четыре часа; я ответил, что если он только пукнет, я немедленно, тут же, подам в отставку, что в моем распоряжении все средства массовой информации и я выложу все начистоту, с начала до конца, выступлю по всем радио- и телеканалам, и буду только рад. Больше я о нем не слышал.

Ф. Б. *Ты не сломался?*

Р. Г. Сломался, конечно, но только это было потом; мною двигало поистине благородное, отчаянное, злобное стремление драться с теми, которые «были правы во всем» и разглагольствовали о «морали», тогда как у них у самих руки были по локоть в крови, как у Вышинского, или же собирались «преподать нам урок» в Индокитае, как американцы. Но это было очень тяжело. Вспомни. Вспомни рассуждения Четвертой

республики в то время: мы вот-вот должны выиграть войну в Индокитае, где уже несколько лет шли последние минуты, так? И то, о чем уже никто, конечно, сегодня не помнит: собирались создать европейскую армию, объединенные вооруженные силы, покончив тем самым с армиями национальными. И совершенно гениально объясняли невозможность предоставления независимости Тунису и Марокко — об Алжире тогда еще даже не говорили, — тем, что Северная Африка нужна для построения Европы. «Еврафрика», знаешь ли, то же самое, что пытаются нам навязать и сейчас, только в иной форме... Такая политика регулярно получала одобрение шестидесяти трех процентов избирателей и поддержку всех демократических партий, от Миттерана до Ги Молле, от Робера и Мориса Шумана до Эдгара Фора. Именно этой политикой я пичкал американское общество, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, такие, как «холодная война», объясняя, что невозможно в разгар «холодной войны» — и один бог знает, как она свирепствовала в тот момент, — перекраивать карту планеты, что было единственной частицей правды во всем этом, так как мы переживали тогда период опасного противостояния сверхдержав, раздела мира на блоки, когда Китай еще ходил в вассалах у СССР... И вот вскоре к власти приходит Мендес-Франс и, не определив свою позицию — дабы не смущать парламент, как он сам объяснил, — предоставляет каждому голосовать по его убеждениям, а поскольку у него были известные проблемы с Ги Молле, он не оказывает влияния ни на одну из сторон — и парламент голосует *против* европейской армии. После того как я, проинструктированный правительством, месяцами объяснял, что за европейскую армию проголосуют, что вопрос уже решен и это будет рождением новой Европы, меня приглашают оправдать диаметрально противоположную политику — и я получаю самый категорический отказ, когда прошу освободить меня от моих обязанностей. И тогда, по всем каналам телевидения и радио, перед представителями всей мировой прессы, я начинаю объяснять — нередко в течение нескольких часов ежедневно, — что голосование против европейской армии, похороны европейской армии — это благо и для Франции, и для всего мира. С интервалом в два дня одному и тому же человеку новое правительство поручало представлять диаметрально противоположную точку зрения, а когда я поинтересовался у Бори и у Мендес-Франса, почему они не сменили официального представителя, Мендес, добродушно улыбаясь, ответил: «Мне говорили, что вы великолепно с этим справляетесь». А ты спрашиваешь, не сломался ли я... Разумеется, сломался. Только нервная депрессия у меня протекает не совсем обычно. Когда я

впадаю в депрессию, я начинаю паясничать, разыгрывать из себя шута, — я бы назвал это бегством в буффонаду с целью психической гигиены, разрядки. Но не отдавая в этом себе отчета, постепенно, — так, что я не контролирую этот процесс и сам не осознаю, что со мной происходит. Арлекинада, шутовство в истории народного страдания всегда были последним прибежищем разума перед тем, как взяться за нож. Со мной как раз и произошло нечто подобное в Нью-Йорке в 1954 году. На телевидении у меня брал интервью Ларри Лезюер, репортер Сиби-эс. Возможно, ты помнишь, что наибольшее давление на нас тогда оказывал Эйзенхауэр, призывая голосовать за европейскую армию. Он был крайне разочарован результатами французского голосования, так что мы перешли к разговору на эту тему. Эйзенхауэр к тому же был страстным игроком в гольф, и Америка пристально следила за его достижениями. «Что думают во Франции о президенте Эйзенхауэре?» — спрашивает меня Ларри. Я приготовился ответить какой-то банальностью, как полагается, а вечером Опно меня спрашивает: «Скажите, Ромен, что случилось? Вы добрых десять секунд оставались на телеэкране с разинутым ртом, не говоря ни слова. Вас будто парализовало. Можно было практически разглядеть ваши миндалины. Вы, похоже, были необычайно удивлены, а потом снова обрели дар речи». Только тогда я вспомнил, что именно произошло. Я собирался ответить: «Во Франции считают, что генерал Эйзенхауэр самый великий президент *в истории гольфа*». К счастью, на середине фразы со мной случилось нечто вроде паралича. Я сказал себе тогда: это временный приступ, вызванный переутомлением, и успокоился. Однако на следующий день произошла настоящая катастрофа. Я говорил перед несколькими миллионами телезрителей, объясняя, почему европейская армия — это не очень хорошая идея и почему досадно было бы начинать строительство Европы с армии, — не лучше ли прийти к этой самой армии через другие образования, через экономический и политический союзы. Закончив фразу, я принял непринужденный вид, скрестил ноги, взглянул на великое множество невидимых, но присутствующих американцев и громким, четким голосом произнес: «Если бы твое имя было Вар Батиньоль и ты играл в шары, я бы сказал тебе: ты играешь на бульваре Батиньоль»^[85]. И разразился грубым хохотом, хлопая себя по бедрам, словно это была самая лучшая шутка в мире. И ничего ровным счетом не произошло: американские телезрители решили, что я привел цитату на французском, удачно вписывающуюся в исторический контекст и взятую из культурного наследия прошлых веков... Было лишь несколько телефонных звонков от обалдевших

французов, которые не поверили своим ушам. Лишь час спустя я осознал, что произошло. Я понял, что у меня острая депрессия, вызванная целым рядом противоестественных поступков, и попросил, чтобы меня отозвали. Несколько месяцев спустя мой преемник впал в такую депрессию, что его унесли на носилках.

Ф. Б. *Неужели ты не испытывал совсем никакого удовольствия, защищая труднозащитимые позиции? С точки зрения «виртуозности»?*

Р. Г. Ключевая фраза тут принадлежит Камю. Он сказал: «Я против всех и каждого, кто считает, что он *абсолютно прав*». Ну а в ООН громче всех о свободе народов кричали представители Советского Союза, миллион раз продемонстрировавшие, что они под этим подразумевают; мы это видели на примерах Литвы, Эстонии, Латвии, не говоря уже о Будапеште и Чехословакии. Не молчали и американцы, проводившие политику беспощадного политико-экономического империализма в Южной Америке, высаживавшие морскую пехоту в Сан-Доминго и в Ливане, готовившиеся принять от нас эстафету в Индокитае. Или же это были страны с диктаторскими режимами: их моральное оправдание называлось «национальный суверенитет», что позволяло истреблять целые народности и подвергать людей изощренным пыткам, о чем в ООН, до пыток в Алжире, ни разу не прозвучало ни слова. Все эти подонки поливали Францию грязью, строя из себя возмущенную добродетель, самую чистоту, благоухающую невинность; оказавшись на трибуне, они гарцевали на белом коне прав человека, в их голосах отражалось все благородство защитников бедных и слабых, самая благочестивая добропорядочность. В этих условиях я считал своим прямым долгом вывалить их в дерьме и плюнуть в их рожи со всей диалектикой, убежденностью и виртуозностью, на какие был способен, ибо в таком контексте улюлюканье над Францией, по причине одного лишь цинизма, было недопустимо, ей требовался защитник, и я не мог увильнуть. Добавлю, что в Америке тогда свирепствовал маккартизм, велась охота на ведьм, и эта страна, опустившаяся до нижнего предела подлости в обличении всех и вся, имела примерно те же основания преподавать нам уроки нравственности, что и Советский Союз... Таким образом, я ежедневно вступал в схватку с американской общественностью и зачастую, поскольку выбора оружия не было, вынужден был отвечать на подлые удары подлыми ударами... Одна из моих последних пресс-конференций оставила у меня довольно мерзкое воспоминание... Но именно режим сенатора Маккарти разбивал тогда судьбы двумя главными пунктами обвинения: коммунизм и гомосексуализм. Охота на ведьм,

чистки, черные списки... Помнишь? Ладно. Однажды я в дверях пресс-центра ждал своей очереди выступать. К микрофону только что поднялся Кришна Менон. Этот делегат от Индии, будущий министр обороны, был интеллектуалом, отличавшимся хрупкой нервной системой, что было отлично известно в ООН. Среди журналистов находился корреспондент уже не помню какой газеты — газеты Херста, если не ошибаюсь, — который был неистовым маккартистом. Кришна Менон уже открывает рот, как вдруг провокатор поднимается с места и бросает ему: «Господин министр, перед тем как выслушать вас, я хотел бы, чтобы вы ответили на один вопрос. Правда ли, что вы — отъявленный коммунист?» Менон, который был левым либералом, «гуманным» социалистом в духе Неру, начинает брызгать слюной, топтать ногами, вопить — и покидает трибуну. Подошла моя очередь выступать, и я знал, во что это может вылиться. Я подхожу к микрофону, и в тот же миг провокатор вскакивает с места: «Сэр, перед тем, как вы выступите, я сначала хотел бы задать вам один вопрос... Правда ли, что вы — отъявленный коммунист?» Это транслировалось по радио, и что бы я ни ответил, ты же понимаешь, вопрос был задан, тебя поместили в глазах американской общественности, в этом и состоял метод маккартистской клеветы. Я делаю вид, что усиленно размышляю, признать или нет, а затем говорю ему: «Послушайте, я охотно отвечу на ваш вопрос, но с условием, что вы сначала ответите на мой...» — «Хорошо, — говорит он, без страха и упрека. — *Shoot*, стреляйте». Я наклоняюсь к нему: «Месье, правда ли то, о чем все говорят в кулуарах, что вы — отъявленный гомосексуалист?» Парень, отец семейства с лучезарноневинными детишками, который никогда не обмакивал свой рогалик ни во что другое, кроме кофе своей жены, краснеет, как помидор, начинает бормотать, задыхается... Отрицать что-либо уже поздно, это слышали миллионы людей, это непоправимо... Так что и я тоже прибегал к маккартизму, ведь иногда приходится стрелять из чего попало. Я дал пресс-конференцию, и он ни разу не перебил меня, думаю, он помнит это до сих пор, судя по тому, что мне рассказывали... Бывают минуты, когда ты не можешь позволить себе удалиться в горные выси и подавлять противника своим нравственным величием, — драться так уж драться.

Ф. Б. *И что, ни одного светлого пятна во всем этом унынии, этом шуме и ярости, в период с 1952 по 1955 год?*

Р. Г. Ну как же!

Ф. Б. *Что же это было?*

Р. Г. Моя дружба с Тейяром де Шарденом^[86]. Он жил в Соединенных Штатах, по сути, как в эмиграции, он был на очень

плохом счету у иезуитов и особенно у Ватикана, и ему было запрещено публиковать свои произведения. Мы часто с ним виделись, и я был тронут до глубины души, узнав, после его смерти, что он хорошо обо мне отзывался в своих письмах. Я любил этого высокого капитана с профилем морского разбойника и сейчас иногда вижу его во сне: он стоит у штурвала и вглядывается в горизонт с палубы метафорического корабля, и корпус которого, и компас, и... — пусть он меня простит! — пункт назначения придуманы и выстроены им самим. Он излучал обаяние, свет, улыбку, спокойствие... Мне его не хватает. Я у него позаимствовал — я ему говорил, и это его очень забавляло — внешность сурового морского волка, а также несколько идей, которые я сильно приукрасил, для создания образа иезуита Тассена в романе «Корни неба», над которым я тогда работал...

Ф. Б. *В каких вы с ним были отношениях?*

Р. Г. Тейяр из деликатности и почтительности всегда избегал глубины в разговорах, боясь поставить собеседника в неловкое положение. Он был полной противоположностью Мальро: тот с ходу приглашает вас окунуться вместе с ним в самую суть вещей, и тоже делает это из любезности, давая вам понять, что ничуть не сомневается, будто вы способны следить за его мыслью. Беседа Мальро заключается в том, чтобы поставить вас рядом с собой на пусковой установке, сразу подпрыгнуть раз в двадцать выше себя, три раза перекувырнувшись в воздухе, плавно пролететь над диалектической структурой речи, затем подождать вас на другом конце эллипса с замечательной формулой-заключением, подкрепленной общинческим взглядом, который запрещает вам не понимать или спрашивать у него, как он тут очутился. С Тейяром это напоминало приятное плавание — тихие воды и неограниченная видимость, с Мальро — сплошные брызги, парение, резкие погружения и теряющиеся подводные лодки. Самое опасное, когда плаваешь с ним, это молчание. По правилам игры на выходе нужно оказаться в одной точке пути, достигнув полного взаимопонимания, подобно дельфинам, мчащимся, словно по американским горкам, под водой и над водой. Однажды мы говорили об истории, литературе, о Джин Сиберг, а потом вдруг Мальро изображает дельфина и исчезает где-то в безмолвии глубин. Долгая медитация бок о бок... В конце погружения он наклоняется ко мне, с таинственным видом поднимает указательный палец, нежно улыбается и произносит: «И все-таки она прекрасна!» Я подхватываю на лету — я тоже парень не промах — и отвечаю: «Да, но уязвима, уязвима... И последний фильм, в котором она снялась в Голливуде вместе с Ли Марвином и Клинтон Иствудом, только усугубил...» Физиономия

Мальро тут же становится семафором: тики начинают посылать мне тревожные сигналы... Это его манера деликатно показать собеседнику, что тот потерял контакт и оказался не там, где нужно... Видишь ли, когда он бросил мне с восхищенной улыбкой: «И все-таки она прекрасна!» — я все еще думал о Джин Сиберг, а он уже говорил о литературе... Тейяр тоже ловчил, но так, чтобы не вводить вас в смущение, подобно человеку мыслящему, который не торгует своими запасами кислорода. Он никогда не говорил со мной о Боге, никогда. Он был полной противоположностью философу Джулиану Хаксли, который перебил однажды в моем присутствии кого-то, заладившего «Бог то, Бог се», сказав: «Послушайте, я знаю Бога лучше вас, я написал книгу на эту тему». Мы вели с Тейяром легкие беседы, это была дружба, не бессмертие. Мы ходили обедать во французские ресторанчики, а иногда он приходил ко мне на Ист-Ривер. Одно из моих самых удивительных воспоминаний о Нью-Йорке — это обед у меня дома с Тейяром де Шарденом, Мальро и сэром Глэдвином Джеббом — будущим лордом Глэдвином Глэдвином — бывший посол Великобритании в ООН и кошмар советского представителя Малика, он тогда был только что назначен послом в Париже. Тейяр был сама улыбочивость, спокойствие и вежливое нежелание скрещивать с Мальро сверкающие рапиры; Мальро — сплошной фейерверк и приплясывание, а лорд Глэдвин, Глэдвин был... ну, тебе ведь известно, что в Англии художники, писатели и мыслители не допускаются в палату лордов. Одно исключение — романист Сноу, который был выдвинут лейбористами с целью *профанации*. Но Тейяр и Мальро... Да, это было что-то. Строго говоря, им было нечего сказать друг другу. Точнее, Мальро приглашал Тейяра прыгнуть вместе с трамплина, но иезуит уклонялся с изысканнейшей вежливостью. Думаю, он опасался Мальро из-за того, что могло у них оказаться общего: ибо, в конце концов, можно задаться вопросом, не является ли теология, метафизика Тейяра лишь поэзией, бельканто, высоким искусством, и не казалось ли ему не совсем деликатным ввязываться в дискуссию с человеком, который открыто — и трагически — делал из искусства метафизику, то есть тоже заканчивал в искусстве!.. Мальро, сколько я его знаю, неистово сражался за то, чтобы выпрыгнуть из литературы и добраться до Смысла, до трансцендентального, но всегда возвращался к искусству, к литературному гению, так же как мысли Тейяра неизменно грозит ужасное для науки поражение — оказаться поэзией... Критики Тейяра де Шардена всегда пытались заключить его научное мышление в рамки поэтического... Между тем искусство

как потусторонний мир — это шаманство... Тейяр и Мальро, лицом к лицу, как два воображаемых музея: один — с Богом, другой — с идолами... Мальро два часа склонял Тейяра к диалогу и высшему пилотажу, иезуит же увиливал с самой улыбчивой непринужденностью. Андре бросал ему вызов, вертикально взмывая на неслыханные высоты, но неизменно падал прямо к своим собственным стопам, в исходную точку, не сумев взлететь выше потолка: это то, что называется обращение к вселенной... И находившийся между ними посол Великобритании все больше и больше становился похож... ну, похож на Глэдвина Глэдвина. Тот день, когда я начну «Чародеев», был еще далек, но я уже тогда чувствовал, что не хватает Калиостро и Пикассо, и, разумеется, я позабыл пригласить Фауста. В итоге, сделав несколько новых сальто, удивительных по высоте, красоте и легкости, но оставшись на месте, Мальро произнес слово «Бог», и в первый раз иезуит показался мне смущенным, как если бы Андре не умел вести себя за столом. Затем надолго воцаряется тишина, я пускаю по кругу шоколадный торт, а Глэдвин Глэдвин поворачивается ко мне и недовольно произносит: «*Bloody nonsense*^[87], я не понял ни слова». Я замечаю ему, что он процитировал мне только что «Алису в Стране чудес». Глэдвин был — и есть — самый высокомерный англичанин из всех, кого я знаю, и в этом отношении Париж должен был быть единодушен. Тут наконец Мальро отворачивается от улыбающейся Китайской стены, которая не отвечала на его атаки, и яростно набрасывается на Глэдвина Глэдвина по поводу Индии. Уходя, он обронил безжалостную реплику в адрес иезуита. Заглядывает мне прямо в глаза, как он умел это делать, чтобы создалось впечатление, будто вам по-братски дозволено разделить с ним тайное знание, поднимает указательный палец и доверительным тоном, с видом человека, стирающего другого в порошок, сообщает: «Он доминиканец».

Ф. Б. Ты сказал об этом Тейяру?

Р. Г. Да. Он долго смеялся. У меня дома состоялась его встреча с Массиньоном, возможно, самым великим французским специалистом по исламу в нашем столетии... И внешностью, и умом он был полной противоположностью Тейяру — страстная душа, всегда как на углях, в тысячу световых лет от внутреннего покоя... Стальная нить, раскаленная добела, вибрирующая, в любой момент готовая лопнуть, всепоглощающая христианская вера, окрашенная исламистским мистицизмом и теми отблесками ада, какие порождает заблудившаяся сексуальность. Это создавало редкую, восхитительную арабо-иудео-христианскую музыку, прекрасный художественный вклад... У него было

хрупкое телосложение состарившегося подростка, этакий полупрозрачный седой ворон с тем черным, жгучим взглядом, что прожигает дырки на вашем пиджаке... Что-то от танцовщицы, кружащейся на месте за неимением крыльев. Тоненьким, изможденным, но трепетным, как у вечного умирающего, голосом он принялся рассказывать нам о святых Магриба... Руку он постоянно держал в правом кармане пиджака, и мне почему-то представлялось, что там у него хлебные крошки для птиц. Но после обеда мы отправились в Центральный парк, и я увидел, что там были орешки — он бросал их белкам... Улыбаясь, Тейяр сказал мне: «Он очень похож на Мориака...» По-моему, Тейяр не придавал слишком большого значения аду...

Ф. Б. *А что после Нью-Йорка?*

Р. Г. Мне предоставили трехмесячный отпуск для поправки здоровья, и я провел его в доме, который был у меня тогда в Рокбрюне, работая над «Корнями неба». Я начал этот роман в Нью-Йорке, в 1952 году, писал между полуднем и двумя часами дня, а также ранним утром, — я не мог писать по вечерам, я рано ложусь. Мне нужно девять часов сна. Я продолжил в Лондоне, куда был назначен к Массильи, но сменился посол, и Шовель отказался от моих услуг. Поэтому я еще месяц провел на юге Франции, продолжая писать. Поговаривали, что «Корни неба» — это первый роман об экологии, защите окружающей среды, но я хотел главным образом выступить в защиту среды обитания человека в широком смысле, что включает уважение к самому себе, свободу, земные пространства и великодушие.

Ф. Б. *В какой степени слоны из романа аллегоричны?*

Р. Г. Они совсем не аллегоричны. Просто в них самый большой, какой есть еще на земле, заряд жизни, а значит, страдания и счастья. Разумеется, это последние из могижан, но они настоящие, со всей их неуклюжестью, свободой и потребностью в пространстве, без которых они не могут выжить, так что они являются последними из могижан не *аллегорически*. Книга появилась восемнадцать лет назад, когда никто еще не осознавал, что такое «окружающая среда». Сегодня уже вся молодежь поняла: то, что представляет угрозу для флоры и фауны, в той же мере опасно и для человека. В то время само слово «экология» было практически никому не известно. Я попал на обед к Пьеру Лазарефф, и из двадцати присутствующих только двое знали, что оно значит. Выражение «окружающая среда» было не в ходу. Сегодня такой человек, как Ральф Нейдер^[88], — это в какой-то степени Морель из «Корней неба», и когда он начал борьбу с загрязнением во всех его видах, от рекламной лжи до химически измененных продуктов, он был один, как Морель. Не успела выйти книга, как я начал получать из Африки письма на десяти-пятнадцати страницах от одного егеря по имени Матта. Он идентифицировал себя с персонажем романа, Морелем, и принялся защищать слонов от браконьеров, добывавших слоновую кость. Несколько месяцев спустя «Пари-матч» прислал ко мне журналиста и жену Матта, и я узнал, что он погиб от пули браконьера с оружием в руках, защищая слонов. С тех пор говорят, что Матта вдохновил меня на написание «Корней неба», но достаточно взглянуть на хронологию событий, чтобы понять, что это не так.

Ф. Б. *Ты был разочарован, когда новый посол отменил твое назначение в Лондон?*

Р. Г. Да. Но заметь, я его понимаю. Мне было бы сложно служить под началом юного поэта. Посол Жан Шовель был выдающимся послом, но он также был молодым поэтом, который только что опубликовал свои первые сборники, а поскольку мои книги были уже переведены во многих странах, и в Англии в том числе, то, разумеется, меня бы несколько тяготило его присутствие в моем окружении...

Ф. Б. Однажды, обедая у одного писателя на площади Пантеона, я слышал, как один французский посол сказал о тебе: «Согласитесь, что Ромен Гари не обладает внешностью французского дипломата».

Р. Г. Хотел бы я знать, что это такое, «внешность французского дипломата», ну да ладно, его реакция понятна. Пожилой господин, о котором ты говоришь, и тот, другой, отклонивший мое назначение в свое посольство в Афинах, — что тут же положило конец его карьере, — защищали свое представление о самих себе. Тот, кого ты цитируешь, к примеру, написал одному из своих бывших сотрудников, просившему о какой-то протекции: «Знайте же, владыка, возможно, и есть, но фаворитов нет», — тогда как фаворитов, возможно, и не было, но вот владыки-то уж не было точно. Он был буржуа, которому принадлежность к «касте» Орсе — во времена «большого конкурса» — позволяла питать аристократические иллюзии. В 1945-м — это год моего появления на набережной Орсе — я входил в группу «свободных французов» и участников Сопротивления, — Жорж Бидо и Жильбер, директор по персоналу, набрали ее, чтобы освежить воздух в министерстве, сам его дух, определявшийся понятиями «большой конкурс» и «от отца к сыну», но были и другие причины... Жильбер сказал, вызвав меня к себе: «Главное, оставайтесь таким, какой вы есть. Не пытайтесь походить на них... Нам нужны ветераны и нужны новички». «Ветераны», которым было труднее всего смириться с нашим допуском в члены этого «жокей-клуба», были не «принцами» — аристократы привыкли к революциям, — а буржуа, которые, напуская на себя вид людей, «ущемленных» нашим вторжением, обеспечивали себе таким образом психологическое подтверждение своей «аристократичности». Их отношение к нам напоминало Саломона Гольденберга, новоиспеченного британского гражданина, который велит лучшему портному с Сэвил-Роу одеть его как истинного английского джентльмена. Когда все безукоризненно и у нашего «принца» есть и складной зонт, и *derby-hat*^[89], портной, окинув взглядом свое творение, с ужасом замечает слезу, скатывающуюся по щеке Саломона Гольденберга, эсквайра. «Мистер Гольденберг, сэр! — восклицает

он. — Почему вы плачете?» И Гольденберг отвечает сквозь слезы: «Мы потеряли империю...»

Сокрушаясь по поводу нашего прихода в министерство — нас называли «дополнительные кадры», — уважаемый буржуа-посол, которого ты мне цитируешь, без каких-либо усилий запасался подтверждением того, что принадлежит к принцам и что аристократии угрожают «высочки». *Истинные* никогда не ощущали никакой угрозы, и я не могу назвать здесь — они были бы возмущены — всех великих, в смысле ценности, сеньоров Дипломатической Карьеры, которые проявили в отношении нас самую неподдельную объективность. Но как же я веселился первое время, когда, оказываясь в кабинете у того или иного «начальника», щадившего то, что он считал моим «комплексом неполноценности» — которого, по его убеждению, у меня не могло не быть, — я старался приободрить его, ибо, желая вести себя со мной естественно, он принимал смущенный, принужденный и почти виноватый вид... Сладостное чувство! Я вошел в Министерство иностранных дел с улыбкой и вышел из него улыбаясь. Я их всех люблю. И здесь надо сделать замечание общего характера. Каждый человек имеет право на свой внутренний мир. У каждого из нас есть свои предрассудки. У каждого есть тайные фобии, маленькие психические отклонения. Это никого не касается, при неперемennom условии, что мы не извлекаем из этого никакой практической выгоды в общественной жизни или в том, как мы исполняем обязанности, возложенные на нас Республикой. Это больше, чем правило демократии: это правило цивилизации. Что касается меня — знаю, это может показаться претенциозным, но все же я надеюсь, что будет понятно, что именно я имею в виду, говоря, что Министерство иностранных дел с кристальной честностью выдерживало испытание Роменом Гари в течение пятнадцати лет.

Ф. Б. *После инцидента в Лондоне ты попросился на другую должность?*

Р. Г. Я никогда не просил должности, я ждал, пока меня куда-нибудь назначат. Несовместимость между двумя столь разными по рангу писателями в Лондоне сыграла мне на руку. Послом в Вашингтоне тогда был Кув де Мюрвиль, и по совету своего первого советника Шарля Люсе, сегодня нашего посла в Риме, он сделал так, что мне предложили Лос-Анджелес. Это было благословение свыше, поскольку Генеральное консульство в Лос-Анджелесе — это не только Калифорния, это также Аризона и Нью-Мехико. Я прибыл на место в феврале 1956 года, с почти завершенной рукописью «Корней неба». Консульство находилось в Голливуде, оно размещалось в восхитительном здании,

построенном, как там говорят, в «испанском» стиле, с рабочими кабинетами на втором этаже и квартирами дипломатов на первом; все было пропитано запахом жасмина и со всех сторон окружено той полутропической растительностью, что в Калифорнии мгновенно вступает в свои права, стоит найтись незастроенному клочку земли. Впрочем, большая часть деревьев там тоже иммигранты, например эвкалипты и пальмы, и они адаптировались там так же хорошо, как и другие иммигранты — русские или итальянцы. Секретарши, тщательно отобранные моим предшественником, были восхитительны. Предыдущий вице-консул уехал вместе с кассой, его пришлось вылавливать в Мексике, и после недолгой отсидки в тюрьме он стал крупье в Монте-Карло. Я удостоился торжественного приема, устроенного французской колонией, председательствовал на нем некий маркиз де Лафайет, командор ордена Почетного легиона, адъютант Петена во время Первой мировой войны, — и все это была полная липа. Выслушав его речь и выступив с ответной, я пригласил его к себе в кабинет и дал ему две недели на то, чтобы подать в отставку и исчезнуть, что он охотно и сделал, сказав: «Что вы хотите, это было слишком прекрасно». У этого типа была сумасшедшая выправка, и ему не один год все сходило с рук. Мне стоило немалых трудов установить контакт с французской колонией, и только телефонистка объяснила мне в конце концов, что происходит. Один из моих ближайших сотрудников придумал забавную штуку, чтобы отрезать меня от колонии и занять мое место во французской диаспоре. Всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел увидеться со мной или поговорить по телефону, он объяснял им: «Господина генерального консула нельзя беспокоить, он пишет роман». Понимаешь, какое это производило впечатление? В конце концов все уладилось. Два моих первых официальных визита были связаны с христианством и с еврейским юмором: кардинал Макинтайр^[90] и Граучо Маркс^[91].

Ф. Б. *Я хотел бы прервать тебя и подробнее остановиться на проблеме христианства. Иначе в этом словесном галопе мы рискуем потерять все точки опоры... Ты католик?*

Р. Г. Стал случайно. Я католик по техническим причинам. В глазах моей матери это была частица Франции, французского удостоверения личности. Хотя она и не выражалась таким образом, это было культурным крещением. И ты правильно сделал, что прервал меня. Я охотно дам разъяснения, потому что это касается моего рождения, корней, моего выбора... Давай.

Ф. Б. *Твоя мать была русской еврейкой, она ходила к попу, когда стремилась найти утешение в церкви. Твой отец принадлежал к греческой православной церкви, и я хочу прямо*

спросить тебя, действительно ли твоим отцом был Иван Мозжухин — без сомнения, величайшая звезда европейского немого кино двадцатых годов, до прихода звука, европейский Рудольфо Валентино.

Р. Г. Ладно. Еще до моего рождения мать вышла замуж за русского еврея по имени Леонид Касев, который подал на развод вскоре после моего появления на свет. Моя мать была скромной актрисой, она не обладала, как мне говорили, большим талантом, но была страстно влюблена в театр. Когда мне было шесть лет, я видел ее на сцене в Москве, практически в массовке: она играла очень пожилую женщину, которую эвакуировали из охваченной пожаром деревни. Двое мужчин поддерживали ее, пока она с трудом пересекала сцену. Впоследствии один из этих актеров, эмигрировавший в Ниццу, объяснил мне, что не было никакой возможности заставить мою мать пересечь сцену, она цеплялась за что попало, стремясь продлить свою роль, ее приходилось подталкивать, чтобы заставить расстаться с огнями рампы. Мозжухин, с которым она познакомилась до моего рождения, несомненно, был большой любовью ее жизни. Что же касается нашего родства, все очень просто. После смерти матери, в Ницце, одна русская дама забрала всю переписку между моей матерью и Мозжухиным, хранившуюся в семейном сундуке, в пансионе «Мермон». Эта дама — ее звали мадам Виноградофф — построила когда-то дом, где и находился наш отель-пансион, но затем разорилась и в последние годы жизни работала там консьержкой. Она показала письма всей русской диаспоре Ниццы, попам, в русском бистро на бульваре Гамбетта, моей кухне, всем, кого она знала. С той поры слухи о том, что я — сын Мозжухина, из русской колонии в Ницце пошли гулять по всему свету. Но эти письма были священной собственностью моей матери. Никто не имел права совать в них нос. Мать никогда мне не говорила, что Мозжухин мой отец, и тем не менее я часто видел этого человека у нас в отеле. Он появлялся в «Мермоне» всякий раз, когда снимался на Лазурном Берегу.

Ф. Б. *Твоя мать знала, что скоро умрет. И тем не менее она не уничтожила эту переписку. Насколько я ее знал, это наверняка что-то значило. Не должен ли ты заключить, что она хотела, чтобы ты нашел эти письма?*

Р. Г. Допустим. Разумеется, я думал об этом. Я сотни раз размышлял над смыслом этого «целомудренного» послания, полученного, когда я уже не мог увидеть, как она «краснеет». Но за двадцать пять лет моей жизни она мне ничего не сказала. А ведь она мне всегда все рассказывала. И Мозжухин часто бывал у нас дома. Но нет, ничего... ни слова. Так что, к черту! Это я по

поводу этого гребаного вопроса. Что касается религии, то я — неверующий католик. Хотя правда и то, что я питаю — и всегда питал — большую слабость к Иисусу. Впервые в истории Запада луч женственности озарил мир, но все попало в мужские лапы, и начались крестовые походы, истребление неверных, обращение насильно в другую веру, ересь, ну и все такое. Христианство — это женственность, жалость, нежность, прощение, терпимость, материнство, уважение к слабым, Иисус — это слабость. Я тебе уже говорил, что во мне есть что-то собачье, некий инстинкт, определяющий весь мой характер, и если бы я встретил Иисуса, я тут же завилял бы хвостом и дал ему лапу. На мой взгляд, речь здесь идет о человечестве, а не о потустороннем мире, о человеческом, а не о божественном. Однако посмотри, чем это стало в руках мачо. Иисус, Возрождение сделало из него высокую моду, а дешевое церковное искусство — готовое платье. После чего буржуазия сделала из него фиговый листок. Он был человеком. Я всегда хотел пожать ему руку. Конечно, он больше не попадает на глаза, поскольку демография все запутывает, но он по-прежнему поддыхает где-то среди нас. Есть потерявшиеся Иисусы, клянусь тебе. В первом году нашей эры первый луч материнской нежности одарил эту землю, появился зародыш цивилизации, но пока будут душить, подавлять, высмеивать женственность, никакой цивилизации не будет.

Церковь опростоволосилась с христианством, христианство опростоволосилось с братством и стало использовать его в громких целях на всех углах. Братство теперь только и делает, что шумит. Материализм сгодился лишь на то, чтобы подготовить конец материализма. Он стал самоцелью, так что цивилизация ставит перед нами лишь одну проблему — проблему сырьевых ресурсов...

Ф. Б. В «Повинной голове», как и в «Тюльпане», стремление к чистоте и почти к святости пресекается буффонадой и гротеском всякий раз, когда героя начинают мучить сомнения и жажда абсолюта... В романе один Иисус всегда выходит невредимым из испытаний, которым ты подвергаешь все ценности, растворяя их кислотой цинизма и любви...

Р. Г. Был человек. Его тут же сослали в иной мир. Но для меня он не инопланетянин. Он был человеком, одним из наших. Что же до остального, ко всему, что было сделано и что не было сделано именем Христа, наш герой отношения не имеет. Произошло соращение совершеннолетнего с пути истинного. Если ты интересуешься мифом о человеке, этой частичкой поэзии, которая, единственная, отличает нас от рептилии, ты проходишь через Иисуса. С той минуты, как ты уничтожаешь в человеке его

поэтическую часть, его воображение, не остается ничего, кроме тухлятины. Ты хоть понимаешь, что с Иисусом мы получили все, что нужно, чтобы построить цивилизацию, и даже Церковь? И во что это вылилось? Во что вылилось? В полемику о божественности спермы, о противозачаточных таблетках, вот где будут искать...

Ф. Б. *Зачем же так орать, уже поздно, соседей разбудишь!*

Р. Г. Ты разбудишь их телевизором, а не Христом. Те, кто пытается использовать мое творчество в религиозных и клерикальных целях, ничего в нем не поняли. Я люблю этого человека. Впервые мужчина заговорил в женском роде — с жалостью, нежностью и любовью. Это был первый лепет женственности, первый протест против господства жестокости, первая проба нежности и слабости. И во что это превратили *мачо*? В реки крови. Впервые в истории Запада мужчина осмелился говорить, как если бы существовало материнство. Впервые что-то, кроме полового члена, встало на Западе. Голос Христа был женским голосом. В нем не было жестокости, мачистского акцента...

Ф. Б. *Как получилось, что во всех твоих книгах каждая страница проникнута обостренной чувствительностью, в то время как в жизни ты производишь впечатление стального человека?*

Р. Г. Стальные люди — это денежные люди. Золотые мешки. Читатели «Обещания на рассвете», и особенно читательницы, после встреч со мной всегда бывают разочарованы тем, что не обнаружили во мне маменькиного сынка. Взгляни на это письмо, единственное, что я вставил в рамку, последнее, написанное за несколько часов до ее смерти: *Я благословляю тебя... Будь мужественным, будь сильным.* Нет, первое слово не «мужественный», оно было сказано по-русски, и оно непереводимо: *сильный и крепкий...* синонимы, обозначающие *несгибаемый*. Добавь к этому, что я вовсе не красавец, у меня левосторонний парез лица, а нос нужно постоянно вправлять после авиакатастрофы, в которую я попал во время войны, — именно это и придает мне выражение мужественности и сдержанности, безучастности. Я говорю это, потому что на сей счет до сих пор ходят разные толки.

Ф. Б. *Ты в своей шкуре чувствуешь себя комфортно?*

Р. Г. Думаю, я не заслуживаю такого вопроса. Человек, которому «комфортно», либо безумец, либо подлец. Никто не может быть в своей шкуре, не находясь также в чьей-нибудь еще, а это должно порождать кое-какие проблемы, так? Много лет назад Артур Кестлер спросил меня: «Почему вы всегда

рассказываете истории против самого себя?» Кестлер — один из умнейших людей нашего времени, и заданный им вопрос меня ошеломил. Я рассказываю истории не против себя, а против «я», против нашего маленького царства «я». Я уже распространялся на эту тему и не хочу к ней возвращаться, но «я» всегда в высшей степени комично и имеет слишком явную тенденцию об этом забывать. Конечно, это «я» иногда дает замечательные плоды, но приходится регулярно срезать ветви, как у всех растений. Юмор с этим очень хорошо справляется. Во Франции, правда, с юмором сложно, у нас индивидуалистическая страна, и это означает, что «я» имеет право на все знаки почтения. «Шутовство» во французском языке имеет уничижительный оттенок. Но если ты вернешься в прошлые века, к истокам любой народной борьбы, то обнаружишь буффонаду, шутовство: это был единственный способ держать удар и одновременно нападать для тех — знание тогда являлось привилегией избранных, — кто не имел в своем распоряжении ни одного из элементов структурированной речи...

Ф. Б. *В этой мозаике твоей личности, составленной из разнородных элементов — русско-азиатского, еврейского, католического, французского, — какой компонент тебе, автору, пишущему романы на французском и на английском, говорящему по-русски и по-польски, представляется главным?*

Р. Г. Тот, что ты не упомянул в своих перечислениях: «Свободная Франция». Это единственное реальное человеческое сообщество, которому я принадлежал целиком. Я тебе уже говорил, что не верю в «людей на все времена», вот почему мне, например, казалось невозможным перейти от этого голлизма — «Свободной Франции» и Сопротивления, — который был моим эпизодом истории, к голлизму политическому, который мне всегда был безразличен.

Ф. Б. *Все-таки в тебе было то, чему ты оставался верен всю жизнь...*

Р. Г. Это было не во мне, это было в де Голле. Он нас ни разу не предал, в том смысле, что всегда оставался тем, в кого мы поверили в 1940 году.

Ф. Б. *Не мечтал ли ты о сообществе за рамками политики, об идее, родившейся из Сопротивления, как Камю в 1944-м?*

Р. Г. Я действительно мечтал об этом, как и многие другие, во времена большой беды, в годы войны 1940-1944-го, но сегодня...

Ф. Б. *Сегодня?..*

Р. Г. В политическом плане я стараюсь мечтать о реальных вещах...

Ф. Б. *Ты — романтик?*

Р. Г. По отношению к дерьму — да.

Ф. Б. *Очевидно, эта мозаика временами создает тебе проблемы своими разнородными составляющими?*

Р. Г. Была проблема, одна-единственная, в ноябре 1967-го. Я тогда был членом кабинета министра информации, а де Голль только что дал пресс-конференцию, где он обронил свою знаменитую фразу о «еврейском народе, народе отборном, властном и уверенном в себе». Это звучало очень лестно, поскольку вообще-то это Франция в течение тысячи лет своей истории была отборным народом, уверенным в себе и властным, и я, впрочем, говорил об этом по радио, не вызвав ни малейшего возмущения. Но когда старик произнес эту фразу, «разнородные составляющие», о которых ты говоришь, столкнулись лбами, и один из них, еврейский, потребовал уточнений. Я обратился к де Голлю от имени моих «разнородных составляющих». Я ему сказал: «Мой генерал, жил-был один хамелеон, его положили на зеленое, и он стал зеленым, его положили на синее, и он стал синим, его положили на шоколадное, и он стал шоколадным, а потом его положили на шотландский плед, и хамелеон лопнул. Так вот, могу ли я попросить вас уточнить, что вы подразумеваете под „еврейским народом“ и означает ли это, что французские евреи принадлежат к народу, отличному от нашего?» Он воздел руки к небу и сказал: «Но, Ромен Гари, когда говорят о „еврейском народе“, всегда имеют в виду библейский народ». Он был хитрым лисом. Примерно такой же ответ он дал Лео Амону, когда тот был у него на приеме.

Ф. Б. *В 1934-м или 1935-м ты ездил в Варшавский университет из-за своего диплома по славянским языкам. Ты был французом и католиком. Известно, что в польских университетах поляки-католики сидели вместе, а для поляков-евреев были выделены специальные скамейки. Ты постоянно садился с поляками-евреями и постоянно получал по физиономии от поляков-христиан, потому что в твоём досье было отмечено, что ты католик, и они хотели запретить тебе сидеть с евреями.*

Р. Г. Я высказался на эту тему в «Белой собаке». Я — прирожденный представитель меньшинства. В Варшавском университете я садился рядом с теми, кто был в меньшинстве. Я против тех, кто сильнее всех.

Ф. Б. *Что это значит для тебя — быть евреем?*

Р. Г. Чувствовать, что тебя все достают.

Ф. Б. *А Израиль?*

Р. Г. Увлекательно. Мне также очень нравится Италия. Думаю, Италию я предпочту любой другой стране.

Ф. Б. *А если бы Израильскому государству пришлось исчезнуть,*

а его население было изгнано из страны, ты разве не почувствовал бы себя униженным?

Р. Г. Униженным — нет, выбитым из колеи — да. Но был бы я выбит из колеи по гуманным соображениям или же страдала бы моя еврейская составляющая? Я не ощущаю себя в состоянии ответить на твой вопрос и, надеюсь, никогда не окажусь в таком состоянии.

Ф. Б. *Но ты наполовину еврей, ты можешь выбирать...*

Р. Г. Давай-давай, умничай, с этой ухмылочкой... Наполовину еврей — я не знаю, что это значит. Наполовину еврей — это наполовину зонтик. Это понятие в ходу и у маньяков-расистов из Израиля. Вот сейчас я тебе докажу. Несколько лет назад я получил письмо из Тель-Авива — не помню уже, от какой организации, — в котором меня спрашивали, не хочу ли я попасть в ежегодный справочник «Кто есть кто в еврейском мире». Пораженный такой широтой мышления, я соглашаюсь, заполняю и отсылаю анкету. На что эти роконосыцы отвечают мне путаным письмом, из коего явствует, что я не обладаю данными, необходимыми для того, чтобы считаться евреем. Понимаешь, они даже более придирчивы, чем Розенберг и Гиммлер... Это они решают, кто имеет право на газовую камеру, а кто нет... Я в бешенстве напоминаю им, что моя мать была иудейкой, еврейкой, и что у нас ведь, кажется, мать считается главной, и заявляю, что если меня не включают в «Кто есть кто в еврейском мире», то я им устрою скандал на весь мир... Мертвая тишина, затем мне наносят очень вежливый, дипломатический, в прямом смысле этого слова, визит, в ходе которого меня целый час потчуют техническими, государственными и теологическими объяснениями, из которых следует, что там у них закон решает, кто имеет право на газовую камеру, а кто нет... У немцев в этом смысле были более широкие взгляды.

Ф. Б. *Все же ты католик...*

Р. Г. Свидетельствами о рождении страну не создают, будь то Израиль или любая другая страна. Есть же египтяне-копты... После Первой мировой войны пресловутый «генерал» Коэн, американский авантюрист на службе у Чан Кайши, очутился в Шанхае. В Китае тогда были — есть наверняка и сейчас — китайцы-иудеи со своей синагогой. Однажды в пятницу вечером Коэн идет туда молиться. Китайцы с любопытством смотрят на него, но ничего не говорят. Когда молебен закончился, китайский раввин подходит к Коэну и спрашивает: «Простите, что вы делаете среди нас?» — «Молюсь, — отвечает Коэн. — Я еврей». Тогда китайский раввин разглядывает Коэна и качает головой: «Вы совсем не похожи на еврея...» Израильтяне строят из себя

китайских раввинов.

Ф. Б. Я прочитал в журнале «Пуэн» от 1 марта, что служба военной безопасности во Франции начала расследование на оружейных и авиационных заводах, где работают инженеры и техники еврейской национальности... В службе военной безопасности считают, что среди них, возможно, есть израильские шпионы.

Р. Г. Шеф службы военной безопасности сам еврей.

Ф. Б. Ты уверен?

Р. Г. Если то, что я говорю, ложь, он может подать на меня в суд за клевету... Франсуа, дружище, у меня есть свой метод, который я рекомендую и тебе. Когда Глупость вокруг нас становится слишком сильна, когда она твякает, визжит и свистит, приляг, закрой глаза и представь, что ты на пляже, на берегу Атлантического океана... Когда самая мощная духовная сила всех времен — идиотизм — снова заявляет о себе, я всегда зову на помощь голос моего брата Океана... И тогда во мне поднимается, идущий из глубины нашей старой ночи, освобождающий гул, всемогущий голос, говорящий от нашего имени, ибо только мой брат Океан обладает вокальными данными, которые нужны, чтобы говорить от имени человека... Но что бы ни случилось, я никогда не подпишусь под высказыванием Валленрода: «Я бы хотел быть убитым людьми, дабы быть уверенным, что умираю на стороне правых...»

Ф. Б. Должен ли я придавать особое значение тому факту, что свой первый официальный визит, когда ты приступил к обязанностям Генерального консула в Лос-Анджелесе, ты нанес кардиналу Макинтайру?

Р. Г. Это был чисто профессиональный визит. Кардинал Макинтайр — в прошлом бизнесмен, ударившийся в религию банкир — стал самым искусным администратором католической церкви в Соединенных Штатах. Его банковское прошлое, духовный авторитет и репутация законченного реакционера позволяли ему оказывать огромное влияние на представителей деловых кругов Калифорнии. А наш престиж в тот момент упал до самого низкого уровня, это сразу же бросалось в глаза на всех коммерческих переговорах. В 1956-м нас считали не только «больным человеком Европы», но еще и человеком в высшей степени заразным. Так что я пошел к Макинтайру, чтобы немножко ему польстить. И знаешь, о чем он меня тут же спросил? Он спросил, правда ли — уточнив, что эта информация у него от американских коммерсантов, — правда ли, что де Голль был агентом Москвы и генерал Кениг готовил коммунистический путч во Франции. Это, старик, историческая правда, именно так

был сформулирован вопрос, который задал мне в 1956-м один из самых могущественных прелатов американской церкви, после чего я еще больше утвердился во мнении, что самая мощная духовная сила всех времен — Глупость. Эта «информация» от кардинала Макинтайра впоследствии проникла в крупнейший американский еженедельник «Лайф» и легла в основу американского бестселлера «Топаз» Леона Юриса, написанного по «документам», предоставленным бывшим сотрудником службы контрразведки в Вашингтоне. Поэтому ты не удивишься, что свой второй визит, после этой памятной встречи с князем Церкви, я нанес Граучо Марксу, которого я считаю, вместе с У.К. Филдсом, самым выдающимся комиком кино и американского бурлеска. Это был незабываемый визит, потому что Граучо, увидев, как я пришел, со шляпой в руке, блаженно улыбаясь от восхищения, постарался произвести на меня самое что ни на есть ужасное впечатление — растоптать мое восхищение. Я использовал этот прием в романе «Повинная голова» в характере Матье, человека, который проявляет неуважение ко всему, что уважает. У Граучо был задумчиво-злой взгляд, ищущий, где у вас слабое место и куда лучше воткнуть бандерильи. Со мной он буквально превзошел себя в искусстве провокации. Он предлагает мне сесть, протягивает блюдо с оливками и говорит: «Возьмите оливку. Не мою жену Оливию, а одну из этих». Согласись, ничего особенно остроумного в этом нет, но я сделал «ха-ха-ха!» из жалости; он принял довольный вид, в то время как взглядом молча говорил мне: «Бедняга». «Вы дипломат?» Я кивнул. Я уже знал, что он сейчас выложит мне все самое жалкое в смысле «острот», чтобы пройти по моей персоне. «А дипломатической почтой вы импортируете или экспортируете?» Я сделал «ха-ха-ха!», и он посмотрел на меня с удовлетворением, презрением и глубоким отвращением. Он развалился на диване, затем говорит мне: «Моя жена вышла. Вы напрасно беспокоились». Я, разумеется, давился от смеха. «Кажется, вы знакомы с моей свояченицей?» Его свояченица Ди была тогда женой Говарда Хокса, это она организовала мне встречу. Когда ты рядом с великим профессионалом смеха, тебя тянет смеяться все время, это по Павлову. Я громко расхохотался, безо всякой причины, при упоминании о его свояченице Ди, и он не мешал мне, ожидая, когда я увязну еще глубже. Клоуном, по его мнению, был я. Наконец, в паузе между судорожными смешками, мне удалось сказать ему, что да, «хо-хо-хо!», я знаком с Ди, женой, «хо-хо-хо!», Говарда Хокса. Он наблюдал за мной с каким-то гастрономическим, не лишенным отвращения любопытством, он не был уверен, что я съедобен. «Говард на сорок лет старше своей

жены, а я на сорок лет старше своей. Интересно, как вы об этом узнали?» Впору было отчаяться: он обрушивал на меня свои шутки без всякой жалости и был чрезвычайно доволен — мой смех становился все более нервным, и из-за этого его презрение ко мне только росло. Он занимался этим целый час, с садизмом, и лишь после того, как подверг меня этому испытанию, стал простым и человечным. Я был Генеральным консулом Франции и выстоял перед кислотой неуважения. В тот вечер он пригласил меня на премьеру. Голливуд был еще на вершине славы, и тамошняя премьера означала пробки на улицах и огромные толпы людей. На входе какой-то тип бросает в сторону Граучо: «Граучо, ты забыл свою сигару?» Старик повернулся ко мне и сказал: «Не выношу этих мерзавцев, *I hate their guts*». Такой была реакция старика, который в течение пятидесяти лет смешил людей и которого его зрители считали не актером, а всего лишь шутом. Когда умирал У.К. Филдс, мэтр агрессивного бурлеска, в соседней комнате *gagmen*, профессионалы шуток и комических приемов, пытались написать для него смешные «предсмертные слова». В последний момент их позвал врач, они пришли и шепнули их Филдсу на ухо — эту *joke* перед уходом в вечность. Он так разозлился, что продержался еще целых три недели. У.К. Филдс, Чаплин, Граучо Маркс оказали на меня самое сильное литературное влияние. «Граучо» происходит от *grouch* — брюзга... Не существует демократии, никаких мыслимых ценностей без этого теста на неуважение, на пародию, без этой атаки насмешкой, которой слабость постоянно подвергает силу, чтобы убедиться, что последняя остается человеческой. Как только сила перестает быть человеческой, она прекращает этот тест огнем. Есть священные шуты, которые одни способны заставить нас почувствовать, что свято, а что обман... Я взываю к ним почти во всех моих книгах. Это «Тюльпан», это Бебдерн в «Цветах дня», Чингиз-Хаим в «Пляске Чингиз-Хаима», Матье в «Повинной голове», это я сам... Подлинные ценности выдерживают, ложные сохраняются благодаря цензуре, тюрьме, психбольницам.

Ф. Б. Что такое был Голливуд в ту великую эпоху?

Р. Г. Это была уже не совсем великая эпоха, но они этого не знали. В 1947-м, то есть за девять лет до моего прибытия, когда началось победоносное шествие телевидения, цари Голливуда этого не заметили, и вместо того, чтобы захватить его, — а они могли это сделать, поскольку в их руках были студии, актеры, авторы и тысячи фильмов в их библиотеках, — они повели себя как все цари, когда возникает угроза революции: они в это не поверили. Все они были ликвидированы или проглочены за десять — двенадцать лет. Однако в 1956-м они еще могли пускать

пыль в глаза. Крупные владельцы студий, все те, кого называли гигантами, считали себя суперсамцами, это были люди, которые так и не решили своих детских проблем. Результатом стало ненормальное раздувание мачизма в форме «могущества»: могущества сексуального, могущества денег, подавления слабейшего, презрения к слабости, потребительского отношения к женщине. Во главе студий стояли такие личности, как Кон, Занук, — люди, для которых не существовало слова «нет» со времени их восхождения на трон. Существовала беспощадная иерархия. «Великие» общались лишь с «великими», и в Голливуде я присутствовал лишь на «горизонтальных» обедах: я имею в виду, что они общались между собой иерархически, на одинаковом уровне богатства, успеха и могущества. Они никогда не общались «вертикально»: ты никогда не встретил бы у них дебютанта, новичка, начинающего актера, режиссера или продюсера, «подающее надежды» юное дарование. Это была пирамида, в которой каждый этаж был тщательно обозначен в смысле успеха, денег, удачи. Иначе говоря, ты постоянно видел одни и те же рожи, незамужнюю молодую женщину встретить было практически невозможно, потому что супруги этих господ пребывали в страхе, как бы какая-нибудь новенькая не проникла в их замкнутый круг и не отняла законного спонсора. Самый типичный случай — думаю, она мне простит за давностью лет — произошел с Патрицией Нил. Она приехала из Нью-Йорка, где работала в театре, и после одного или двух фильмов, казалось, должна была стать новой голливудской кинозвездой. К несчастью, она влюбилась в Гари Купера, а Гари, будучи женатым, влюбился в нее и начал поговаривать о разводе. Это было нечто ужасное. Все голливудские кумушки с вершины пирамиды объединились против Патриции, и большие начальники, осуществлявшие право первой ночи на диванах в своих студийных кабинетах, но ратовавшие за высокую нравственность, семью и религию, буквально вытолкали ее из Голливуда. Есть две-три любовные истории, которые устояли, — самой прекрасной из них, на мой взгляд, была история Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси, который тоже был женат. Я редко встречал в своей жизни женщин, которые были бы так преданы мужчине, как Кэтрин Хепберн Спенсеру Трейси. Это продолжалось двадцать лет, и весна была с ними до самого конца. Когда, уже будучи больным, Спенсер Трейси согласился сняться на Мартинике в фильме с Фрэнком Синатрой, Кэтрин Хепберн отправилась на Мартинику, чтобы организовать доставку для него диетических продуктов. Любовь имела очень мало шансов в кругах, где все строилось на конкуренции между *мачо*, на соперничестве в

сексуальной мощи и на играх «кто кого». В этих случаях мерилом меры служат член и деньги, а любовь бродит где-то там, среди мелкоты. Мне вспоминается один агент, который после приема у Дэнни Кея дрожащим от волнения голосом сказал мне на выходе: «Вы хоть понимаете, что там было зрелище на тридцать миллионов долларов?» У каждого «великого» имелось свое маленькое королевство, где все чужое или непохожее было нежелательно, наводило страх, потому что это маленькое королевство «я» зиждилось на условностях ложных ценностей, которые в любой момент могли быть поставлены под сомнение проникновением некой подлинности извне. Вокруг всего этого крутились агенты, получавшие десять процентов с каждого контракта, они так взвинчивали цены, что провоцировали падения. После большого успеха агенты вдруг вознесли Джули Эндрюс на невероятную высоту: миллион долларов гонорара за фильм плюс десять процентов кассовых сборов, — и когда ее два следующих фильма провалились в прокате и деньги были потеряны, она рухнула как «ценность». Ведь самое драматичное в этих ситуациях было то, что если ты получал миллион долларов за фильм, ты уже не мог согласиться на восемьсот тысяч за следующий, поскольку это означало, что твоя котировка падает, что ты теряешь скорость. В Америке существует очень суровый закон, ограничивающий монополии, но только не монополии агентов. К примеру, в MCA были самые великие звезды, самые великие режиссеры, сценаристы, художники, и если тебе нужна была звезда, они навязывали тебе все остальное и диктовали цены, это то, что называлось *package deal*. Преклонение перед успехом было там ужасающим. Внешний мир не существовал, ценности иные, нежели кассовые сборы, ничего не значили. Как-то раз Фрэнк Синатра пригласил меня к себе провести вечер в узком кругу. Был там и знаменитый агент Ирвинг Лейзер, лицо которого очень напоминало колено, на которое надели очки. Я его недавно видел, и он не меняется с годами: по-прежнему его лицо напоминает колено, на которое надели очки. Когда я вошел, он остолбенело посмотрел на меня и сказал: «Как так получилось, что он вас пригласил?» Жалкого представителя Франции, понимаешь ли... Однажды Фрэнк Синатра заскочил на пять минут на прием, который я давал, и в тот же день мои ставки пошли вверх. Одно из самых ошеломляющих моих воспоминаний — это визит самого Сесила Б. де Милля, возможно, самого выдающегося производителя костюмных фильмов в истории Голливуда, ну ты знаешь, первый «Бен Гур», «Десять заповедей» и масса еще таких гигантских лент... Он был глубоко верующим человеком и принадлежал к тем голливудским деятелям, таким как Джон

Форд и Джон Уэйн, которые вели безупречную семейную жизнь. Он был очень болен и хотел орден Почетного легиона. Но хотел он его не для сего мира. Он хотел надеть орден Почетного легиона, чтобы предстать перед Богом, — это вовсе не моя выдумка, так он мне сказал, слово в слово, это было правдой, было искренне. Я, разумеется, мог бы часами рассказывать тебе о Голливуде, потому что подобного в истории денег никто еще не видел, но я резюмирую тебе все это в одном-единственном эпизоде. Как-то раз вечером меня пригласили к Биллу Гецу, одному из крупнейших продюсеров того времени. У него было необыкновенное собрание импрессионистов, включая автопортрет Ван Гога, более сорока полотен Сезанна, Моне, Боннара, Мане, — одна из самых тщательно подобранных коллекций, полюбоваться которой приезжали знатоки со всего мира. После ужина все устраиваются в креслах; Сезанн, Моне и Ван Гог поднимаются в потолок, опускается экран, из стены, в том месте, где только что находился автопортрет Ван Гога, высовывается проекционный аппарат, и начинается показ бездарнейшего фильма «Бунт Мэнни Стауэр» с Рональдом Рейганом, который считался тогда в Голливуде второсортным актером, а сегодня он — губернатор штата Калифорния и один из вероятных кандидатов от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов на предстоящих выборах.

Ф. Б. Ты с ними со всеми был знаком?

Р. Г. Да. И несмотря на то, что я тут о них говорю, они меня завораживали — ведь я романист, и когда ты видишь, как у тебя перед глазами мельтешат священные чудовища, которые верят тому, что о них рассказывают их рекламные агенты, это слишком притягательно — и зачастую трагично. Прибавь к этому, что среди больших кинозвезд были и такие богини, которые едва умели читать и писать: наткнувшись на типа, который видел в них не только задницы и деньги, но и людей, они зачастую проявляли потрясающее смирение и благодарность.

Ф. Б. Ты был знаком с Мэрилин Монро?

Р. Г. Очень мало. Нас познакомили у Руперта Аллена и Фрэнка Маккарти.

Ф. Б. Какой она была, Мэрилин?

Р. Г. Это была девушка, которая не знала, как себя вести, когда ты Мэрилин Монро, и что такое Мэрилин Монро, и что надо делать, чтобы остаться Мэрилин Монро. Когда из тебя сделали «миф», будь ты Лана Тернер или Ава Гарднер, ты всегда Мэрилин Монро, это все та же огромная часть ирреального, и если эта огромная часть ирреального вступает в конфликт с маленькой частью реальности — нервной, физиологической,

психологической, — составляющей твою суть, ты становишься Мэрилин Монро полностью и навсегда, кончая жизнь самоубийством. Есть такие, кто начинает пить и выживает, другие начинают пить и не выживают. Бедняжка Вероника Лейк, недавно умершая от алкоголизма в пятьдесят лет, — у нее на это ушло больше времени, чем у Мэрилин Монро, — после того как она была одной из величайших кинозвезд сороковых — «Я женился на ведьме» Рене Клера, помнишь? — закончила официанткой в баре, а потом и вовсе закончила. Мне она очень нравилась. Я и сейчас часто думаю о ней. Лана Тернер, чья одиннадцатилетняя дочь кухонным ножом убила любовника своей матери, тоже пережила... не надолго. И Ава Гарднер... Они пережили, более или менее, Мэрилин Монро в самих себе... Слушай, я расскажу тебе, что я видел своими глазами... Очень известная кинозвезда, одна из двух-трех самых известных в то время, когда они еще были... Необыкновенной красоты, несмотря на алкоголь и все такое...

Ф. Б. *Это, похоже, большая тема для тебя?*

Р. Г. Алкоголь, снотворное — я этого не выношу... Как-то вечером она приходит ужинать в консульство. Она уже под градусом, а во время коктейля добавляет еще. Затем мы ужинаем, и все переходят в гостиную... Подходит метрдотель и шепчет мне на ухо, что хотел бы мне кое-что показать. Я следую за ним в столовую. Под ее стулом была лужа. Она сделала под себя за столом, как корова.

Ф. Б. *Все же это был исключительный случай или нет?*

Р. Г. Только в том смысле, что не все они писали под себя, сидя за столом. Но за отдельными исключениями — которые составляли в основном звезды, прибывшие из Европы и великолепно державшие удар, такие как Марлен Дитрих, Дебора Керр, Одри Хепберн, — они были подорваны изнутри, потому что у них отняли их личность. Они существовали в мире, сфабрикованном для нужд толпы, но ставшем их жизнью. Вот и появляется Хеди Ламарр — «Экстаз» и все такое, — которая начинает воровать с витрин. Эррол Флинн, который идентифицирует себя с Дон Жуаном и в пятьдесят лет погибает от этого. Я видел его в углу декорации, когда его шестнадцатилетняя подружка поддерживала его, чтобы он помочился на один из задников... Его сын, Шон Флинн, красивый парень, известный фотограф, погиб в Индокитае. Может быть, он умер от поисков подлинности... Разумеется, я рассказываю тебе лишь о тех, кто позволил заманить себя в западню мифа. Это было другое время, телевидение еще не опошило кинообразы, а у Голливуда было достаточно мощи, денег и сноровки, чтобы

фабриковать мифы. Фабриковать, использовать, а затем выбрасывать. Мое детство прошло под знаком кино, и я хорошо помню все имена. Я, в частности, вспоминал о великом Роде Ла Роке и Вильме Банки, партнерше Рудольфа Валентино. Мне говорили, что они до сих пор живы, спокойная и счастливая пара. Так вот, мне понадобился целый год, чтобы их найти: у Голливуда нет ни памяти, ни уважения к себе самому, к своему творчеству. Голливуд — это блюдо, которое предназначено не на вынос, его надлежит съедать на месте. Когда я туда прибыл, уже был заметен упадок. Съёмочные группы состояли из людей, средний возраст которых достигал шестидесяти лет: новичков в них не принимали, а чтобы стать оператором, надо было быть сыном оператора: тогда профсоюз приоткрывал свои двери. На съёмочной площадке — три гримера: один — для лица, один для тела и один для рук. Нельзя было передвинуть кресло, не спросив разрешения у человека, которому специально поручено передвигать кресла. Когда я снял свой первый фильм «Птицы прилетают умирать в Перу» для одной американской фирмы — фильм, который я снял, не появившись ни разу в павильонах Голливуда, — из бюджета фильма вычли процент на расходы, связанные с содержанием ее павильонов в Голливуде... Трудно было не изумляться поведению некоторых из этих важных персон, царствовавших в кино на протяжении сорока лет. Поразительно было наблюдать, как эти толстосумы, которые держали у себя на службе гениев, думали и говорили как какие-нибудь зеленщики в прошлом веке. Джек Уорнер, к примеру. Однажды я зашел к нему вместе с Робером Фавр-Лебре: Джек безуспешно пытался всучить ему для кинофестиваля в Каннах ужасно бездарный фильм, снятый по рассказу Хемингуэя «Старик и море»; это история о старике, рыбачившем в Гольфстриме, который доходит до предела своих сил и возможностей, борясь с гигантской рыбой. Джек Уорнер считает себя обязанным рассказать нам сюжет фильма. Он делает краткое резюме: *It's the story of a guy who was asking too much*, это история типа, который слишком много хотел. Иначе говоря, все, что он там увидел, это история денег. Так что, сам понимаешь, когда подлинные творцы, актеры, режиссеры, сценаристы оказываются во власти подобных бабуинов, их главной заботой становится избежать нервных депрессий. Я вспоминаю о появлении на рынке первых транквилизаторов в 1956 году, таблеток, которые назывались «милтаун». Можно было подумать, что в городе появился Спаситель. Говорили только об этом, перезванивались, чтобы сообщить друг другу хорошую новость, жизнь скоро изменится, больше никаких проблем, никаких неврозов, аллилуйя! Наверное, нет ни одной страны в

мире, где было бы больше шарлатанов, чем там, и, разумеется, в первых рядах — психоаналитики. Однажды вечером я ужинал у Дэвида Селзника, продюсера «Унесенных ветром», и мы говорили об ЛСД, наркотике, который психиатры испытывали на своих пациентах, — они считали ЛСД «психоаналитической» бомбой, которая позволит проводить молниеносные сеансы психоанализа. Селзник поворачивается ко мне и спрашивает: «У вас хороший психоаналитик?» Я отвечаю, что никогда не подвергал себя психоанализу. Они все переглянулись, и за столом воцарилось неловкое молчание: им было неловко за *меня*. А спустя несколько дней после этого ужина у Селзников я получил прекраснейший киноурок, и преподал мне его Билли Уайлдер. Из всех обитателей Голливуда Билли Уайлдер, несомненно, обладал самым язвительным умом. Я заходил к нему во время съемок фильма о Линдберге, который первым совершил перелет через Атлантику, *The Spirit of Saint Louis*. За штурвалом самолета — Джимми Стюарт. Макет самолета раскачивают на фоне бури, одни машины разбрасывают снег, другие — создают ветер. Билли Уайлдер говорит: «Смотрите! Это и есть кино! Что вы здесь видите? Фальшивый Линдберг, фальшивый самолет, фальшивое небо, фальшивая буря и фальшивый снег... А что это даст на экране? Фальшивого Линдберга, фальшивый самолет, фальшивое небо и фальшивую снежную бурю!» Самым красивым фильмом о Голливуде для меня остается «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера. Вот кто умел пригвоздить. Ведь это он бросил знаменитую фразу по поводу Отто Премингера, режиссера и настоящего тирана — чтобы не сказать садиста, во время съемок, раньше он специализировался на исполнении ролей нацистов: «Я должен быть любезным с Отто, у меня еще остались родственники в Германии!»

Ф. Б. Тебе там кто-нибудь нравился?

Р. Г. Что ты имеешь в виду?

Ф. Б. Я говорю о дружбе.

Р. Г. Да. Гари Купер. Это был настоящий мужчина, в самом женском понимании этого слова. Нежный. Добрый. Неспособный ненавидеть. Скромный, с большим чувством юмора. Великий американец.

Ф. Б. Один из своих романов ты назвал «Прощай, Гари Купер!»...

Р. Г. Да, и все решили, что это роман о кино. Я же хотел сказать, прощай, спокойный американский герой, уверенный в себе, в своих правах, в справедливости и в правоте дела, за которое ты борешься, ты, всегда побеждающий в финале, прощай, Америка точных фактов, здравствуй, Америка сомнений, страха,

отращения к себе, Вьетнаму и Уотергейту. Это было написано в 1963 году, до. Я написал книгу на американском арго и озаглавил ее *Ski Bum*. После «Леди Л.» и «Пожирателей звезд» это была моя третья книга, написанная сначала на английском; французские версии — не переводы, я все переделал, — на мой взгляд, превосходят оригиналы, так как время позволило мне лучше развить мои темы. Перевод — это сущая пытка. У меня ушло шесть недель, чтобы написать «Леди Л.» по-английски, и девять месяцев на французскую версию пять лет спустя...

Ф. Б. Говорят, что английский и его американский вариант разнятся все больше и больше. Ты же написал «Леди Л.» на английском ее величества, а четыре других романа — в том числе «*The Gasp*»^[92], еще неизвестный во Франции...

Р. Г. Это третий и последний том «Брата Океана». В большом предисловии «В защиту Сганареля», ставшем отдельной книгой, я объявил, что буду писать его на американском английском, и привел свои доводы. Там речь идет об энергетическом кризисе...

Ф. Б. Да, но в довольно странном изложении... Итак, ты пишешь одновременно на английском и на американском английском, часто жаргонном... Подобная виртуозность — я обнаружил, что часто использую это слово, говоря о тебе, — может вызвать как восхищение, так и недоверие... Нет ли здесь своего рода «пародии» на оба языка?

Р. Г. Не припомню, чтобы подобное замечание выходило из-под пера американского или английского критика, так что думаю, это и есть ответ на твой вопрос...

Ф. Б. Как ты пишешь эти произведения-идентификации на основе другого языка, другой культуры?

Р. Г. Я начинаю думать как мои герои, попадаю под их гипноз из-за своей ненасытной потребности прожить множество жизней — самых разных. Это — явление мимикрии, присущее прежде всего актеру.

Ф. Б. А ты сын актеров...

Р. Г. Кстати, я считаю, что каждый романист — это автор-актер.

Ф. Б. Что мне интересно, так это как приходят к оригинальности, в которой не ощущается никаких влияний, кроме зачастую Гоголя и в «Корнях неба» — Конрада, на основе разных языков и разных культур: русской, польской...

Р. Г. Большое влияние на мои полемические тексты оказал язвительный юмор польского поэта и полемиста Антония Слонимского.

Ф. Б. ...В общем, из русского и польского языков, степного юмора с еврейским акцентом родилась «Пляска Чингиз-Хашма», из

американской, английской и французской культур, Вольтера, Дидро тоже пришло многое — отпечаток «Жака Фаталиста» заметен и в «Тюльпане»... Скрещивание пород приводит к оригинальности, к личной и еще не звучавшей никогда прежде интонации. Глагол «смешивать» приобретает совершенно иной смысл. Приведу небольшой, но весьма яркий пример. В романе «Прощай, Гари Купер!», написанном на американском английском, ты используешь — но только в его французской версии — лимерик, жанр типично английский, а не американский, для того чтобы воссоздать по-французски эти почти всегда непристойные стишки. Вот что получается:

Жил человек в Баальбеке,
Жил на самой окраине.
Работал он управляющим
Яиц своего хозяина.
Положил он самое гладкое
В банковский сейф Баальбека,
А глупый его хозяин
Взял и отправился в Мекку.

Мы видим абсолютную приверженность жанру английского лимерика, а отправной точкой здесь служит роман, написанный на американском английском, притом что вы находите это только во французской версии «Ski But». А вот еще, о Вьетнаме:

Цари-волхвы пришли.
Все, что могли, сожгли.
После них нагло и смело
Коммунисты-волхвы взялись за дело.
Вьетнам стреляет, горит, искрит,
Я по горло волхвами сыт.

То, что на сей раз мыслится по-французски, не формулируется по-английски и приводит, полностью отдаляя тебя от традиции лимерика — всегда безвредного политически, — к французской политической специфике, которую я назвал бы «май 68-го», о которой возвещает роман:

Вот бизнесмен заявляет:
Да им войны не хватает.
Вот оркестр оглушает террасу —
Добавляет борьбы классов.

А вот Китай, он лишь пытит,
На бомбе атомной сидит.

Это было написано за два года до майских событий. И в завершение — этот лимерик об «обществе потребления», когда лозунг еще не был провозглашен:

Нас реклама убеждает:
В лимузинах все сияет.
Лимузины — это власть,
Роскошь, красота и страсть.
Потому мы все за то,
Чтобы сжечь это авто.

То, что отпочковалось от английского жанра, проходит через Бодлера, вдохновляется бурлением французской молодежи перед маем 68-го, пишется сперва на американском и находит свое окончательное выражение — и свое специфическое значение — на французском... Как так у тебя получается?

Р. Г. Всеми своими литературными корнями я ухажу в мое «смешение пород», я — «гибрид», и я подпитываюсь своей «гибридностью», надеясь достичь таким образом чего-то нового, оригинального. И это, между прочим, не какое-то особое усилие: для меня это естественно, это присуще моей *природе* гибрида, являющейся для меня истинным благословением в литературном и культурном плане. Вот, кстати, почему некоторые критики-традиционалисты видят в моем творчестве нечто «чужеродное»... Чужеродное тело во французской литературе. Является ли это «литературное чужеродное тело» усваиваемым и стоит ли оно того, чтобы его усваивать, — решать не им, а будущим поколениям. Однако не это ли и составляет на самом деле то, что называют самобытным вкладом? Не хочу показаться нескромным, но именно так было в случае с Джозефом Конрадом, этим поляком в Англии: англичане все никак ему не простят того, что он, несомненно, стал их величайшим писателем XX века.

Ф. Б. Хорошо, но почему ты испытываешь потребность писать еще и на американском?

Р. Г. Потому что я не могу писать ни на китайском, ни на греческом, ни на суахили. Приступая к очередному роману, я делаю это для того, чтобы бежать туда, где меня нет, посмотреть, что происходит у других, расстаться с собой, перевоплотиться. И мне ужасно не хватает других способов поиска «чужого мира», живописи например... Иногда это становится причиной довольно

комичных недоразумений. Так, мадам Жаклин Пиатье в газете «Монд» пришла к заключению, что Ромен Гари — сифилитик, сутенер и шарлатан...

Ф. Б. ?

Р. Г. Видишь ли, последний роман «Чародеи» я написал от первого лица. Моей задачей было переложить на «язык романа» персонаж *пикаро*, таким, как я представил его в моем эссе о романе «В защиту Сганареля». Более подробно я описал этого героя в 35-й главе, озаглавленной «Приключения Сганареля — честного человека». Мне не нужно говорить тебе, насколько важно для романиста применить свои теории на практике, воплотить то, что я назвал в подзаголовке «Поиски героя и романа», в персонаже и в художественном произведении. Что я и попытался сделать, создавая Фоско Дзагу в «Чародеях». Я много почерпнул у летописцев XVIII века и у таких великих авантюристов, как Казанова, Космополит, и у многих других, вплоть до Александра де Тилли, не забыв и про плутовскую жилку Вольтера. Если я сделал из своего *пикаро* писателя, то главным образом потому, что все авантюристы XVIII века писали, и еще потому, что существует определенный тип беллетриста, который проносится сквозь века и единственной заботой которого является его литература; из криков человеческого страдания он извлекает лишь удачное мелодичное звучание. Обращаясь к таким великим поэтам, как Виньи, таким великим писателям, как Констан, таким замечательным мыслителям, как Вольтер, и стольким, стольким другим во всех странах, ты нередко замечаешь удивительное расхождение между красотой их творений, с одной стороны, и их зачастую весьма неприглядной жизнью и деяниями — с другой. Они полагали, что рассчитываются с прекрасными чувствами, когда создают из них прекрасную литературу. Это продолжается и по сей день. Поэтому именно таким я и создал племя «Чародеев» и Фоско Дзагу, озабоченного прежде всего своим «литературным волшебством», но при этом проходимца и сутенера, паразита и сифилитика. Чтобы как можно ближе подобраться к этому персонажу, который мне кажется достаточно удаленным от меня самого, от моей жизни, я написал роман от первого лица. Я даже одолжил ему свою квартиру в Париже на улице Бак, чтобы у нас с ним было хоть что-то общее. По этим деталям и по улице Бак мадам Жаклин Пиатье пришла к заключению в газете «Монд», что герой романа — шарлатан, сутенер и сифилитик — это я. И даже взяла одну фразу из книги, в которой я описываю, как этот стареющий и испытывающий нехватку сюжетов писатель прислушивается «к шуму проходящей мимо истории, в попытке понять, не найдется ли чего-нибудь еще,

что можно было бы урвать» как возможную тему романа, этакий маленький бенефис. Она приписала мне этот паразитизм, нисколько не заботясь о том, какой кровью далась мне эта книга, и как бы даже не замечая того, что я ни разу не пополнял свою литературную копилку «Свободной Францией» и самопожертвованием своих товарищей, дабы извлекать из этого бестселлеры, как некоторые. Что здесь самое интересное — и что становится все более частым явлением — это неприятие вымысла. Чем больше воображения вложено в произведение, чем оно убедительнее, тем больше писем я получаю от читателей, спрашивающих меня: «Это правда?.. неужели это правда?» Результат весьма любопытен: авторы все чаще стремятся придать своим романам документальную форму, создают псевдодокументы, уверяя, что они «подлинные». Они сфабрикованы, подтасованы, подделаны без зазрения совести, но как только говорят, что речь идет о «документах», то все уже — вот к чему я клоню, — выглядит *высоконравственным*. Ведь мы живем в такое время, когда огромное количество людей, читая роман — плод воображения, — чувствуют себя одураченными, считая, что автор сыграл на их доверчивости, чтобы вызвать интерес к произведению, — вы только подумайте, дорогуша! Это же вымысел, ложь, он все придумал, собрал из разных кусочков, ни слова правды, как это отвратительно — сочинять... Один знакомый французский посол сказал мне, что он человек серьезный и романов не читает, потому что от чтения «измышлений»... ему становится совестно. Но когда им подадут «документ», пусть даже сфабрикованный, у них есть хорошее моральное оправдание, потому что это законно, это нравственно, «подлинно» и это, понимаешь ли, не поэзия. Лет двадцать тому назад, в Берне, я оказался за одним столом с мадам де Рот в компании моего посла Анри Опно — да продлит Господь ему жизнь сверх всякой меры! — и еще нескольких господ. Я только что опубликовал роман «Большая вешалка», действие которого происходит после Освобождения в среде воров, проституток и сутенеров. Мадам де Рот поворачивается ко мне и говорит: «Объясните же мне, как могло случиться, что вы, такой изысканный молодой дипломат, столь хорошо знакомы с миром проституток, сутенеров и жуликов?» Я попытался успокоить ее: «Мадам, до того как стать „изысканным молодым дипломатом“, я сам занимался проституцией и был сутенером». И тут мой глубокоуважаемый, в летах, посол в свою очередь поворачивается к хозяйке: «Полноте, полноте, Ромен слегка преувеличивает». Смерть роману предсказывают уже не один десяток лет, и я охотно верю, что так оно и будет. Посмотрите, что случилось с

поэзией. Вот уже двадцать лет как никто, никто не произнес в разговоре со мной имени какого-нибудь молодого поэта или названия сборника стихов... А ведь поэзия всегда была пионером литературы, первым криком души человека, предшествовала всем прочим литературным жанрам, и если она умрет... к счастью, есть телевидение.

Ф. Б. *Что до меня, то я встречаюсь с поэтами, слышу разговоры о поэзии. Если у тебя нет такой возможности, то не обвиняй никого...*

Р. Г. Франсуа, это же твоя специальность, ты же критик, лектор, редактор культурного еженедельника... Ты профессионал от культуры, следовательно, маргинал. На протяжении веков, начиная с «Песни о Роланде» до Виктора Гюго, психология, историческое сознание этой страны, питались поэзией... Сказать сегодня, что поэзия играет какую-то роль во французском сознании, то же самое, что сказать, что Франция голосовала за Помпиду, потому что он автор поэтической антологии.

Ф. Б. *Раз уж мы заговорили о роли жизненного опыта в романе, было ли твое пребывание в Голливуде полезным в этом отношении?*

Р. Г. Нет. Единственный роман, в котором я рассказал о Голливуде и о людях кино, это «Цвета дня», и написал я его за десять лет до того, как туда попал. В Голливуде слишком велика доля искусственности, чтобы я мог создать художественный вымысел. Правда, роман — настоящий роман, — повествующий об искусственности, никем еще написан не был, а это действительно захватывающая тема... Стоит подумать. И потом, поскольку многие клише в Америке все еще очень популярны, как ценности они по-прежнему в ходу, и таковыми их и нужно воспринимать, когда пишешь, то все это — темы для Нормана Мейлера. Мне кажется, только американский автор может еще верить в силу и в деньги как в критерии человеческой личности. Наш роман уже переварил это и испражнился. Я, впрочем, постоянно видел всю изнанку происходящего. Я был настолько хорошо осведомлен о «сильных мира сего», насколько это можно, когда тебе приходится по долгу службы выслушивать признания пострадавших. Время от времени какая-нибудь заблудшая, несчастная юная француженка, случайно взятая «для работы по контракту» благодаря тому, что с ней разок переспали в Каннах или в Сен-Тропе, прибывала в Голливуд, чтобы стать очередной кинозвездой. За редким исключением это заканчивалось так, как и должно было закончиться. Поначалу она зарабатывала сто пятьдесят долларов в неделю и тешила себя большими надеждами, затем — семьдесят пять, и надежды постепенно

угасали, а затем, чтобы дотянуть до конца месяца, шла с клиентом за сотню. В результате, чуть раньше — чуть позже, все это попадало в консульство, ко мне на стол — куски кровоточащего мяса, — а Республика не выделяла мне средств на репатриацию жертв мечты. Я снимал трубку, звонил соответствующему агенту или продюсеру, тому, кто забавлялся с нею в течение нескольких недель, и говорил, что в его же интересах взять на себя расходы по репатриации, потому что французские журналисты поднимут крик и я не смогу им помешать... Я грубо настаивал, объяснял, что среди французских журналистов у меня есть хорошие друзья и я не смогу заткнуть им рты, а имеющий уши да слышит. В целом это срабатывало. И эти девицы в подробностях рассказывали о силе сильных мира сего и о тех, кто имел репутацию суперсамцов. Иногда было над чем посмеяться, а иногда — от чего и блевануть. Но это характерно не только для Голливуда. Все закрытые места, где разыгрывается судьба мечты, мечты девушки или юноши, — это почти всегда мерзко. Я не знаю ничего более мерзкого, чем эксплуатация мечты. Когда я начинал заниматься режиссурой, самым тягостным и самым жестоким было просматривать кандидатов — девушек и парней, которые жаждали получить кусочек роли. Они входят к тебе, глаза их полны мечтой, — такая же мечта была в моих глазах, когда мне было двадцать и я хотел напечататься, — и смотрят на тебя так, что возникает желание снять одновременно двадцать фильмов с двумя тысячами кусочков грез — ролей, которые ты мог бы распределять вокруг себя. Я всегда страдал, когда после прослушивания вынужден был говорить «нет». Для одного фильма, который я снимал три года назад в Испании, мне, чтобы выбрать подходящую грудь, пришлось просмотреть три десятка голых девиц. Это было ужасно. Поскольку мне нужны были тридцать девиц с красивыми сиськами, то малышки приходили в трусах, принимали разные позы и кривлялись, стараясь показать, как они умеют выражать чувства, изображали шлюх или монахинь, непорочных дев или настоящих маленьких шельм. Никогда в жизни я так не краснел. И потом вдруг в этой куче появляется такая вся из себя милая девчушка, которая пришла в бюстгальтере и ни за что не желает его снимать. Я ей объясняю, что хочу взглянуть на это вблизи, и она, разрыдавшись, снимает свой бюстгальтер. Она подправляла себе груди, и на них были видны два фирменных шрама, но она все же надеялась получить хоть крохотную роль. Я написал для нее эпизод в сценарии, где она появляется одетой. Как тебе известно, сексуальный морализм не является определяющей чертой моего характера, но чего я не мог простить Голливуду, так

это эксплуатации мечты. Мечта для меня — это святое.

Ф. Б. *С какой из тамошних кинозвезд ты был знаком ближе всего?*

Р. Г. Ни с кем. Ни с кем, старик, извини.

Ф. Б. *В чисто человеческом плане?*

Р. Г. Мне нравилась Вероника Лейк, но она была уже сломлена. Да и невозможно поддерживать простые человеческие отношения с голливудской кинозвездой. У нее свой приятель, и свои деньги, и свои «приближенные». Звезда — ходячий миф, ожидающий бойни, то есть падения кассовых сборов. Тебя она боится — мало ли, а вдруг ты узнаешь, что там у нее внутри. У нее нет времени для реальности. Она не привыкла к «непрерывности», ведь вся ее жизнь состоит из мелких кусочков, смонтированных один за другим, три месяца съемок, затем снова три месяца съемок и так далее, и каждый день три минуты «непрерывности» перед камерами, а когда ты занимаешься этим в течение десяти лет, то у тебя уже не остается никакой непрерывности, ты теряешь точку опоры, и тебе не на что опереться, как это случилось с Джуди Гарланд, которая занималась этим с четырнадцати лет. Есть и такие, кто чудесным образом спасся, — богатые, располневшие и забытые. И в Голливуде у меня были чудесные моменты. Я видел последний луч звездного сияния Джинджер Роджерс, я приятельствовал с Коулом Портером, обладавшим даром легкой ироничной и умной песни, я любил наведываться к Фреду Астеру, ходить на балеты Большого театра вместе с очаровательной Сид Чарисс, слушать, как смеется восемнадцатилетняя Джейн Фонда и еще многие другие, и вот теперь это всплывает в моей памяти монтажом из мгновенных снимков, улетевших в вечность счастливых улыбок и шелестом эфемерных дружеских отношений — все это были кусочки проб... Были, разумеется, и французы, с которыми я часто виделся: Шарль Буайе, Луи Журдан, Далио, — были, наверное, и незабываемые моменты, но я о них забыл. Дружба там держится на профессиональных ниточках, на мгновениях, когда пути ваши сходятся: фильм, сценарий, — а потом она проходит. И тут одно из двух: либо они добиваются все большего успеха, поднимаются все выше, оставляя тебя где-то позади, и ты уже не в их «плоскости», либо их рейтинг падает, котировка стремительно катится вниз, и они начинают сторониться тебя, потому что их переполняет чувство стыда и чувство вины, они думают, что тебе неловко с ними встречаться, — вечно одни и те же истории рыночной «стоимости». Единственный человек оттуда, с кем у меня сохранилась дружба, длившаяся не один год, это Джон Форд: ему американский вестерн обязан не только

самыми замечательными сценами со скачками на лошадях, но и целым рядом — об этом часто забывают — неувядаемых шедевров классического кинематографа, без ковбоев и апачей, таких как «Осведомитель» и «Гроздь гнева». Однажды вечером мой метрдотель находит меня и сообщает, что какой-то бродяга за дверью желает меня видеть. Я выхожу и обнаруживаю некую помесь младенца Кадума^[93] с Матюреном, с черной повязкой на левом глазу, — когда ему нужно было разглядеть что-нибудь получше, Джон приподнимал повязку и смотрел глазом, который он якобы потерял, — в своей фетровой шляпе от Буллока из Сан-Франциско, в той, что я ношу сейчас, и в парусиновых брюках, которые даже не подозревали о существовании утюга. Он приносил мне сигары, приходил просто так, время от времени, и звонил в дверь консульства с коробкой сигар в руках. Это он привил мне вкус к сигарам, до встречи с ним я не курил. Францию он обожал, она была для него чем-то вроде Ирландии с вином и солнцем. Джон родился в Америке, но его специализацией были роли профессиональных ирландцев. Он питал такую ненависть к продюсерам, что когда один из них, просмотрев материал, отснятый за неделю, пришел на съемочную площадку поздравить его, Джон велел уничтожить всю пленку, вызвавшую столько восторгов, и начал все снова. Он давно стал «вождем» я уж не знаю скольких племен краснокожих, которым давал средства к существованию, истребляя их в своих фильмах, и не было ничего комичнее, чем видеть, как серьезно он относится к этой роли. Именно так я оказался у аризонских хопи, после двух дней пути, в течение которых он не просыхал, а когда мы прибыли в резервацию, нам объяснили, что мы явились как раз вовремя и сможем присутствовать на праздновании какого-то непонятного метеорологического явления, хотя на самом деле это было чествование Джона Форда. Он обменялся с вождем ритуальными приветствиями, пробормотал несколько слов на языке чероки — на что хопи понимающе кивнул головой — и представил меня ему как «великого французского вождя», совершенно запамятавав, что этот хопи закончил Калифорнийский университет и выполняет роль агента партии демократов на выборах в Аризоне. Надев свои гигантские маски, хопи плясали, двигаясь гуськом, чтобы восславить приход такого метеорологического явления, как Джон Форд; старик же мечтательно раскачивался из стороны в сторону, периодически громко пукая. Внезапно он поворачивается ко мне и с важным видом заявляет: «Они никогда не покидают резервацию, не желают ничего знать о внешнем мире, они рождаются, живут и умирают на земле своих предков», роняет слезу из своего

неприкрытого глаза, пукает и опустошает бутылку пива. Тут краснокожие танцоры снимают маски, и вождь представляет мне двух хопи, которые участвовали как американские солдаты в освобождении Парижа, — они с восторгом рассказывают мне о площади Пигаль. Джон страшно оскорбился, разгневался, его губы скривились в гримасе обиженного младенца, мне показалось, он сейчас заплачет. Когда его сделали командором ордена Почетного легиона — во время войны на Дальнем Востоке он был адмиралом, там он и купил эту черную повязку для своего глаза, — церемония вручения проходила у него дома, в тесном кругу, в присутствии десяти краснокожих, представлявших племена апачей, сиу, шайенов и хопи, взятых из голливудской массовки, однако праздник не совсем удался: Мэри, жена Джона, не давала ему пить, и поэтому новоиспеченный командор был грустен, угрюм и всем недоволен. В конце жизни своими лучшими моментами он был обязан молодым французским фанатам кино. По первому же их знаку он прилетал в Париж и делал все, что от него требовали, вплоть до торжественного открытия жалкого драгстора в квартале Оперы. Молодые люди опекали его днем и ночью, спали рядом в отеле «Руаяль-Монсо», чтобы он, чего доброго, не упал и не сломал ногу, вставая ночью с кровати, чтобы пойти пописать. Его жене они пообещали, что не позволят ему пить, и старались изо всех сил, но когда Джон уехал, под его кроватью нашли двенадцать пустых бутылок из-под пива. Он все больше походил на моряка Попая^[94], с сигарой во рту вместо трубки и с изрубцованным лицом, сгруппированным вокруг сигары и черной повязки — неизменными атрибутами давнего и совсем недавнего Джона Форда. Однажды вечером он привел ко мне в консульство прелестную звездочку из своего последнего вестерна, Констанс Тауэрс, которую он, очевидно, никак не использовал, в классическом вестерне это было не принято. Деточка отпрашивается на кухню посмотреть, что она может раздобыть для нас в холодильнике, и когда она выходит, Джон бросает на меня недвусмысленный взгляд весом в сто десять кило и подмигивает. Я говорю «мои поздравления», а он принимает свой самый скромный вид, знаешь, который означает «три раза сегодня после обеда». А затем — улыбочка. Он наклоняется ко мне и доверительным тоном спрашивает: «Послушай... у меня что-то с памятью, что с ними делают? Кажется, раздеваются догола... А что потом? Я все забыл». Улыбка была не лишена грусти, но тут малышка возвращается и приносит единственное, что может ему предложить, — пиво... За несколько недель до смерти он заявил прессе, что собирается снять свой лучший вестерн, что, возможно, и было правдой, как знать, с

прериями, скачками на лошадях и необъятными горизонтами. Боб Пэрриш ездил к нему в Палм-Спрингс, когда Джон был уже на пороге смерти. Он это знал, и черная повязка на глазу мало что могла от него скрыть. Он был занят тем, что пытался лишить сына наследства, ему старались помешать, но когда ты сын Джона Форда, ты поневоле обделен... Такую роль сыграть невозможно. В соседней комнате находилась его жена Мэри, страдавшая болезнью Паркинсона. Ей приходилось лежать, чтобы иметь возможность произнести хоть слово. В одной комнате пожираемый раком Джон Форд курил свою последнюю сигару, в другой лежащая пластом Мэри сражалась с конвульсивными подрагиваниями; мы словно попали в пьесу Юджина О'Нила в разгар ирландской семейной трагедии; жизнь порой готовит свои соусы с чрезмерным искусством, мне кажется, вполне можно съесть нас и без этого. За несколько недель до смерти он прислал мне вот эту серую шляпу — модель «Джон Форд», от Буллока из Сан-Франциско, которую я прилежно ношу. Я очень любил Джона, но от этого тоже никакой пользы.

Ф. Б. Почему в Голливуде всегда было столько чудовищ среди продюсеров и режиссеров?

Р. Г. Потому что в ситуации абсолютной власти разрастаются инфантилизм и прочие скрытые недостатки, а это нередко порождает монстров. Порой случаются весьма занятные вещи. Моя первая личная встреча с таким курьезом состоялась после съемок «Корней неба». Фильм полностью провалился, получился посредственным, и режиссером этой халтуры был Джон Хьюстон. Однажды я сидел в ресторане «Романофф» с шефом студии *20th Century Fox* Зануком — продюсером этого фильма. Я спрашиваю его, как такой режиссер, как Джон Хьюстон, умудрился снять подобную муру. Он сделал это нарочно, объясняет Занук, чтобы отомстить вам... Я никогда ничему не удивлялся в Голливуде, но услышать такое... «Отомстить за что? Что я ему сделал?» — «Вы увели у него подружку», — отвечает Занук. Это уже было интересно, если учесть, что после Джона Хьюстона я никогда ни к чему не притрагивался, у меня слабый желудок. «Ах вот оно что, я увел у него подружку? И когда? Кого и как?» — «Ну так вот, — сообщает мне Занук. — Джон вернулся из Токио со звездой своего последнего фильма — „Варвар и гейша“, — этаким корейской жердью. Представил ее вам, а поскольку он должен был уезжать на съемки нового фильма, то попросил вас немного за ней присмотреть...» Эта часть истории была действительно правдивой, я отлично помнил корейнку, однажды я ее даже пригласил в консульство на ужин, и плюс еще двадцать человек, но я никогда не встречался с ней наедине; она пришла на ужин с

кавалером и с ним же и ушла, вот и все. «А вы воспользовались доверчивостью Джона и трахнули его подругу, как только он отвернулся, — укоряет меня Занук. — И тогда, чтобы отомстить, он намеренно загубил „Корни неба“...» Я слушал этот бред и смотрел на Майка Романовф, хозяина ресторана, уже сорок лет известного как *царевич*, законный сын царя Николая II. Он якобы избежал расправы большевиков и стал владельцем ресторана в Голливуде. Я говорю Зануку, что эта история с корейкой такая же правда, как и царское происхождение Майка. «Во всяком случае, он так утверждает, — говорит Занук. — Вы трахнули главную любовь его жизни». Я объясняю ему, что для того, чтобы трахнуть главную любовь жизни Джона Хьюстона, пришлось бы трахнуть самого Джона Хьюстона, потому что другой любви за ним не замечали. В заблуждение здесь вводит то, что эти люди разговаривают, как ты и я, носят брюки и пиджаки, выглядят почеловечески, и ты иногда попадаешь впросак. Несколькоми годами позже, когда я уже оставил дипломатическую службу и написал десятка два сценариев для этих господ, я работал над фильмом «Самый долгий день» для того же Занука. Этот коротышка бесподобен в роли продюсера: будучи влюбленным в кино, он во время работы предоставляет в твое распоряжение любые средства, а я ценил его еще и за то, что он был самым романтичным трахальщиком в Голливуде — когда он привязывался к девице, он швырял к ее ногам весь мир. Он несколько раз спасал от самоубийства свою бывшую подружку Беллу Дарви, оплачивая ее игорные долги, а потом однажды пришел слишком поздно — Белла Дарви успела наложить на себя руки... Но, будучи великим продюсером, он, к сожалению, считал себя также и писателем, хотя писал он как свинья, как самая настоящая свинья, то, что выходило из-под его пера, было чудовищно. Всякий раз, когда я вручал ему кусок сценария, он оставлял на нем свой убийственный отпечаток, делал из него нечто совершенно неудобоваримое. И вот, начиная с определенного момента наших профессиональных отношений всякий раз, когда мы встречались, чтобы поговорить, я вынимал из кармана банан и клал его на стол. В конце концов он не выдерживает и спрашивает меня: «Зачем вы все время кладете на стол этот банан? Вы никогда его не едите». — «Это чтоб не забыть», — говорю я ему. «Не забыть что?» — «Послушайте, Дэррил, вы прилично одеты, на вас брюки, пиджак, галстук, у вас даже есть лицо, и вы говорите человеческим языком, и вот я каждый раз попадаю в западню, я забываю, что вы — горилла, и поэтому каждый раз кладу перед собой этот банан, чтобы не забыть, с кем имею честь». С того дня он сам начал ставить

поднос с бананами на стол всякий раз, когда я приходил для беседы. К счастью для меня, я ни от кого не зависел, но я прекрасно понимаю Фолкнера и Скотта Фицджеральда — оказываясь во власти этих мелких тиранов, они впадали в отчаяние и уходили в запой. Когда я взялся писать сценарий по роману Скотта Фицджеральда для Дэвида Селзника, он начал слать мне меморандумы по десять — двадцать страниц ежедневно, и три недели спустя я заплатил, чтобы расторгнуть контракт. Все эти добродушные ребята пытались заграбастать писателя и пользоваться им как ручкой; такой вид рабства был не для меня. Но во время моего первого пребывания в Голливуде я поддерживал с ними лишь светские отношения, смотрел на них со стороны, вот где было настоящее кино...

Ф. Б. *С другими писателями ты общался?*

Р. Г. Один или два раза в доме Лиланда Хейворда я встречал Хемингуэя, но мне он не нравился. Он был тяжелым невротиком. Мальро, я уже не помню где, написал, что одна из важнейших проблем в жизни каждого — это сократить ее театральную часть...

Ф. Б. *Это сказал Мальро? Неужели?*

Р. Г. ...А Хемингуэй играл Хемингуэя-крутого-парня всю жизнь, но одному Богу известно, что он прятал в себе, какой страх, какую тоску. Он был без ума от самого себя. Он построил свой образ на «мачизме», но мне кажется, на самом деле это была неправда. Году в 1943-м или 1944-м, точно не помню, в общем, Лондон бомбили каждую ночь, и во время одной из таких бомбежек я потерял приятеля. Я обхожу все больницы. В больнице Святого Георгия повсюду раненые: в коридорах, на столах, и без конца поступают новые. Умирующие... Внезапно — драматическое появление: я вижу гиганта в плаще, все лицо в крови, и ведут его американские офицеры с не менее драматическим видом. Это был Хемингуэй. Он попал в аварию на джипе, в затемнение, — поранил кожу под волосами, пустяк. Он пробирается среди умирающих и вопит: «Я Эрнест Хемингуэй! Я Эрнест Хемингуэй! Лечите меня. Я ранен! Лечите меня!» Вокруг было полно раненых, которые действительно отдавали концы. Когда сравниваешь такого Хемингуэя с человеком, которого он изображал всю жизнь, и с героями его романов... Там был один врач, доктор Роже Сент Обен, он может подтвердить... Он помнит. Тем не менее «Прощай, оружие!» — один из лучших романов о любви нашего столетия; можно, оказывается, быть великим писателем и жалким типом одновременно. Я говорю не о Хемингуэе, я говорю обо всех, потому что все лучшее, что в нас есть и чем бы мы хотели быть, мы вкладываем в наше творчество,

себе же берем, что останется...

Ф. Б. *Однако в наших беседах ты ведешь себя иначе...*

Р. Г. Потому что я осознал это и хочу показать свое «я» моим друзьям-читателям, которые ищут встречи со мной, полагая, что найдут во мне художественное произведение... Во мне блистательной человеческой ценности не больше — а может, и меньше, — чем у их соседа по лестничной площадке. Я не устаю повторять это своим читателям и читательницам, пишущим мне трогательные письма. Они мне не верят, нередко настаивают на встрече, и тогда я отказываю им в аудиенции, потому что не хочу лишать их иллюзий... из тщеславия. Или из уважения к мечте.

Ф. Б. *Отказываешь даже читательницам?*

Р. Г. Я довольно рано получил урок, и я его заслужил. Это было после выхода в свет моего четвертого романа «Цвета дня» в 1951 году. Я был в командировке на Гаити. И я начинаю получать письма из Парижа от одной из читательниц, которой понравилась книга; я ей отвечаю, она снова мне пишет и на сей раз шлет свое фото, где она в купальнике, приглашает меня в гости, когда я вернусь в Париж. Она была восхитительна, и я уже начал серьезно об этом подумывать, там были заманчивые роялти... Возвращаюсь в Париж и звоню ей. Мне отвечает нежный голос: «Приезжайте ко мне завтра в пять часов пополудни на авеню Фош...» На следующий день я чищу зубы, надеваю свежую рубашку и отправляюсь к ней. Особняк, слуга открывает дверь, я прохожу через холл, меня встречает метрдотель, открывает передо мной другую дверь, и я оказываюсь в небольшой гостиной с самой что ни на есть интимной обстановкой, с диваном и зеркалами вокруг него и над ним, дабы можно было видеть, что делается, и множиться, пока это делается. В ведерке стоит шампанское, икра, шторы задернуты, и метрдотель говорит: «Мадам будет здесь через минуту». Мне было как-то не по себе: я видел пять метрдотелей в зеркалах, предназначенных совсем для другого, я вовсе не это имел в виду, думая о роялти. И вот дверь открывается и входит в божественном неглиже очаровательное создание шестидесяти лет. Я чертыхаюсь про себя, ну конечно, это мамаша, она перехватила нашу корреспонденцию, и в ту же секунду особа бросает мне: «Вы удивлены, не правда ли?» Да нет, мадам, говорю я, как истинно светский человек, отчего же, и я решительно поворачиваюсь спиной к дивану и вдруг обнаруживаю, что действительно есть некоторое сходство с фотографиями. «Я послала вам свои снимки, сделанные, когда мне было двадцать семь лет, потому что в двадцать семь у меня обнаружился костный туберкулез, жизнь отняла у меня лучшие годы, и теперь я считаю, что она мне их должна и что мне сейчас

всего лишь двадцать семь». И трагично делает шаг вперед, я же незаметно проскальзываю к окну, выходящему в сад, на случай, если будут попытки; но ничего такого: она вытаскивает из-под корсажа кружевной платочек и вытирает глаза. Ну не смог я, и не столько из-за возраста, сколько из-за зеркал, ведь мне было бы слишком хорошо видно, что я делаю; поэтому я с почтением поцеловал ей руку, что в данных обстоятельствах выглядело чистейшим хамством, и ушел. Это послужило мне уроком...

Ф. Б. *Не думаю, что это послужило тебе уроком. И в связи с этим, несмотря на нашу давнюю дружбу, не могу не спросить об одном... весьма озорчатом аспекте твоей личности.*

Р. Г. Спрашивай.

Ф. Б. *Несколько месяцев назад у себя в офисе в Цюрихе я слушал какую-то французскую телепередачу, и вдруг дикторша огласила результат голосования, которое провели авторы, передачи, и результат этого голосования выдал имя Ромена Гари в качестве примера «любителя женщин» вместе с Мишелем Пикколи и еще кое-кем.*

Р. Г. Наверняка есть люди, которые строят на мой счет иллюзии, есть и те, кто хочет меня опорочить, поскольку «любитель женщин» — это дерьмо, это жалкий тип и вдобавок женоненавистник, несмотря ни на что; ты не можешь любить женщин и делать из них предметы потребления. Ценность всегда включает понятие раритета. Я всю жизнь до глубины души любил женщин, и это значит, что я ни разу не позволил себе даже малейшую «победу». Это недостойные отношения. Понятие «успеха у женщин» реакционно, это пережиток, напоминающий о том месте, которое женщина согласилась занять и занимает уже много веков, это типично для торжества ложных ценностей, первой жертвой которых стала она сама, и для предательства ею той подлинной ценности цивилизации, которой является женственность. Часто встречаешь женщин, которые одаривают тебя подобострастными, восхищенными взглядами, подкрепленными мазохистскими улыбками с лестными намерениями, они рассказывают о «сердцедах», о «мужчинах-завоевателях», и от всего этого тошнит, это не женщины, а евнухи какие-то. Если бы было хоть малейшее уважение к женщине, сексуальность уже давно бы воспринималась как равноценный обмен, без «взятия», без «завоевания», без «покорителя» и без «победы». Когда просматриваешь литературу прошлых веков, поражаешься женскому мазохизму, они в еще большей степени, чем мужчины, ответственны за проникновение на рынок потребления понятия «обольститель». Донжуанство всегда было лишь формой импотенции, потребностью мужчины

стимулировать себя переменами, настоящий же «великий любовник» — это мужчина, который занимается любовью с одной и той же женщиной каждый день в течение тридцати лет. Совершенно очевидно, что Дон Жуан был первым потребителем, поддержанным первыми рекламными кампаниями, так как все «обольстители» — это детища рекламы, молвы, маркетинга, и цель этого — возбудить любопытство и увеличить спрос на разрекламированный член. Давай теперь возьмем зоологический опрос, о котором ты говоришь, тот, что в то время провело *ORTF*, — я принимал одну журналистку, пришедшую взять у меня интервью на эту тему, и точно знаю, что произошло, как это случилось. Я выхожу очень мало, как ты знаешь, рано ложусь, иногда принимаю приглашение и выхожу в свет, чтобы не забыть, как это там, у них, и подзарядить свои аккумуляторы одиночества еще на полгода. Загляни в мой ежедневник и увидишь, что там намечено шесть или семь званных ужинов за год. Это необходимо каждому мужчине, который желает знать: одиночество — это выбор или капитуляция, и всем тем, кто хочет определиться в своем одиночестве. Я принимаю тогда приглашение на обед для двадцати персон и с симпатией выслушиваю людей, которые собираются на Рождество поехать кататься на лыжах к Мари-Биш в Гштад, а затем сядут на специальную «каравеллу» и полетят отмечать Новый год в «Мамуния», в Марракеше; они приглашают меня, и поскольку все они очень милые люди, но живут в другом мире, они на меня не обижаются, когда я отказываюсь, и это замечательно, что есть возможность отказаться и с чувством облегчения вернуться к себе, к своей мисс Одиночество-1973 или 1974. А иногда устраивают бал, что-нибудь такое, как в давние времена, как Бейстеги в Венеции после войны, — на который меня не пригласили, — или как бал Патино, в Лиссабоне, на который я не смог отправиться, а поскольку мне крайне интересно знать, как люди жили раньше, то я соглашаюсь, вот так я принял любезное приглашение Ги де Ротшильда и отправился на бал «Пруст», в их загородное поместье, где собрались четыре сотни человек, наряженные как во времена Германтов. Бал был восхитительный, я предавался моему любимому занятию: сидеть в углу, курить сигару и смотреть — будь то на берегу океана или на балу, — и вот там-то она и приключилась, та история, о которой ты говоришь. Ко мне подходит группа девушек, и одна из них сообщает, что они меня только что выбрали самым «привлекательным» мужчиной вечеринки. Я не вчера родился и сразу смекнул, что мой час пробил. Понимаешь, там была вся золотая молодежь Парижа, «привлекательные» молодые волки — хочешь, бери, но выбрать одного из них для этих девушек было

бы неудобно и могло даже скомпрометировать их, потому что это было бы *настоящее*, вот они и набросились на типа с поседевшей бородой, которому под шестьдесят, потому что это невинно, смешно и ни к чему не обязывает... Знаешь, как какая-нибудь девица, которая тебя уверяет, что для нее самый соблазнительный мужчина — это Пабло Казальс...^[95] Это означало, что в их глазах я уже не участвую в гонке. Музейный экспонат, одним словом. А на следующий день я даже получил «приз» — подсвечник XVIII века, это был последний удар, весьма, впрочем, элегантный...

Ф. Б. Ты отослал подарок?

Р. Г. Нет. Сохранил. Он представлял собой ценность. Но поскольку там были журналисты, то это и стало поводом для небольшого опроса, о котором ты говорил. А так как моя любовь к женственности всегда была очевидна и в жизни и в творчестве, а наше мачистское общество в женщине видит лишь задницу, то я имел полное право на это мгновение славы, то есть на репутацию старого ловеласа. Добавлю, что помимо проблемы ценности, подлинности, даже если не выходить за пределы сексуальности — сексуальности без любви, без поэзии, физиологической, такой, какой она и нужна природе, — понятие «любитель женщин» так же дебильно, как понятие «любительница мужчин», только первое наша цивилизация превратила в комплимент, а второе — оскорбление, что подло. «Любитель женщин» — и все улыбаются, это прелестно, но «любительницу мужчин» все называют «нимфоманкой». Ах, мерзавцы! Весь этот словарь отдает безумной мужской претенциозностью, словарь, в котором женщиной «овладели», «поимели», «трахнули», а если мы сравним две сексуальности, когда они нормальны, то есть полноценны, сразу становится ясно, что сексуальность женщины зачастую гораздо богаче, разнообразнее, она отличается более широкой гаммой нюансов, и даже сам факт, что мужчины испытывают особенную гордость, оказавшись «на высоте», включает в себя понятие неравенства, что говорит не в их пользу... Бог ты мой, когда же наконец с мужских губ исчезнут эти самодовольные ухмылочки победителей, едва заметные — мол, мы же с вами все-таки джентльмены, — и комичность которых никогда еще не была использована должным образом? Комический роман о «мачизме» и сексуальности вообще еще не был написан... Я подумываю об этом.

Ф. Б. Тем не менее я помню, что в твою бытность Генеральным консулом в Лос-Анджелесе в прессе прошла информация, что звездами кино ты занимаешься больше, чем, например, коммерческими интересами Франции... до сих пор на

слуху выражение, прочитанное в одной из газет, где тебя окрестили «сексуальным атташе»...

Р. Г. Да, и всем известно, что пресса никогда не лжет, и когда какой-нибудь придурок пишет: «В книгах Ромена Гари слабые всегда проигрывают, недаром же он голлист», — он знает, о чем говорит, а когда американский еженедельник сообщает, что Джин Сиберг — моя жена — ждет ребенка от парня из «Черных пантер»^[96], он знает, о чем говорит. Их редактор присутствовал при извержении спермы, попробовал ее на вкус и сумел отличить «Черную пантеру» от «Шамад», «Мисс Диор» от бордо или бургундского. У меня сложились самые лучшие отношения с крупными калифорнийскими промышленниками, и французские промышленники, бывшие там проездом, об этом, надо думать, помнят — ведь еще сегодня, спустя пятнадцать лет, многие из них присылают мне свои визитки, поздравления с Новым годом и благодарственные письма. Одлум, владелец «Дженерал Дайнэ-микс», проводивший целые дни у телефона в своем подогретом бассейне — он мучился артритом, — принимал в Индио всех французов, которых я ему рекомендовал; то же самое я могу сказать о Дугласе, который первым забронировал места на «каравелле», первый полет которой я торжественно отмечал в Калифорнии. Можно вспомнить о Гроссе из «Локхид», и о Хочкиссе, великом менеджере электроники, который уже умирал потихоньку от своего рака, но до самого конца принимал французских промышленников, которых я ему присылал, и часто вел с ними переговоры. Мне незачем оправдываться на сей счет, досье — вот оно; но все же я имею право сказать, что когда я, по прошествии пяти лет, покинул свой пост, то и в посольстве в Вашингтоне, и в управлении по кадрам в Париже меня просили остаться. Разумеется, кинозвезды привлекали больше внимания, но Голливуд — это лишь одна из сторон моей деятельности; было радио и телевидение, где появились первые кадры только что начавшейся тогда войны в Алжире, и приход к власти де Голля в 1958-м, представленный американскими корреспондентами в Париже и, в частности, моим другом Дэвидом Шенбрунном как диктатура и начало фашизма во Франции. Были университеты и французская колония, включавшая и тысячи две пастухов-басков в калифорнийских горах, были Аризона и Мексика, где о Франции знали так мало, что я нередко имел право на восхитительные сюрпризы. Так, одна религиозная школа в Помоне решает устроить небольшой вечер под знаком Франции и Жанны д'Арк, и я получаю трогательное письмо, в котором меня, как представителя сей мифической страны, приглашают председательствовать на этих торжествах. Я еду. Меня встречают

монахини и школьницы, самой старшей из которых, судя по всему, не больше четырнадцати. Монахини дают мне программу вечера... И знаешь, что изображено на обложке? Обыкновенная шляха с сумочкой, подпирающая фонарный столб на площади Пигаль. Они, эти славные сестры, не знали, что она шляха: они думали, что это и есть настоящая юная француженка...

Ф. Б. *И что ты сказал?*

Р. Г. Ничего. Я представлял всех французов и всех француженок, и эта, со своим фонарным столбом, бесспорно, была одной из них. И потом, эта шляха осталась таким образом девственницей в их глазах... А дебют «Лидо» в Лас-Вегасе?.. Когда там впервые появилось «Лидо», меня пригласили на торжественное открытие. Я спрашиваю совета у Альфана по телефону — Альфан сменил на посту Кув де Мюрвиля, — и он говорит: «Поезжайте, только не слишком увлекайтесь». Я еду, выступаю, председательствую, пожимаю руки, веду себя достойно, серьезно, как римский папа, как Альфан, когда он напускает на себя серьезный вид. Я уже и не помню, как ее звали, руководительницу ревю, но она была родом из Марселя, очень славная, — впоследствии я устроил ей поездку в Диснейленд в Лос-Анджелесе. В четыре часа утра возвращаюсь в отель, совершенно разбитый... Вхожу. И что я обнаруживаю на кровати? Шесть милых созданий, абсолютно, ну абсолютно во вкусе Джеймса Бонда, совершенно голых, с табличкой «Да здравствует Франция!», да, «Да здравствует Франция!», в четыре часа утра, шесть штук!..

Ф. Б. *И что ты сделал?*

Р. Г. А что ты хотел, чтобы он сделал с шестью? Чтобы он умер?

Ф. Б. ...*И отчаяние его подбодрило.*

Р. Г. ...Подбодрило, легко сказать, подбодрило.

Ф. Б. *Так что же ты все-таки сделал?*

Р. Г. Уже не помню. Голова дырявая, видишь ли...

Ф. Б. *Вижу.*

Р. Г. Провал в памяти. Должно быть, я свернулся калачиком и уснул, а что же еще. Не помню. Есть же предел обязанностям, даже для Генерального консула Франции. И потом, я был *es qualités*. При исполнении. Престиж, знаешь ли. Провалы в памяти иногда бывают очень полезны для престижа.

Ф. Б. *А ты рассказал это Альфану?*

Р. Г. Нет. Он бы только разозлился и в следующий раз сам бы туда отправился.

Ф. Б. *Ты мне часто говорил, что Калифорнии ты обязан своим лучшим дипломатическим постом... и лучшими годами своей*

жизни.

Р. Г. Во всяком случае, самыми легкими... наименее утомительными. И, в довершение всего, я встретил Джин Сиберг, ей было двадцать, я оставил дипломатическую службу, чтобы быть свободным, затем мы поженились, и у нас родился сын, мы прожили вместе девять лет.

Ф. Б. *Почему вы развелись?*

Р. Г. Потому что мы были вместе целых девять лет, а потом все начало разваливаться, изнашиваться, вымываться, утрачивалось вдохновение, а я не люблю компромиссы, когда речь идет о любви; лучше было спасти прошлое, память о девяти счастливых годах, чем пытаться подстроиться друг под друга и продолжать как получится. И мы развелись. Это был очень удачный развод, а поскольку мне было на двадцать пять лет больше, чем Джин, то вполне естественно, что от роли моей жены она перешла к роли моей дочери, а так как у меня никогда не было дочери, то это тоже неплохо.

Ф. Б. *Все время, пока длился ваш брак, американская пресса, в особенности американская пресса, представляла тебя чем-то вроде Свенгали или Пигмалиона, полностью подчинившего себе Сиберг и формировавшего, лепившего ее по своей прихоти.*

Р. Г. Джин оказывала на меня гораздо больше влияния, чем я на нее, и думаю, это нетрудно доказать. Когда я ее встретил, она была кинозвездой, а я — Генеральным консулом Франции. Когда мы расстались, она была все той же кинозвездой, а я стал кинорежиссером. Так что когда говорят о влиянии, то на самом деле все было как раз наоборот, совсем не так, как об этом писала пресса, и, во всяком случае, надо еще посмотреть, какая пресса...

Ф. Б. *Тем не менее в Голливуде ты нашел время закончить «Корни неба», написать «Обещание на рассвете», «Пожирателей звезд», «Леди Л.» и пятьсот страниц эссе о романе «В защиту Сганареля». Как тебе удавалось сочетать сочинительство с той жизнью, которую можно было охарактеризовать как поверхностную?*

Р. Г. Если ты позволишь мне сделать отступление и отодвинуть на время в сторону все места моего временного пребывания на земле, будь то Голливуд или Боливия, я хотел бы сказать, что для меня любое понятие «глубин человеческой натуры» глубинно лишь своей претенциозностью. «Глубина» — это трагическое отношение, возникающее у человека к своей врожденной поверхностности, когда он начинает ее осознавать. Глубокая трагедия человека — это его поверхностность, незначительность. Встречаются, конечно, глубокие несчастья, но здесь мы снова оказываемся в области поверхностного, ибо это

излечимо, это может быть исправлено. «Глубина» Фрейда, в сущности, смехотворна: *nursery*. Я не хочу больше к этому возвращаться, я просто испрошу у тебя позволения привести названия параграфов XLIX главы «В защиту Сганареля»: «Как аномальное, маргинальное поведение становится исполненным глубокого значения и включает в себе смысл человека», «Невротик как обладатель привилегированного знания», «Возврат к первобытным сообществам: безумец снова становится любимцем Бога», «Поклонение языку, ключ как реликвия». И наконец, ничего не может быть приятней, после литературной стычки с самим собой, как отправиться в цирк, ведь Голливуд был задуман и вырос в великой традиции американского цирка, цирка Барнума, и его патроны, пока они там были, все остались циркачами... Когда ты ездил в Диснейленд, у тебя было пять шансов из десяти заметить на входе, за решеткой, человека, который стоял там, засунув руки в карманы, и наблюдал за выручкой с таким видом, словно он считал всех, кто входил: это был сам Уолт Дисней. Или Уолтер Уэнджер... Уолтер считался самым образованным продюсером Голливуда, потому что у него на службе находился Скотт Фицджеральд, — он к тому времени уже выдохся, но Уолтер нанес ему последний добивающий удар. Это был *мачо*: двумя выстрелами из револьвера он ранил в пах — он целил низко — любовника своей жены Джоан Беннет. Как-то раз он приходит ко мне в консульство, заявляет, что собирается снимать малобюджетный фильм, восемьсот тысяч долларов, «Клеопатра», с Джоан Коллинз... И предлагает мне роль Цезаря! Он меня убеждал, что это будет полезно для престижа Франции! Представляешь физиономию Кув де Мюрвиля, если бы он увидел меня в титрах! Уолтер несколько раз возвращался к этой идее, а затем остановился на Рексе Харрисоне в *моей* роли... на Элизабет Тейлор в роли Клеопатры... и малобюджетный фильм стал фильмом, снятым за двадцать семь миллионов долларов, и его знают все... Думаю, годы, что я прожил в Голливуде, были последними «безумными годами», концом великого цирка... Я вспоминаю официальную церемонию в честь Лафайета — в Америке это всегда Лафайет, и хотя Рошамбо сделал для них гораздо больше, у Лафайета был дар рекламы, и весь его путь сквозь историю — это рекламный ролик с сомнительным продуктом внутри... Так вот, я вспоминаю церемонию, ради которой должен был надеть дипломатическую униформу: шляпу с перьями, расшитый золотом фрак, шпагу и прочее. Я одолжил ее у Жака Вимона, нашего нынешнего посла в Москве, который был тогда довольно худощав. Успех выше всяких ожиданий. На следующий день после церемонии я стал получать телеграммы от

всех рекламных агентств, которые приглашали меня то туда, то сюда для рекламной кампании по продвижению то того, то сего — автомобилей или стиральных машин, — я должен был в моей униформе и шляпе с перьями рекламировать товары, и еще они интересовались, не хочу ли я сняться на телевидении в «коммерческом» ролике, рекламирующем новый лосьон после бритья. Мне предлагали тысячу долларов за одно появление на экране. Это не Америка: это Калифорния. А вот послушай еще: шериф Лос-Анджелеса — его звали Бискайуз, и он был из басков — приглашает консульский корпус отобедать. Где? В городской тюрьме, в женском отделении, за решетками, с надзирателями... а обслуживали консульский корпус... женщины-заключенные! Не знаю, представляешь ли ты, какое кино это было? Тюремная столовая, вокруг решетки, вооруженные надзиратели в каждом углу и женщины-заключенные в робах — наркоманки, воровки, уличные проститутки, шлюхи за пять долларов, в тюремных робах, — обслуживающие шерифа и его гостей: сидевшего по правую руку от него — Генерального консула Великобритании с моноклем, по левую — Генерального консула Франции, и других консулов, расположившихся вокруг, и всех таких изысканных. В течение всей трапезы мне пришлось общаться с некой красоткой, которая, ставя передо мной блюда, нашептывала мне на ухо предложения конкретных услуг с самой невинной улыбкой. Калифорния, что тут скажешь! Да, пять лучших лет моей жизни, самых легких... Что-то вроде мультфильма, где все чудовищное обезврежено бурлеском, вроде случая с женой некоего продюсера, сидевшей за моим столом после раздачи «Оскаров» и повторявшей мне в присутствии мужа: *Fuck me, Consul General, honey, fuck me*^[97], а ее муж наклоняется ко мне и объясняет, что жена его уже несколько недель одержима бесом, которого очень сложно изгнать. Ты знаешь, самым большим успехом там сейчас пользуется «Изгоняющий дьявола», история девочки, одержимой бесом, но Калифорния всегда притягивала к себе все мистические секты, какие только можно себе представить, тут тебе и поклонники дьявола, и возлюбленные дочери Вельзевула — все это привело к чудовищной резне Чарльза Мэнсона, когда несколько одурманенных наркотиками хиппи ударами ножа убила Шэрон Тейт, ребенка, которого она носила в своем чреве, и всех ее гостей. Это страна, где с легкостью переходят от сексуальной одержимости к одержимости религиозной и где столь же охотно смешивают сперму со святой водой. И законы у них экстравагантные. Вскоре после своего приезда я имел дело с полицией, потому что оказался виновен в «техническом насилии»...

Ф. Б. Тебе, наверное, следовало бы объяснить, что значит «техническое насилие» в Соединенных Штатах.

Р. Г. Ну, я спокойно ехал на машине в Аризоне, где только что нанес визит моему консулу в Финиксе Полю Козу, большому другу краснокожих, известному там художнику и восхитительному человеку. На обочине я вижу молодую женщину, она голосует. Я останавливаюсь, она садится, сообщает, что едет в Лос-Анджелес, — и вот мы на пути в Калифорнию. Красивая рыжеволосая девица лет двадцати, с грудями как пушечные ядра; ее звали Лесли, как мою первую жену, что всегда производит впечатление, этакий перст судьбы. Делаем остановку, чтобы пообедать, едем дальше, и только я пересек границу между штатом Аризона и штатом Калифорния, как вижу полицейскую машину и двух фараонов, которые делают мне знаки остановиться. Я останавливаюсь, фараоны просят девицу предъявить документы, они у нее были, что сразу же вызвало у меня подозрения, потому что в Калифорнии никто с собой удостоверение личности не носит. Фараон бросает взгляд на документ, который она ему протягивает, достает из кармана наручники и заявляет, что я арестован, так как только что совершил «техническое насилие». «Техническим насилием» в американском законодательстве называется пересечение границы между штатами в обществе несовершеннолетней девушки, и это грозит тебе пятью годами тюрьмы, так как закон считает, что здесь имеет место не презумпция насилия, а просто насилие, и ты не можешь доказать, что не совершил сам акт, ты беззащитен. Я извлек свой дипломатический паспорт и консульскую визитную карточку, но они ничего не желали слышать, и чтобы вернуться домой, мне пришлось позвонить губернатору Калифорнии. Из-за моего дипломатического статуса меня не стали трогать, однако я нанял частного детектива, и так мне удалось узнать, что девочка эта была дочерью полисмена, который меня арестовал, и что это была подстава; они думали, я испугаюсь скандала и им удастся вытащить из меня несколько тысяч долларов, а потом они оставят меня в покое. Вот так я был обвинен в «техническом насилии», которое действительно является наименее удовлетворительной формой насилия из всех, что только можно себе представить.

Ф. Б. Ты был в Лос-Анджелесе в 1956-м, когда тебе присудили Гонкуровскую премию за «Корни неба»?

Р. Г. Нет. Незадолго до этого меня послали в командировку, в качестве поверенного в делах в Боливии, и как раз там я чуть было не лишился Гонкуровской премии.

Ф. Б. Не лишился?

Р. Г. Да, посмертно Гонкуровские премии не дают. За

несколько дней до присуждения премии я с парой сотрудников, одним из которых был Буланже, атташе по торговле, отправился в экспедицию на остров Солнца, посреди озера Титикака. Боливия находилась тогда, как, впрочем, и сейчас, в состоянии хронического мятежа. Это были великие годы Лечина, профсоюзного лидера боливийских шахтеров, которые прогуливались с динамитными шашками за поясом. В целях безопасности движение на дорогах ночью было запрещено. Мы садимся на паром и приплываем на остров Солнца. Было очень жарко, и я хотел пить. Беру бутылку пива, откупориваю и пью из горлышка... Чувствую порез в горле и, посмотрев на горлышко бутылки, вижу, что оно раскололось и половину его я проглотил, два сантиметра острого стекла. Пробождение кишок гарантировано. Телефона на острове не было, и никакой возможности покинуть остров в течение двенадцати часов, до следующего утра, пока не восстановится движение и сообщение. Буланже смотрит на меня, делает ужасную мину и весьма здраво заявляет: «Черт, жаль, что так вышло с Гонкурром». Я сажусь на землю, не очень-то довольный, и жду первых болевых признаков, пока боливийский гид из вежливости веселится, потому что он из тех парней, у кого смерть вызывает смех, у него это нервное. Наконец хозяин местного ресторана подсказывает решение: на острове есть колдунья, известная своими чудесными исцелениями. Я говорю, ладно, колдунья так колдунья. И вот мне приводят невероятное создание, старое и ухмыляющееся, дурно пахнущее; она тут же вдохнула в меня надежду — у нее была такая мерзкая рожа, что было совершенно очевидно, что она в теплых родственных отношениях с Судьбой. Она уходит и возвращается с двумя килограммами мягкого хлеба и бутылкой совершенно омерзительного масла и предлагает мне проглотить все это; о, как это было противно, но я добросовестно запихнул в себя два кило свежего хлебного мякиша и бутылку масла и лег в постель, едва сдерживаясь, чтобы меня не вырвало, и всю ночь не сомкнул глаз — на тот случай, если пролечу с Гонкурром. Никаких болей у меня не было, а когда я вернулся в Ла-Пас, в больнице из меня без особых проблем извлекли стекло — его обволакивала своего рода защитная паста из масла и хлебного мякиша. Так что не следует пренебрегать колдунами. Несколько дней спустя боливийские газеты сообщали на первых страницах: *Premio Goncourt aquí*, лауреат Гонкуровской премии здесь, описывая затем само событие мелким шрифтом на другой странице, так что у всей страны создавалось впечатление, что это боливийский писатель только что получил Гонкуровскую премию. Мне дали двухнедельный отпуск для поездки в Париж, после чего я снова

приступил к своим обязанностям в Лос-Анджелесе, где провел еще четыре года.

Ф. Б. *Что чувствуешь, когда получаешь Гонкуровскую премию?*

Р. Г. То же, что и в Голливуде. Это рекламный момент в общей эфемерной суете наград, оценок и критики.

Ф. Б. *Это ничего не изменило в твоей жизни?*

Р. Г. Это изменило мое местожительство. Я смог позволить себе «Симаррон», мой дом на Майорке на берегу моря, где я провожу пять-шесть месяцев в году...

Ф. Б. *Ты много времени проводишь нигде?*

Р. Г. Много, но я, по крайней мере, осознаю это, тогда как большинство людей, с которыми я встречаюсь, уже так прижились и настолько поверили, что, находясь нигде, они находятся у себя дома, что это приводит в ужас... своей нереальностью. Естественно, что после того, как я оставил дипломатическую службу, я не перестаю колесить по свету, занимаясь журналистикой или кино, или просто следуя вращению Земли, которая нуждается в том, чтобы за ней присматривали...

Ф. Б. *Момент, когда ты покидаешь Лос-Анджелес, совпадает с переменой в твоей жизни. Ты разводишься с первой женой, порываешь с Министерством иностранных дел, уйдя в «резерв» на десять лет, и, продолжая выдавать по роману в год, начинаешь заниматься кинорежиссурой и журналистикой, главным образом в Америке... Это был осознанный разрыв?*

Р. Г. Да. Мне было сорок шесть, и я слишком удобно устроился и в самом себе, и на службе, мне угрожала пожизненная рутина и вечно неизменный я сам... Я решил все взорвать, нечто вроде «культурной революции» по-китайски: пересмотр всего, что было достигнуто в личном плане. Это было нелегко, в особенности в том, что касалось службы. Я привык к Клубу, к привилегированной жизни за границей, к нахождению за пределами Франции и ко всей этой суете внутри министерства: друзья, смена должностей, бесшумные шаги в коридорах и чувство причастности к Клубу избранных... Впрочем, через полтора года после ухода я совершил крайне несвойственный мне поступок — я сделал шаг назад: я предпринял демарш в отношении Кабинета, чтобы узнать, сожалеют ли там о моем уходе, могут ли обойтись без меня и не будут ли умолять меня вернуться... Директор по кадрам был, наверное, лучшим моим другом в министерстве, и вот какое письмо он мне написал:

Мой дорогой Ромен!

Хоть я и нормандец, ответ, который я вам даю, является отражением не моего происхождения, а самой

реальности, такой, по крайней мере, какой я ее вижу.

Ваше возвращение «в лоно Церкви» создает, на мой взгляд, нечто большее, чем просто техническую сложность, и в гораздо меньшей степени вызывает принципиальное возражение. Техническая сложность, вы ее знаете, или, вернее, догадываетесь о ней, так как дела идут хуже некуда после введения нового статуса, который увеличил число претендентов, не изменив числа мест, подлежащих распределению.

Что же касается принципиального возражения, тут не все так ясно. В той степени, в какой я могу предположить и определить, что думают наверху, скажу, что вас считают в настоящее время слишком вовлеченным в различные виды внешней деятельности — то обстоятельство, что она блестяща и увенчана лаврами, лишь усугубляет положение вещей, — чтобы «снова стать сотрудником как все».

Это не означает, что для вас не найдется больше места в министерстве, просто вы ставите перед нами деликатную проблему использования.

Впрочем, ситуация может со временем измениться, так же как может появиться пост, который подошел бы вам по всем параметрам. Поэтому не следует считать позицию окончательной и не подлежащей пересмотру.

Примте, мой дорогой Ромен...

Это было написано приятелем и являло собой опус хорошего качества; для любого, кто знает этот язык, ключевой была фраза: «Впрочем, ситуация может со временем измениться», что означало, что нужно подождать ухода Кув де Мюрвиля, который был тогда министром иностранных дел. И когда Кув де Мюрвиль ушел, я действительно получил от Барадю, начальника отдела культурных связей, и от Бюрена де Розье, нашего посла в Италии, предложение снова работать в Министерстве иностранных дел в качестве советника по культуре в Риме. Однако к тому моменту я носил уже очень длинные волосы, джинсы, и, после семи лет службы в военно-воздушных силах и пятнадцати лет дипломатической, у меня больше не было желания снова надевать ошейник.

Ф. Б. Из приведенного письма ясно следует, что Кув де Мюрвиль противился твоему возвращению «в лоно Церкви». Ты на него за это не в обиде?

Р. Г. Ничуть. С ним у меня сохранились приятельские отношения. Отказ реинтегрировать меня не был следствием его

отношений со мной, причина крылась в его отношениях с самим собой. Мне кажется — да простит он меня! — что у Кув де Мюрвиля довольно сложные отношения с самим собой, а по общему правилу в подобных случаях за издержки платят другие. В министерстве был известен его дисциплинарный ригоризм, об этом знали все, как о страсти Жоржа Бидо к корнишонам. Но когда нужно было принести себя в жертву, он не колебался. Одним из самых ужасных зрелищ, при которых мне довелось присутствовать, был визит Кув де Мюрвиля в Диснейленд, когда он был послом Франции в Вашингтоне. Он подчинился американской фольклорной традиции с самоотречением, достойным восхищения, и клянусь тебе, что зрелище, которое представлял Кув де Мюрвиль, вращающийся в одной из этих чайных чашек на блюде, которые есть у них в Диснейленде, или гарцующий на деревянных лошадках, являлось самым замечательным примером преданного отношения к своим обязанностям и представительским функциям, который только мог подать посол-протестант... Нет, я на него не в обиде, и, кстати, в момент моего возвращения из Лос-Анджелеса я получил отличную компенсацию. Де Голль пригласил меня на обед — среди прочих там был Галюшон и еще три или четыре человека, если нужны свидетели... Генерал спрашивал меня: «Что вы сейчас собираетесь делать, Ромен Гари?» Я отвечаю, что лежу в холодильнике: так во французском МИДе говорят о дипломатах без назначения. А он говорит: «Не согласитесь ли работать со мной?» Он не упомянул ни о какой конкретной должности, но единственным свободным постом в его аппарате в тот момент был пост дипломатического советника. Что ж, пост дипломатического советника генерала де Голля — это вызывает уважение, если смотреть со стороны, однако на самом деле в нем не было смысла, де Голль нуждался в дипломатическом советнике примерно так же, как твоя родная Швейцария в дополнительных горах.

Ф. Б. *Что ты ответил генералу?*

Р. Г. Я ответил слишком поздно, потому что я как бы подумал несколько секунд, а это было немыслимо. Партия была проиграна... На самом деле я не думал, я был ошарашен. Я прекрасно знал, что дипломатический советник или что-то другое означает лишь присутствие. Но я был бы тогда карьерным дипломатом на посту советника при де Голле — это означало успешную карьеру. А какой наблюдательный пост для любителя человеческой натуры! И потом, возможность говорить со стариком едва ли не каждый день... Полагаю, ни о чем другом, кроме как о Мальро, мы бы не говорили. И тем не менее... Я

ответил: «Мой генерал, я хочу писать». Он заговорил о другом: о переводе Хаммаршельдом стихов Сен-Жон Перса... Несколько дней после этого я не находил себе места.

Ф. Б. Почему ты отказался?

Р. Г. Из лояльности.

Ф. Б. Кому?

Р. Г. Из лояльности де Голлю. Я не мог с ним так поступить.

Ф. Б. В каком смысле?

Р. Г. Я знал человека и его требования. Я не мог работать рядом с де Голлем, потому что хотел сохранить свою сексуальную свободу.

Ф.Б. ...

Р. Г. Напрасно ты смеешься. Я имею в виду, что я не мог быть сотрудником генерала, я не мог соответствовать его требованиям официальной иерархии и вести при этом свободную сексуальную жизнь. Это вопрос порядочности. А я думаю, что никто в моей жизни, кроме Франсуазы из Латинского квартала, не может обвинить меня в отсутствии порядочности. Де Голль придерживался этики респектабельности в своем понимании государственной службы, которую я не мог, не хотел применять к себе и соблюдать. Поэтому мне надо было выбирать между ложью, двойной жизнью и отказом. Это были мои последние молодые годы, ну, относительно молодые, и я не собирался жертвовать своей природой, любовью к жизни ради амбиций, ради карьерных соображений. Я не мог соблюдать этот контракт. Я могу строить свою личную жизнь так, как мне хочется, но, став непосредственным сотрудником генерала де Голля, я вступил бы в этику жизни другого, в этику, требования которой я знал и должен был бы соблюдать из лояльности. Разумеется, я иногда все же задаюсь вопросом, не поступил ли я как сноб...

Ф. Б. По-видимому, между тобой и генералом де Голлем на самом деле существовала полная несовместимость в этом плане... Он был очень строг...

Р. Г. Об этом никому ничего неизвестно. Мы узнали его на склоне лет, когда он уже превратился в памятник... О его юности в Варшаве или в прочих местах... Ничего! Я расскажу тебе, к примеру, одну занятную историю, которую услышал от бывшего госсекретаря в Министерстве иностранных дел господина Липковски.

Ф. Б. Он и сейчас там работает.

Р. Г. Ах вот как. Он написал очень хорошую книгу о Китае, «Когда Китай очнется».

Ф. Б. Да нет же, это не он, ее написал Ален Пейрефит!

Р. Г. Да, да, верно. Во всяком случае, вот какую историю он мне рассказал. Он проводил тогда свою первую депутатскую избирательную кампанию в Парижском регионе. Он произносил очень яркую речь, что-то вроде: «Де Голль — великий, благородный, чистый, красивый и щедрый», — сабли наголо, как ты понимаешь. Вдруг в зале встает некий тип и орет: «Не смешите нас со своим де Голлем — Непорочной Девой Марией! Моя жена работала служанкой у де Голлей, когда была еще молоденькой. Так вот, ваш де Голль лез к ней под юбку».

Ф. Б. О боже!

Р. Г. Самое смешное, по-моему, какое впечатление это произвело на зал. Произошел раскол, с идеологической разделительной полосой как раз посередине. Одна часть избирателей принялась горланить: «Ты плохо за ней смотрел, за своей потаскушкой!» А другая: «Браво, это доказывает, что у него он был!» Иметь его или не иметь, понимаешь, вот, судя по всему, настоящий крик души, который идет от самого сердца...

Ф. Б. Трудно представить де Голля за таким занятием.

Р. Г. Де Голля вообще трудно представить.

Ф. Б. Ты уверен, что это правда?

Р. Г. Я рассказываю о том, что произошло в ходе предвыборной кампании депутата Жана де Липковски, и случай этот подлинный. Остальное... О де Голле всегда говорили как о статуе Командора, которая приходит и тащит распутника в ад: для человека, обольщавшего страну в течение двадцати лет и который был в этом отношении самым великим обольстителем, за которым пошла Франция после Бонапарта, это, согласись, весьма забавно.

Ф. Б. Здесь ты со своей обычной виртуозностью переходишь к некоему признанию, сделанному «походя», что позволяет тебе одновременно сказать правду и скользнуть по ней... Получается, что ты отказываешься стать непосредственным сотрудником генерала де Голля, «желая сохранить свою сексуальную свободу», что представляется мне не столько провозглашением твоей распутнической веры, сколько, наоборот, тайным отречением от себя самого и достаточно смиренным уважением к нравственным критериям другого, нравственным критериям де Голля. В целом что-то вроде чувства собственной недостойности...

Р. Г. Послушай, Франсуа, когда ты выдвигаешь обвинение против моего «я», уличаешь его в недостойности или в

ничтожестве, я не против... Я не уставал повторять в ходе этих бесед, что не испытываю никакого почтения к своему собственному «я». Однако я вынужден вернуться здесь к вопросу лояльности. Я всегда вел лояльно игру команды, к которой принадлежал. В течение пятнадцати лет работы в министерстве я играл как остальные члены команды, говорил на принятом там языке, одевался в Лондоне, держался изысканно. Цивилизации, общества да и сам человек — это, по большей части, дело условностей, командная игра, в которой соблюдают произвольно изобретенные, сформулированные и закодированные правила. Таким образом, если есть нечто, на что я совершенно не способен, так это входить в команду, приняв ее правила игры, и в то же самое время провозглашать себя свободным от любых обязательств по отношению к команде и к правилам. Я был знаком с этикой Шарля де Голля и мадам Ивонн де Голль. Я не мог войти в эту команду и ломать комедию, продолжая отдавать дань совершенно другому представлению о Франции.

Ф. Б. *Каким именно образом?*

Р. Г. Де Голлю я предпочитаю женщин, тебе подходит такое объяснение? И учти, это общество лицемерно, и стоит лишь заговорить о сексе, оно злорадно ухмыляется, так что уже невозможно высказать свою любовь к жизни, не будучи тут же произведенным в ранг бабника...

Ф. Б. *Тем не менее в этом отказе было твое уважение к де Голлю...*

Р. Г. Прежде всего в нем было понимание ценностей другого и этического мира другого.

Ф. Б. *Не смахивало ли это немного на преклонение?*

Р. Г. Нет. Я всегда предпочитал женщин де Голлю, вот и все. Я все больше и больше отмежевываюсь от всех так называемых мужских ценностей...

Ф. Б. *По мере того как проходят годы?*

Р. Г. *No comments*, как уже было сказано. Я всегда обожал жизнь, и теперь, когда это скоро закончится...

Ф. Б. *Что скоро закончится?*

Р. Г. ...и теперь, когда моя жизнь подходит к концу, я не ищу убежища в абстракции, будь то Бог или женственность, возведенной в ранг культа. Потусторонние миры, «другая жизнь» меня не интересуют: я слишком люблю поспать. Просто я констатирую, что если я посмотрю на свою жизнь, если я обращу взор на свое прошлое, я увижу, что мои самые прекрасные моменты связаны с женственностью. И что «христианские ценности» или «социализм с человеческим лицом» — это женские понятия. И что неоспоримый в своей очевидности факт

закljučается в том, что женственность говорит с нами не из Китая, не из СССР и не из Соединенных Штатов...

Ф. Б. *В мае 1974-го тебе стукнет шестьдесят. Как тебе это представляется?*

Р. Г. Представляется. И все.

Ф. Б. *А как насчет будущего?*

Р. Г. Мои посмертные истории меня не интересуют. Впрочем, я ничем не рискую. Я знаю одну уловку.

Ф. Б. *Уловку?*

Р. Г. Да. В тот день, когда я не смогу больше любить женщин, я стану чесать им спинку.

Ф. Б. ...?

Р. Г. Да. Они это обожают. Всю свою жизнь я слышал: «Почеси мне спинку». Так что когда все остальное уйдет, я буду чесать им спинку.

Ф. Б. *А как же любовь?*

Р. Г. Для нее сейчас наступили очень тяжелые времена. Налицо кризис воображения, а без воображения у любви нет шансов. Демистификация всего тоже прошла через это. Избыток романтизма, пустой болтовни, идеализма и восторженности или же, если тебе так больше нравится, «обработка мозгов» сменилась промыванием мозгов во имя реализма, тогда как все забывают, что в самом реализме содержится некая часть условности, часть культурной условности. У человека украли его мифическую, воображаемую часть, и это не дает нам человека «настоящего», а дает человека немощного и увечного, потому что нет человека без его поэтической части, нет Европы без воображения, без «доли Рембо»: без всего этого получается не господство реализма, а господство ничтожества. Между тем если есть часть человека, которая не может обойтись без воображаемого, так это наша любовная часть. Ты не можешь любить женщину, мужчину, если сначала их не придумашь, ты не можешь любить *другого*, если сначала не придумашь его, не выразишь, потому что красивая история любви — это прежде всего два человека, которые придумывают друг друга, что делает реальную часть приемлемой и даже необходимой, как изначальный материал. То, что прежде называлось «большой любовью», это преданность двоих — в течение всей жизни и нередко до глубокой старости — этому творению воображения, которое они вместе создали, двоих, которые сначала придумали друг друга... Но мечта была разбита во имя реализма, а всякий стопроцентный реализм является фашистским и нацистским. Но тут мы вступаем в область гибели цивилизаций... А читателям это неинтересно, это же не «Го-Мийо»^[98].

Ф. Б. *И все же продолжай.*

Р. Г. Человек без мифологии человека — это тухлятина. Ты не можешь демистифицировать человека, не обратив его в ничто, а ничто — это всегда фашизм, ведь если вокруг — ничто, нет больше причин стесняться. Цивилизации всегда были поэтической попыткой — будь то религия или братство — придумать миф о человеке, мифологию ценностей, и для того, чтобы попробовать оживить этот миф или, по крайней мере, к нему приблизиться, они старались имитировать его самой своей жизнью, воплотить его в виде какого-нибудь общества. Это распространяется и на «человека эпохи Возрождения», и на «человека гуманного», и на «человека коммунистического общества», и на «человека Мао». Франция как миф существовала лишь благодаря этой поэтической составляющей, и отношения Мао с Лениным такая же экзальтация воображения, как отношения де Голля с Францией. Как только эта иррационально-поэтическая часть устраняется, остается одна демография, голые цифры, трупное окоченение и просто труп. Перед нами всего лишь экономический человек, тот, кого осудил сам Мао, что само по себе интересно... Это не идеализм, не романтизм: это истина, которая сразу видна во всей истории цивилизаций. Когда женщина придумывает мужчину с любовью, когда люди придумывают человечество с любовью, образуется пара и цивилизация. Однако буржуазные и псевдокоммунистические общества обесчестили воображаемое ложью. В наших взаимоотношениях с ценностями мелкобуржуазные и мелкомарксистские общества убили «долю Рембо» — прекрасную и воображаемую часть — тем, что непрестанно лгали. А когда захотели истребить ложь в буржуазных обществах, то пошли до конца: истребили воображаемую поэтическую часть, без которой нет ни цивилизации, ни человека, ни любви. В плане одной лишь реальности человек, в сущности, неразличим, ибо все понятия братства, демократии, свободы — это условные ценности, их получают не от природы, это решения, выбор, прокламации воображаемой части, ради которых часто жертвуют жизнью, чтобы дать жизнь им. И если ты положишь конец этому «господству поэзии», этой «доле Рембо» в человеке, в цивилизациях, в слове «Франция», в слове «Европа», ничто больше не мешает тебе быть каннибалом или заняться геноцидом: стоит только убрать миф — и ты уже ходишь на четвереньках.

Ф. Б. *Есть черная магия и белая магия. Фашизм тоже был мифологией.*

Р. Г. Я сейчас говорю о культуре — о гуманизме... С того момента, когда человек перестает быть священным понятием, то

есть таковым не провозглашается, соответственно, не является избранным, придуманным, — ты оказываешься в каком-то порнографическом фильме, где любовь уже невозможна... А без любви жить нельзя. Я, во всяком случае, не могу.

Ф. Б. *И как же ты выходишь из положения?*

Р. Г. Я переживаю любовные истории, о которых пишу. Я иду за этим к другим, я переживаю любовь других... Как в «Чародеях», моей последней книге. Я не написал ни одного романа, который не был бы историей любви, будь то к женщине или к человечеству, к цивилизации или к свободе, к природе или к жизни, что, в сущности, сводится к одному и тому же. Когда их любовь становится слишком ненасытна, когда она слишком давит из-за контраста между величием вдохновения и мечты и поведением объекта любви, мои персонажи принимают танцевать джигу, пытаясь с помощью легкомыслия избавиться от этого изнурительного пресса, как Матье в «Повинной голове» и Чингиз-Хаим в «Пляске Чингиз-Хаима». «Пляска Чингиз-Хаима» — это любовь моего персонажа к Лили, а Лили — это человечество, Флориан — смерть, а Чингиз — робкий вздохатель, все время получающий вежливый отказ и уничтоженный себе в наказание. Тема всех моих книг, и даже тех, которые кажутся самыми фривольными, как «Леди Л.», это комедия абсолюта, вдохновения, мечта об ином.

Ф. Б. *О Боге?*

Р. Г. Я не ищу дачи, где можно отдохнуть. А любовь и братство — это тоже по-своему сложные требования. Абсолютное отчуждение культуры — одно из величайших поражений Запада, и оно стало Западом. Культура уже не одно столетие является либо привилегией, либо наслаждением, либо отклонением, либо алиби, а именно это и делает все нынешние идеологии бессильными, делает коммунизм сталинизмом, это Прага. Сталинский коммунизм или Прага — поражения не коммунизма, это — поражения христианства, у которого не получилось братства...

Ф. Б. *Когда ты оставил дипломатическую службу — а с ней и некоторое материальное благополучие, — как ты жил?*

Р. Г. Мой американский издатель и Галлимар гарантировали мне ренту, какими бы ни были продажи моих книг, я даже не обязан публиковаться, в том смысле, что могу отложить свои рукописи для посмертных публикаций. Я дополнил это журналистикой и кинематографом.

Ф. Б. *В Соединенных Штатах ты больше известен, чем во Франции?*

Р. Г. Не знаю, но тиражи там больше. В течение нескольких

лет я много писал в американские газеты и журналы и продолжаю это делать, но гораздо реже. В течение двух лет у меня был открытый авиабилет на перелет в любую точку земного шара, я мог сбежать куда угодно, если была необходимость, то есть если мне казалось, что я не там, где должен быть. Сейчас я утомился, потому что хочу больше времени проводить с сыном. Я не хотел бы, чтобы он был похож на меня.

Ф. Б. *Заглянув в твой паспорт, я только за один 1972 год нахожу десятка три въездных виз и штампов о прибытии. От Азии до Африки, от Южной Америки до Польши...*

Р. Г. Я не считал.

Ф. Б. *Но как тебе в таких условиях удастся заниматься творчеством?*

Р. Г. Я пишу или диктую по семь часов в день, не важно, в каких условиях, и не важно где, я не мог бы выносить мир без этого. Весьма существенно и то, что я в течение семи лет был летчиком, и мой единственный настоящий отдых, мои «отключения» — это самолет, длительный полет над землей. Это единственные моменты, когда все нервные каналы, связывающие меня с миром, с людьми, разрываются, страдание больше по ним не проходит, оно не зовет меня к телефону. Прибыв на место, будь то в Бангкок, Сингапур или Йемен, и какими бы ни были мои журналистские обязательства в тот момент, я с утра набрасываюсь на бумагу и начинаю выяснять, как там все это происходит у других. Роман — это братство: ты влезаешь в шкуру Других. Разумеется, я испытываю потребность время от времени возвращаться в Париж, на улицу Бак, к привычным местам, к каким-то быстро, где я могу окунуться в повседневную действительность, присесть. Но все это ненадолго, и я звоню Ланцу, моему представителю в Нью-Йорке, а он спрашивает: «Куда вы хотите бежать?» — и всегда находит заказ на репортаж или рассказ, который я должен написать, нередко в течение двух суток. Однажды я просыпаюсь утром на острове Пинанг, в Малайзии, — я прибыл туда за свой счет, потому что считал себя влюбленным, — и обнаруживаю, что мне нечем заплатить за отель. Звоню Роберту Ланцу в Нью-Йорк, и он находит мне заказ на репортаж... на Пинанге, в Малайзии, для журнала *Travel + Leisure*. В Соединенных Штатах ценят мой стиль, и это работает до сих пор. К сожалению, встречаются и пройдохи. Я заключил контракт на предисловие для одной книги об исчезающих видах — сюжет, который мне интересен по причине моих взаимоотношений с самим собой, тема, которой я уже касался, — однако на сей раз это еще и предполагало путешествие на Южный полюс, в Антарктику. И вот когда я прибываю в Нью-Йорк,

главный редактор делает вид, что напряженно думает, а затем говорит: «Это действительно исчезающие виды, ведь так?» Я отвечаю, что да, разумеется. Он широко улыбается: «Тогда, старина, не стоит ехать на Южный полюс, чтобы на них посмотреть, ведь они исчезают». Пришлось помахать ручкой Антарктике и писать по памяти и по документам. Я занимался еще и сценарной хирургией. Как-то раз рванул в Кению, чтобы за три дня переделать сценарий, написанный для зимней Норвегии. Иногда меня вызывали в последний момент, когда уже была отснята половина фильма, и вдруг обнаруживалось слабое место, какая-нибудь чушь; и это довольно неплохо оплачивалось для нескольких дней работы. Я очень любил писать для «Лайф», который перестал выходить, однако, как правило, я даже не знаю, какая из газет что публикует и где, в Сент-Луисе или в Сиэтле. Я почти всегда отправлялся без багажа, потому что глупо экипироваться в Париже для Новой Гвинеи. Я по дешевке покупаю шмотки на месте, и когда они пропитываются потом, выбрасываю.

Ф. Б. *А для французских газет ты никогда этого не делаешь?*

Р. Г. Один раз для «Франс-Суар», когда начальником был Лазаревф, это был большой репортаж о Красном море. Он прошел на ура, но стоил мне очень дорого в смысле заражения всякого рода вирусами; дома я больше не чувствую себя комфортно, я словно у кого-то другого, в гостях у господина, которому скоро стукнет шестьдесят. И потом, слушай, новый директор одной большой газеты приглашает меня на беседу. Предлагает мне переделать один большой репортаж. Разговор заходит о расходах, мне предлагают крохи. И вышеназванный босс заключает: «Для вас ведь репортажи — это отдых...» Представляешь? Большой репортаж — это грязь, неприятности, истощение, глисты... А он говорит: «Для вас это отдых, не так ли?» Впрочем, обаятельный человек, мы очень вежливо распрощались. К счастью, в Нью-Йорке есть Ланц. Не знаю, что бы я без него делал. Пять лет назад я заболел, думал уже, что загнусь, и тогда я в последний раз захотел посмотреть на слонов в Африке. Я ему телеграфирую. Через десять дней получаю от Ральфа Грейвза, владельца «Лайфа», заказ на большую статью... о слонах. Это надо уметь. Надо уметь такое сделать. Не знаю, что бы со мной было без Роберта Ланца, он мне и мать и отец.

Ф. Б. *Что заставляет тебя колесить по свету?*

Р. Г. Не знаю. Мне всегда кажется, что в чужих краях что-то есть.

Ф. Б. *Что именно?*

Р. Г. Не знаю. Что-то, кто-то. Что-то есть, и надо только поискать.

Ф. Б. Что?

Р. Г. Послушай, Франсуа, если бы знали, то уже давно нашли бы и больше не искали и не мучились.

Ф. Б. *Иные места, что-то другое и кто-то другой?*

Р. Г. Иные места, что-то другое и кто-то другой.

Ф. Б. *Это, случайно, не метафизическая тревога?*

Р. Г. Нет.

Ф. Б. *Тебе не кажется, что тебе кого-то не хватает?*

Р. Г. Ну все, довольно, прошу тебя... «Собака без хозяина» — вот как я это называю, это взаимоотношения с Богом либо с отсутствием Бога — Бог ощущается как присутствие или как нехватка, — это всегда взаимоотношения с ошейником и поводком, и мне они совершенно чужды. И я категорически отказываюсь делать рекламу «Обещания на рассвете», эту рекламу, сшитую по заказу и уже готовую, идею которой не перестают мне ненавязчиво подсказывать многочисленные читательницы, те, кто сделал бы из меня, в шестьдесят лет, «безутешного сына», не переставшего печально раскачиваться, как сломанная марионетка, на конце отрезанной пуповины... Со времени выхода книги в 1960-м непонимание только растет. Мне тогда было сорок шесть лет, и мой возраст легко было вычислить, но как раз с того момента я начал получать предложения об усыновлении, которые продолжают сыпаться на меня, словно я все еще мальчик в коротких штанишках. Это невероятно трогательно и вместе с тем поразительно, сколько матерей готовы меня усыновить, предлагая своим собственным детям слегка потесниться, чтобы образовалось местечко для меня. В этом, разумеется, есть соблазнительная легкость — можно выйти на панель, стать чем-то вроде шлюхи, живущей за счет своей собственной книги. Черт! Я теперь старый пес без хозяина и намереваюсь им оставаться, безродным, ничьим, без папы и мамы, и я не хочу рыться в эмоциональной помойке. Разумеется, есть та, уже знакомая тебе тревога, которая побуждает меня к этим гонкам по всему свету в поисках чего-то или кого-то, как ты правильно заметил. Но это не поиск «потерянного дома»: это поиск Романа. Мои гонки по всему свету — это погоня за Романом, за многогранной жизнью. Мне не хватает моего «я», и когда я провожу несколько недель, допустим, в Куала-Лумпуре, живя в небольшом переулке среди малайцев и китайцев, мое «я» диверсифицируется, а когда ты делаешь это пять-шесть раз за год, происходит творческая диверсификация «я», появляется Роман. А главное — начинается творчество, потому что написать книгу или разнообразить свою жизнь — это всегда творчество, перевоплощение, проживание множества жизней, разных, это

погоня за Романом. Когда я слишком долго остаюсь в своей шкуре, мне становится тесно, я чувствую себя побитым и начинаю страдать клаустрофобией, но если в это время я пишу роман, то в мире, который я таким образом создал, устраиваюсь и я, на шесть-семь месяцев. Если в это время я мчусь в Полинезию, на Сейшелы или в Орегон, то это во мне говорит потребность в обновлении, в перемене, так как сексуальность, в конце концов, слишком эфемерна и головокружительна и позволяет порвать с самим собой и с повторением одного и того же лишь на очень короткое время...

Ф. Б. *Я не знал, что путешествия подготавливают стар... извини, я хочу сказать, зрелость.*

Р. Г. Не извиняйся, расслабься: мы с тобой одного возраста... Я хочу быть всеми и во всех, и это делает географию очень заманчивой, так как число романов, в которых ты можешь избавиться от твоего «я», весьма ограничено, потому что если тебя продержат три дня в Тапачуле, на границе Мексики с Гватемалой, ты живешь в течение всего этого времени жизнью другого, а это тоже своего рода творчество. Так что речь идет вовсе не о бегстве за пределы реальности, а об отъездах ради исследования и завоевания, в хорошем смысле, мира и жизни. Речь идет о любви к жизни, о желании впитывать, о созидании, которое не сводится к одному лишь письму. Например, мне отчаянно недостает Истории, я хотел бы ее пережить, хотел бы ее использовать повторно, прожить жизни Лопе де Веги, Вийона, Сервантеса и жизни всех человеческих галактик прошлого. Эта исчезнувшая История — чудовищная потеря Романа, и я ощущаю ее как нехватку, зияющую рану у себя в боку. Миллиарды томов жизни! Поэтому метафизическая тревога ни при чем. Это жажда жизни.

Ф. Б. *Счастье как душевный покой тебе знакомо? Спокойствие духа?*

Р. Г. Спокойствие духа — мне это совсем неинтересно; безмятежность, равнодушие, единение со вселенной — я не представляю, что это может дать человеку, который всегда любил *здесь и сейчас*. Но это очень хорошо помогает при стычках между автомобилистами, при вооруженных нападениях и полицейских грубостях, лучше увлечься дзен, чем заниматься карате. Спокойствие, знаешь ли... Я полностью успокоюсь, когда умру, для того оно и задумано... В моей эскадрилье был пилот, Бордье. Надевая перчатки перед тем, как сесть в самолет, он смотрел на небо, на звезды, затем с удовлетворением произносил: «Ночь будет спокойной». Возвращались всякий раз потрепанные, потеряв целые экипажи, но он, очень довольный, всегда повторял:

«Ночь будет спокойной», и его тонкие усики шевелились. А потом он не вернулся, он тоже... Только оранжевый шар вспыхнул в небе... По-моему, он был как раз тем человеком, кто мечтал о спокойствии... Со мной такое случается, конечно, случается...

Ф. Б. Почему ты никогда не создаешь романов из своих репортажей?

Р. Г. Потому что я их уже прожил. Я могу изложить на бумаге пережитый опыт, описать прожитую историю, как я сделал это в «Обещании на рассвете» или «Белой собаке», но я не могу сделать из этого роман, потому что реальность и правда моего уже «отыгранного» опыта ограничивают, сужают мое воображение. В этом и состоит различие между художественным вымыслом и ложью: различие между подлинным изобретательством и изворотливостью, которая искажает и фальсифицирует действительность... Когда я начинаю роман, я не знаю ни откуда я отправляюсь, ни куда я иду, я закрываю глаза и диктую, целиком отдаваясь чему-то, чья природа мне неизвестна. Когда я принимаюсь жить иной жизнью, жизнью другого, как только я начинаю говорить, творчество начинается с *прожитого* движения фразы, и это движение, этот поток вдруг увлекает меня в XVIII век или заставляет влезть в шкуру французского посла в Риме, с которым я никогда не был знаком, это происходит благодаря игре мысленных ассоциаций, словам, ритму фраз, которые дают рождение роману... И потом, не мешало бы все же когда-нибудь покончить с шуткой о том, что «правдивый» роман только тот, который о пережитом... Самые лучшие описания чумы мы находим в «Дневнике чумного года» Дефо, который никогда не видел эпидемии чумы. Для художника реальное никогда не будет правдой, жизнь — живой. Лучше знать пейзажи, которые хочется описать: это обычно позволяет отказаться от такого намерения. То, что подразумевают под «захватывающим реализмом», это острое ощущение реальности, но этого можно достичь также, заставив беседовать двух призраков. Реализм — это всего лишь техника на службе у изобретательности. Самые реалистичные писатели всего лишь контрабандисты ирреального. Реализм — это убедительная инсценировка мира; это прием, еще одно изобретение, которое скрывает другое, настоящее, то, которое должно пройти незамеченным под страхом художественного провала... Для автора художественного вымысла реализм заключается в том, чтобы не попасться.

Ф. Б. Около миллиарда человек сегодня представлены в литературе писателями и художниками, которые проповедуют — либо вынуждены проповедовать — противоположные идеи...

Р. Г. Это у них пройдет. Иначе говоря, если коммунизм

терпит неудачу в своей литературной эпопее, то это не из-за социалистического реализма: это потому, что он не нашел еще свои великие эпические таланты. Когда-нибудь коммунистический мир найдет свой эпический роман — просто им надо дать время забыть...

Ф. Б. *Вот это очень крепко сказано.*

Р. Г. ...Так что, как романист, я пишу, чтобы узнать то, чего я не знаю, чтобы стать тем, кем я не был, пережить опыт, жизнь, которые в реальности от меня ускользают. Но когда я уже пережил репортаж, сознательно собирать эти уже созданные, прожитые детали, выстраивая их заново уже в другом порядке, заботясь об искусстве... в этом я вижу жульничество и подделку, использование обьедков. Роман — это не плагиат реальности. У всего этого вкус уже сделанного и уже виденного, а я не могу пережить роман, то есть написать его, подогрев вчерашнее блюдо. А жаль, потому что опыт иногда бывает просто удивительным...

Ф. Б. *Ты можешь привести пример?*

Р. Г. Сколько угодно... Вот хотя бы репортаж, который я сделал для «Франс-Суар» на острове Маврикий и который я так и не опубликовал, потому что я его полностью запарол. Но зато я до самой последней минуты, вплоть до посадки в самолет, переживал удивительный опыт, который не был интересен газете, так как раскрывал мои взаимоотношения с самим собой... Остров Маврикий — это типичный «Клуб-Мед», даже там, где его нет, все тот же «тропический рай», от Карибского моря до Таити, смесь негров, индийцев, китайцев и кокосовых пальм. Кораллы, изумрудное море, белые пески — в общем, чартерные рейсы. Я провел две недели в поисках материала о мире, скрывающемся за всем этим, но кроме продавщиц в универмаге, зарабатывающих семь тысяч *старых* франков^[99] в месяц, полный провал, никакого способа проникнуть внутрь. А потом... это случилось накануне моего отъезда. Я жил среди всего самого лучшего, что там было: бунгало в лунном свете, обворожительные стюардессы с транзитных рейсов, островные романы как в кино, вся эта шоколадная экзотика. В конце аллеи, которая вела к моему бунгало, стояли такси для клиентов отеля. Накануне отъезда я оставляю машину на стоянке, направляюсь к своему бунгало и вижу, как в темноте в мою сторону движется какая-то фигура. Это был один из водителей, тучный индеец, с ляжками — как два огромных мешка с дерьмом, поразительно, наверняка он был местной достопримечательностью. Он спрашивает, не хочу ли я девицу, «которая делает все». Я отвечаю, что нет. «Есть одна шестнадцатилетняя», — говорит он шепотом. В тропиках все предложения такого рода — это всегда четырнадцать или

шестнадцать лет, даже когда им под тридцать, потому что поставщики знают: романтическая экзотика, она у белого в голове, он смотрит не глазами, а своими фантазмами. Один мой приятель сожительствова^л на Таити с настоящей ходячей развалиной, потасканной до невозможности, и он разве что не объяснял мне, что если у дамочки нет зубов, то это потому, что они у нее *еще* не выросли. Таксисту я сказал — нет, спасибо. И только я собрался пройти, как таксист бросает мне: «У меня и десятилетняя есть. Девочка десяти лет, но отлично дрессированная, настоящая обезьянка, *a little monkey*». Я останавливаюсь. Это делалось интересным. На следующий день я улетал, полностью заповор свой репортаж, и вот наконец я коснулся дна местного колорита. Я сказал: да, мне интересно. Можно взглянуть? Он показал мне свои зубы в улыбке «лунный свет». Гордый, понимаешь ли, тем, как хорошо он знает людей. Да, можно взглянуть, можно все, ха-ха-ха! Но надо идти к родителям, и вот он уже кладет руку мне на плечо, фамильярно, мол, наш браток. Десять лет, подумал я, конечно, в «Самаритен» можно найти все^[100], и тем не менее... Он привел меня в один из дощатых домов старинного «креольского» типа, которые напоминают дачи заслуженных советских писателей. Входим. Меня встречает семья, где перемешалась кровь негров, белых и индийцев, и, вероятно, это были не отец и не мать — но дети действительно были детьми. Старшая выглядела лет на шестнадцать, а младшей было лет двенадцать, если не меньше. Они дали мне потрогать ее грудь, чтобы убедиться... Впрочем, что я говорю «грудь»... ее там не было. Она еще не выросла. Я знал, что ничего не смогу вытянуть из девочки — она была еще слишком мала, чтобы о чем бы то ни было рассказать, поэтому я объявил, что беру обеих: старшую и младшую. Я заплатил вперед, и водитель привез нас троих в бунгало. Мне повезло. Мне действительно было чем полакомиться, потому что как только я объяснил старшей, кто я такой и зачем я их сюда привез, она как заговорила, так и не умолкала до трех часов ночи. Младшую усадили в угол с приемником, и я начал слушать. Разумеется, родители вовсе не были родителями, девочки не были сестрами, она объяснила, что клиентам нравится думать, что они сестры и занимаются этим друг с дружкой, но для меня тут не было ничего нового. Проституция в тропиках отличается от европейской тем, что у нас женщины ею занимаются, чтобы улучшить качество жизни, купить машину, квартиру, а там — чтобы выжить. Но что потрясает, ужасает — это замкнутость и невежество. Пример: говорю малышке, что я француз. Француз? Она радостно улыбается. Так вы можете достать для меня визу в... Китай? Да,

старик. В Китай. Франция все еще считается чем-то великим и всемогущим, на острове Маврикий мы можем все, значит... даже визу в Китай. Тут я и впал в отчаяние. Ибо эта девочка оказалась маоисткой, хотя политикой тут даже и не пахло. Точнее, это было политической фантастикой в том смысле, что она воображала, будто в Китае можно жить, не работая, и получать деньги от государства, чтобы быть счастливой. Она в подробностях мне все это объяснила, с мечтательным видом сидя у меня в бунгало, в то время как ее двенадцатилетняя «сестра» слушала транзисторный радиоприемник, после того как в течение целого года обслуживала в среднем от трех до четырех южноафриканцев и австралийцев за вечер. Потрясло меня не ее представление о маоистском Китае как о дискотеке, где Мао бесплатно раздает всякие побрякушки и богатства американского общества. Невероятной, пронзительной была мечта — и потребность знать. И вот тут я вошел в Роман, вот почему я и рассказываю тебе это — в связи с персонажем, который создается в движении, неудержимо, из себя самого. Ибо в присутствии этой девочки, этой мечты, этого крика души, я, чтобы ответить на эти вопросы, на три часа перевоплотился в маоиста. Я постарался нарисовать для нее портрет Мао настолько близким к «Красной книжечке»^[101], насколько это было возможно. В течение трех часов я позволял ей верить, пить и есть. Понимаешь, у нас можно говорить о десяти миллионах казненных Сталиным, о Праге, об идеологическом бреде — протестовать. Там это не имеет смысла. Это становится полным идиотизмом. На нулевом уровне это что-то нездешнее, происходящее где-то далеко, в чужих краях, на луне. Передо мной сидела девочка с большой мечтой в глазах, и ничего другого, никакой другой надежды, никакой возможности вырваться, полная беспомощность. Разрушить эту мечту было еще хуже, чем взять двух «сестер» и «давай, ты делай это, а ты это». Так что видел бы ты эту картину: в два часа ночи в бунгало за тридцать долларов этаким мещанин во дворянстве поет хвалебные оды Мао и маоизму; и я проложил пресловутое русское метро от Москвы до Пекина, метро, знаешь ли, поезд, который идет под землей... И вот таким образом к трем или четырем часам утра я был приглашен попристутствовать на следующий день на собрании «маоистской ячейки» в каких-то зарослях. Разумеется, я знал, что на острове Маврикий есть маоистская мини-группа, да, впрочем, и на карте острова фигурирует портрет Ленина. Ленина ставят там на марки, чтобы не пришлось его ставить куда-нибудь еще. Но это собрание «маоистской ячейки» я никогда не забуду. На острове Маврикий в горах есть настоящие дебри, с марышками и маленькими черными

поросятами, которые по-прежнему выглядят так, словно явились с волшебного-идиллических островов, которые столько сделали для обоев, ширм и ковров XVIII века. И в этих джунглях стоят миниатюрные буддистские храмы, с крышами как у пагод и разноцветными гипсовыми животными типа три тысячи лет до У. Д. — до Уолта Диснея. Внутри одного из таких храмиков и ждали меня младенцы мао — семь-восемь подростков, девочки и мальчики. У них там есть автомобильное масло, «Калтекс», сделанное в Техасе, название которого пишется на фоне красной звезды. Ребята соскоблили слово «Калтекс» так, что осталась одна звезда. Я устроился на алтаре, под звездой, а они сели на корточки вокруг меня, и в течение двух часов я отвечал на их вопросы о Мао, старался как мог. Я им дал возможность надеяться. Без цинизма, без обмана, без иронии. Попроси они меня спеть второй акт «Тоски» — я бы сделал и это. Впрочем, они не понимали ни слова из того, что я говорил, они не знали основ политграмоты. Они слушали музыку — и больше ничего. Мелодию надежды. Пять девушек и два или три парня, африкано-индусская мешанина с небольшой примесью китайского — крупное достижение европейского колониализма, этнический тупик, контрацепция, о которой забыли. Вопросы наивные до слез... Они хотели знать, есть ли у Мао рыболовецкие шхуны, так ли китайцы богаты, как лавочники у них на острове Маврикий, а один из парней, лет четырнадцати — пятнадцати, сказал, что у Мао должно быть много работы, потому что все китайцы — подлецы. Китайцы на острове Маврикий, как и на Таити, держат в руках торговлю, так что... Для парнишки они подлецы. В Индийском океане и южной части Тихого они — это прежние евреи, конкуренцию им составляют только индийцы в Африке... Этот мальчуган взял Мао у китайцев без китайцев, как Запад взял Иисуса у евреев без евреев. Есть в человеке ужасная часть, которая не хочет верить в человека из-за братства, ибо «если ты такой же, как я, ты ничто», и как раз благодаря этому и происходит надувательство: так что Перона можно привезти в Аргентину и выставить его труп на всеобщее обозрение, это ровным счетом ничего не меняет, миф о Пероне остается действенным... И когда я тебе расскажу эпилог, которым я увенчал это дело, ты увидишь, что жизнь, в ее тамошнем проявлении, заставила меня прожить на острове Маврикий главу из «Повинной головы», что роман переплетается с жизнью, и моя жизнь — это повествование то о пережитом, то о воображаемом, и что если американская газета назвала меня «коллекционером душ», то лишь потому, что я постоянно, всеми фибрами своей души стремлюсь собрать максимум многообразных «я». Помнишь

таксиста, который предложил мне десятилетнюю девочку с семьей в придачу? Я купил кусок фанеры и очень тонкие гвоздики длиной в полтора сантиметра. Вечером я вышел на аллею такси, пока водители мирно болтали на кухнях отеля, положил дощечку на сиденье мерзавца, остриями гвоздей вверх, к небу, к Богу и справедливости, туда, где нет ни того ни другого. Затем я вернулся к себе в бунгало, в ста метрах оттуда, лег, оставив дверь приоткрытой, и стал ждать счастья. Когда мешок с дерьмом всем своим весом рухнул на гвозди, он издал такой вопль, что... в общем, я не могу тебе описать, для меня это было успокоением разума, на меня снизошла благодать, безмятежность, наконец, некое подобие самой святости. Я бы с удовольствием изобразил этот вопль здесь, чтобы ты смог разделить мои чувства, побратски, но это неповторимо: нужно, чтобы две дюжины гвоздей вошли по самую шляпку в твой зад, чтобы вложить, как сделал этот ублюдок, всю душу в свой крик... Жаль, я не записал его на пленку, у меня был диктофон; но я об этом не подумал, и теперь у меня осталось лишь воспоминание, и оно стирается, потому что я не обладаю музыкальной памятью...

Ф. Б. *Это напоминает казаков из азиатской степи, когда они сводили счёты с помещиками во время Пугачевского бунта, который ты описал в «Чародеях»... В твоей жизни было немало сведений счетов, как, например, с ростовщиком Заразовым, в Ницце, о котором мы говорили... Все это находится в противоречии с твоими пафосными призывами к «феминизации» мира... В «Монд» ты развернул кампанию в защиту смертной казни, и это всего через несколько дней после казни на гильотине двоих убийц...*

Р. Г. Так, так, давай, давай поговорим об этой кампании в защиту смертной казни, которую я развернул в газете «Монд». Это очень интересно. Когда в Калифорнии была отменена смертная казнь в июне 1972 года, с Майорки, где я живу большую часть времени, я послал в «Монд» статью. В ней я утверждал, что эта отмена не представляется мне нравственным прогрессом, что она является следствием нравственного банкротства. Объясняю. Смертная казнь, «божья кара», «высшая мера» должна была играть *исключительную* роль для того, чтобы обозначить действие, исключительное по степени внушаемого ужаса, — убийство. Это было «ценностное обозначение» и означало, что человеческая жизнь священна и, забирая чью-то жизнь, всегда забираешь свою. Поэтому в Калифорнии, других частях Америки, да и повсюду в мире, резня, убийства под идеологическим прикрытием или под маркой «синдрома протеста» — терроризм, бомбы, заложники, массовые казни — стали разменной монетой, и убить кого-то по

той или иной причине означает обычный демографический «минус один». Будь то в Чили, Ирландии или Палестине — везде есть общепризнанное «право на убийство». Именно об этом я написал в нескольких строчках в конце своей статьи, которые исчезли в публикации. Убийство стало привычным и узаконилось «социальным объяснением» — разложившееся общество порождает преступников и так далее — либо идеологией. Убийство вошло в свод нравов и привычек: в Детройте оно бьет все рекорды. Поэтому я завершил свою заметку словами, что если смертная казнь лишилась всякого смысла, то это потому, что человеческая жизнь тоже его не имеет, поскольку убийство все чаще и чаще воспринимается как современный «способ выражения». Калифорния признала это нравственное банкротство, отменив высшую меру наказания, потому что американцы — прагматики. Вот что я написал. Я посылаю свою статью в «Монд» и жду. Ничего. Ее не публикуют. Проходит несколько месяцев. Я возвращаюсь в Париж на следующий день после казни двух душегубов. Помпиду отказал им в помиловании. В аэропорту Орли я покупаю «Монд». На первой странице вижу: «Дискуссия о смертной казни. Две точки зрения: профессор такой-то и Ромен Гари. Стр. 4». Открываю страницу четыре. Над первой колонкой изложение точки зрения вышеупомянутого профессора, который *против* смертной казни. И напротив — Ромен Гари. Эта верстка тут же выставила меня безусловным сторонником смертной казни, оправдывающим отказ президента помиловать двух гильотинированных преступников. Но если ты прочтешь мою статью, написанную по поводу отмены высшей меры в Калифорнии за несколько месяцев до этого, ты обнаружишь следующее: человеческая жизнь обесценилась, она потеряла свой священный характер, быть за или против смертной казни в кровавом обществе теперь ничего уже не значит с точки зрения обозначения жизни как ценности. Отменяя смертную казнь, просто признают тот факт, что со времен Сталина, Освенцима и прочих видов терроризма во всех его формах существует право убивать. Только вот своей версткой и выбором момента публикации «Монд» сделала меня защитником высшей меры...

Ф. Б. Зачем они это сделали?

Р. Г. У них под рукой была статья, написанная мною, которая казалась им более нюансированной, нежели другие, и когда вопрос вновь обрел актуальность, они ее опубликовали. Когда делают газету «по горячим следам» — делают газету, вот и все. Так, по крайней мере, мне объяснили. Аналогичный случай у меня произошел с «Франс-Суар». Находясь в Йемене, я написал

для них репортаж под заголовком «Сокровища Красного моря». Они его опубликовали, не посоветовавшись со мной, под заголовком «Преисподняя Красного моря», оскорбив таким образом людей — для чего не было никаких оснований в тексте, — которые так любезно принимали меня и помогали в Йемене. Для этого есть свое обозначение: это называется произвол... В результате на следующий день после публикации моей статьи «за смертную казнь» какой-то господин остановил меня прямо на улице, пожал мне руку и сказал: «Позвольте выразить восхищение вашей позицией. Вы, по крайней мере, мужик с крепкими яйцами». Яйца зачастую наделяют такими качествами, что просто диву даешься... Вот что касается моей «жестокости».

Ф. Б. *И все-таки, какова твоя позиция относительно смертной казни?*

Р. Г. Я за смертную казнь, исключительно когда речь идет о наркодилерах и палачах детей. В остальном я оставляю за мэтрами Но и Бадентером право решать, возможно, они предпочли бы отправить эсэсовцев, истребивших все население деревни Орадур, в реформированные и «гуманные» тюрьмы с целью их перевоспитания.

Ф. Б. *Ты послал уточнение в «Монд»?*

Р. Г. Шутишь? У меня вовсе нет этого целомудренного, изысканного и припудренного нравственной красотой рвения в отношении того образа, который складывается обо мне, или тех собак, которых на меня вешают. По непонятным причинам, похоже, очень мало связанным с моим писательским ремеслом, некоторые личности пытаются сфабриковать образ Ромена Гари, не имеющий ничего общего с действительностью.

Ф. Б. *Поговорим о твоей ненависти к наркоторговцам... Ты снял фильм «Kill», который был запрещен в Англии из-за его жестокости и нескольких кадров казней — в частности, расстрел из автомата крупных наркодилеров: их предсмертные конвульсии, в такт веселой музыки румбы, тоже наводят на мысль о сведении личных счетов.*

Р. Г. Две женщины в моей жизни были убиты наркотиками... Обязательно ли надо об этом говорить?

Ф. Б. *Мне кажется, этого не избежать...*

Р. Г. Мне было девятнадцать, ее звали... допустим, Софи... Еще живы ее родные... Она была очаровательна и жизнерадостна. Очень красивая, она умудрялась быть одновременно и очень обаятельной — одна лишь красота часто бывает невыносима. У Софи был настрой «жизнь прекрасна», который должен был бы обезоружить жизнь... но не тут-то было! Это случилось в Ницце в

1935-м. Ницца не была тогда такой бетономешалкой, как сейчас, даже встречались еще мимозы. Софи уехала в Париж. Я остался один с мимозами, но без нее они уже не были такими, как прежде. В Париже она связалась с подонком, который посадил ее на иглу. От морфия она переходит к героину. Никаких больше писем, никаких новостей, я узнаю все случайно, от русских друзей. Еду в Париж и приступаю к поискам, но когда впервые приезжаешь из Ниццы в Париж, оказываешься в полной растерянности — и мне пришлось даже продать свою пушку одному из приятелей Эдмона, чтобы поесть. За три года Софи скатилась до уличной проституции, чтобы заработать на наркотики, а потом умерла от передозировки «рая». Обычное дело, со многими сейчас такое происходит, но в двадцать лет и в совсем другое время это произвело на меня еще то впечатление... Я скулил. Вытирая глаза кулаками, представь себе. Того типа убили, но меня это даже не обрадовало. У нее была очень красивая улыбка, невинная, простодушная, и она немножечко косила, ну знаешь, так, что взгляд становится еще выразительнее...

Ф. Б. А вторая?

Р. Г. Линн. Линн Баггетт. Бывшая жена продюсера Сэма Шпигеля, того, который сделал «Мост через реку Квай» и «Лоуренса Аравийского», между прочим... Я познакомился с ней в Нью-Йорке в 1953-м... Девушка из Техаса, ее можно еще увидеть в старом фильме «Огонь и стрела»... Она подсела на героин. Ее выставляли из гостиниц, потому что везде валялись шприцы. Я не раз заставлял ее в постели, когда она делала себе укол. Я так и не узнал, через кого она доставала эту гадость. Я был настолько глуп, что сказал: «Либо я, либо наркота». Не колеблясь ни секунды, она выбрала наркоту. Больше я ее не видел... Голливуд, 1958-й, 1959-й. Разворачиваю газету. Линн найдена мертвой, задохнулась, придавленная кроватью к стенке — одной из тех складных американских коек, что пружинят и убираются в стену. Она находилась в «экстатической» коме, когда это произошло. Они, должно быть, были ужасны, эти часы агонии... И не знаю, сколько еще других девушек, с которыми я был знаком в Америке... дочь Арта Линклетера, известного там телеведущего: накачавшись ЛСД, она в девятнадцать лет выбросилась из окна, намереваясь полетать... А чернокожий малыш, умерший на улице с иглой в предплечье... Это предшествует титрам в моем фильме *Kill*, я его видел, видел собственными глазами. Поэтому я требую для наркочилиеров смертной казни. Говорили, что смертной казнью никого не «запугаешь», и это правда: не запугаешь отчаявшихся, психически больных и «генетических». Но

наркоторговцы не «генетические». У них с хромосомами все в порядке. Они — спокойные отцы семейств, делающие деньги... Вот уж они панически боятся умереть, потому что боятся лишиться своих денег... Это еще раз к вопросу о моей жестокости...

Ф. Б. Теперь можно, я думаю, подводить итоги, поскольку мы подходим к завершению наших бесед. Ты был требователен и непримирим в защите благородных целей, которые зачастую служат для тебя оправданием жизни, а в некоторых случаях и необходимости убивать. И ты ратуешь за терпение, либерализм, который не всегда на стороне «благородных целей» и даже не всегда способствует собственному выживанию. Из этого противоречия хорошо видно, откуда идет эта «ностальгия по женственности», которая, похоже, охватывает тебя все больше и больше, по мере того как ты стареешь, и которая вовсе не является, я полагаю, ностальгией по подруге, «отдыху воина». «Добрый он или злой?» Вопрос беспокойного Жан-Жака приобретает — когда видишь, как ты живешь, питаешь, действуешь, — несколько иной смысл: правдив он или фигляр? Лицо перед нами или маска? Во всяком случае, ты бы хотел порвать с солидной частью своего собственного «я»... Идеализация женственности, восхваление женских ценностей было бы тогда осознанной жизненной позицией. Твой бунт против мачо — это бунт против себя самого. Но вместо того, чтобы, «изменить свою жизнь» и себя, ты призываешь изменить мир посредством феминизации. «Делайте то, что я говорю, не делайте того, что я делаю...» Все идеологии, разумеется, предательницы. Женственность — мать, жена — становится «тем, что не предавало», прибежищем идеологического смятения. Ты вкладываешь надежду в женственность, потому что отвергаешь свой собственный персонаж. Но что, если ты на самом деле не отвергал его, что, если с твоей стороны это была только игра? Что, если ты получал удовольствие от этой игры, от провозглашения этого так и не свершившегося разрыва? В таком случае, перефразируя старую поговорку, скажу: чем больше ты меняешься, тем больше остаешься самим собой...

Р. Г. Возможно. Ты меня знаешь уже сорок пять лет... Но это — история «я», которая мне неинтересна. Что важно, так это не моя сомнительная психика, не мое подсознание или комедия, которую я ломаю, — повторяюсь, можно взывать к здравому смыслу по совершенно личным невротическим причинам, — важно, в какой мере аргументы, к которым прибегают под воздействием искаженных субъективных взглядов, являются объективными и приемлемыми. Выходит — несмотря на все вполне уместные обвинения, которые ты можешь предъявить моему «я», — что

очень личные низкие и темные причины, которые могут побудить человека служить какому-то делу, вовсе не обязательно мешают этому делу быть справедливым, заслуживающим защиты. То, что сын примыкает к социализму из ненависти к отцу-реакционеру, вовсе не означает, что социализм подлежит осуждению. Поскольку эти беседы подходят к концу — и я никогда больше не буду делать ничего подобного в таком масштабе в разговоре с тем, кто так хорошо и так давно меня знает, рискуя повториться, рискуя произвести впечатление человека, пытающегося сладить с собственной необузданностью, — так вот, я утверждаю, что никогда не было в истории цивилизаций ценности, которая не содержала бы в себе понятия женственности, нежности, сострадания, ненасилия, уважения к слабости... И идет ли речь о той, что произвела меня на свет, или обо всех других, превратилась ли для меня в наваждение та, что принесла мне в жертву свою жизнь, или нет, я *утверждаю, что первые отношения, в которые вступает ребенок с цивилизацией, — это его отношения с матерью*, и, следовательно, отношения какой-либо цивилизации, которая действительно оной является, с людьми — это отношения матери со всеми своими детьми... Если христианство не нашло своего призвания, если оно не воплотилось в реальную действительность — о, я знаю, знаю, что повторяюсь! — то главным образом потому, что оно распространялось и насаждалось руками и кулаками мужчин, крестовыми походами, инквизицией и «чистой и жестокой» непримиримостью, наподобие той, что мы наблюдали у господ Дебре и Фуайе в деле об абортах; потому что оно не сумело и не захотело признать и осуществить свою главную женскую сущность. Ведь неспроста же слово «баба», когда говорят о мужчине, стало оскорблением... Женщин систематически отстраняли от духовной власти, от «руководства душами», от конструирования душ. Дерьмо, в котором мы все купаемся, это мужское дерьмо. И вполне возможно, что на склоне лет, подводя итог своей жизни, я осознаю все, чем обязан женщинам, все, что не сумел им дать, и все, что составляло счастье моей жизни... В общем, что карта женственности не была еще разыграна, а карт у нас осталось не так уж много...

Ф. Б. *Я только что перечитал эти страницы. В твоих отношениях с жизнью есть какая-то жадность, погоня за бесчисленными ее проявлениями, что позволяет говорить о настоящем донжуанстве в твоих любовных отношениях с жизнью. Многообразие твоих гонок-преследований по всему миру объясняется страхом, страхом ощутить, как тот или иной новый вкус жизни ускользает от тебя, тот или иной вкус еще остается*

тебе неведомым. В этом есть стремление к завоеванию жизни, всех жизней, а персонажи твоих романов — это твои экспедиционные корпуса.

Р. Г. Тогда надо сказать, что всякое художественное произведение — это аннексия жизни и мира, как колониализм и империализм, поскольку роман создает, переделывает, обладает, охватывает, поглощает, реформирует, моделирует, строит, укрепляет, увеличивает, покоряет, навязывает, управляет, определяет, лимитирует и заключает в себе империи и королевства. Ты можешь придать роману марксистское, либеральное, маоистское содержание, социалистическое и революционное, он останется жанром властным, завоевательным, империалистическим, колониалистским, всезнающим, он останется империей. И тогда надо обвинять всех романистов в том, что они — строители империй, и во имя демократии запретить литературу... Но можно также утверждать, как я, что это стремление проживать чужие жизни, впитывать и разделять многочисленный опыт других, по сути, и есть братство...

Ф. Б. Стремление овладеть опытом других, разумеется, характерно для любого художественного произведения, но у тебя это стремление идет дальше. Ты говоришь о своих романах и персонажах как о множестве «жизней», которые ты себе даришь, а о своих пережитых приключениях так, как если бы они были главами романа... Не опасное ли это смешение жанров?

Р. Г. Важно только знать, дает или нет это, как ты выразился, «смешение жанров» приемлемого человека и приемлемое произведение. Остальное лишь вопрос счастья...

Ф. Б. Значит, ты всегда был искателем приключений, скупаемый желанием прожить как можно больше разных жизней. Это желание так сильно, что романа тебе недостаточно, ты переходил в кино, становишься режиссером, чтобы еще глубже проникнуть в своих героев, чтобы овладеть ими... Неудовлетворенность и вечная погоня, погоня за насыщением, которое не дается, как у двух твоих самых разоблачительных в этом отношении героинь: Адрианы, нимфоманки, предпринимающей одну попытку за другой, — аллегорическая проекция в сексуальную плоскость твоих отношений с жизнью вообще, — и Лили в «Пляске Чингиз-Хайма». В этом последнем романе ты пошел еще дальше в исследовании себя самого, поскольку из человечества ты создал персонаж-женщину, которую ни один из ее возлюбленных, ни один из «претендентов» не в силах удовлетворить, ни один «носитель» рецептов, то есть идеологии, не может осчастливить... Так что думаю, что не злоупотреблю этими аналогиями, если скажу, что твои взаимоотношения с жизнью — это взаимоотношения

мужчины и женщины — с погоней за разнообразием...

Р. Г. Я не согласен, но это и не важно. У меня тяга к чудесному. Это остатки детства. Без этого не бывает творчества. У меня живейший интерес ко всем бабочкам чудесного, и я пытаюсь их ловить, а наблюдаешь за ними, живешь ими или создаешь их — все сводится к одному: это всегда поиск чудесного. Кино — это сачок для бабочек, как и роман, как прожитая жизнь. Благодаря актерам оно позволяет тебе приблизиться к твоим персонажам, любоваться ими во все глаза, еще ближе подобраться к реальности. Вот почему я так ценю дружбу с актерами: они дают мне пищу для любви... А кино, творчество — это везде, это происходит все время. Вот хотя бы сегодня. Приезжая в Париж, я по утрам выпиваю две-три чашки кофе в разных бистро на улице Бак, где я всегда бросаю якорь. И вот сегодня утром я сижу за чашкой кофе, как вдруг замечаю одного типа, предъявляющего в кассу лотерейный билет. Похожий на мышонка старичок в потертом пальто... Хозяйка, мадам Гайе, проверяет и говорит: «Ваш билет ничего не выиграл». Спустя полчаса я уже в другом кафе, «Амбассадор», чуть дальше по улице, и тот же тип появляется с тем же проигрышным номером. Хозяин говорит ему: «Нет, этот номер не выиграл». И знаешь, что делает мой мышонок? Он продолжает верить, надеяться... Когда в одном баре, затем в другом ему говорят, что его номер не выиграл, мой старичок берет билет и идет в третий бар, а потом в четвертый: а вдруг случится чудо и он выиграет, несмотря ни на что, должна же быть какая-то справедливость... Ну разве это не потрясающе? Это почерк великого автора, самого великого... Это кино, роман, короче, это сама жизнь... Разницы нет, это один и тот же материал, из которого лепят либо который лепит себя сам. А недавно в Берлине... Я приехал туда на показ одного из моих фильмов. Сижу на террасе кафе, напротив газетного киоска... Пришпиленная к киоску, прямо передо мной висит газета на идиш... Подходит какой-то тип, похожий на бывшего узника Освенцима, с лицом, напоминающим рекламный плакат: «Посетите Освенцим»... Диктуя, я отмечаю про себя, что Мартина, секретарша, которая записывает эти строки, спрашивает, как это пишется. Она никогда не слышала об Освенциме, наверняка придется повторить, ради орфографии... Стоя перед киоском, старик читает первую страницу газеты на идиш. Дочитав, он поворачивается к хозяину киоска, смотрит на него, а тот молча выходит, переворачивает страницу, заботливо прищипливает газету на то же место — и мой старик продолжает читать... Я заинтригован, спрашиваю и узнаю, что этот фантом, этот призрак уже двадцать лет приходит сюда читать газету на идиш, так ни

разу ее не купив, и немецкий хозяин киоска вот так переворачивает страницы для своего еврейского привидения каждый день... Еврей ее не покупает, но требует разрешения почитать, немец бесплатно ее не отдает, но читать разрешает; существует молчаливое согласие между евреем и немцем относительно возмещения убытков, а также их точный предел, некий по молчаливому согласию утвержденный налог на Освенцим... Или вот вчера, у хирурга-косметолога... Одна мамаша приходит к нему с четырнадцатилетней дочкой. У девочки огромный нос, который нужно срочно оперировать, точная копия носа матери. Мама говорит хирургу: «Видите, моей девочке нужна операция... Как считаете, сможете вы это уладить?» Врач — стреляный воробей, он осторожен, и не такое видал, а потому уточняет: «Уладить что, мадам?» И славная женщина отвечает: «Уши моей дочери, доктор, что же еще? Вы разве не видите, что они безобразны?» У девочки и правда были слегка оттопыренные отцовские уши, а нос такой же, как у матери, но та не видела либо не хотела видеть, что этот нос — уродлив... Человеческая натура — это нечто неподражаемое, нечто беспрецедентное, это всегда новые источники, бьющие прямо у тебя из-под ног, это вечно обновляющаяся свежесть... Так что я со своим сачком для бабочек бегу, бегу — романы, репортажи, фильмы и впечатления, впечатления не предназначены на вынос, их едят на месте, в отношениях с жизнью это не донжуанство, а любовь... И сколько бы я так ни бежал, сколько бы ни подбирал, это никогда не иссякнет, я никогда не испытаю чувство полного удовлетворения, это бесконечно, неистощимо... Сколько бы ты ни впитывал это всеми порами своей кожи, ты все равно не можешь утолить свой голод, и вот появляется еще один персонаж, еще одна жизнь, еще одна любовь...

Ф. Б. *И как только ты обращаешься к кино, ты снимаешь его под углом зрения ненасытности, как бы случайно... Тема твоего первого фильма «Птицы прилетают умирать в Перу» — это поиск удовлетворения, удовлетворения, которое постоянно ускользает... нимфомания.*

Р. Г. Это одна из величайших драм женственности, и ответственность за нее в большой мере несут цивилизация и общества, базирующиеся на псевдоценности — мужественности, навязываемой мужчинами, которые изуродовали женщин психологически, сделали их калекami. Женская фригидность — нередко приводящая к нимфомании — это предельное выражение эмоциональной смерти, и она была, так сказать, навязана и достигнута мужчинами с помощью эгоизма, недостатка

чувствительности и страха не доставить удовольствия. Действительно, меня всегда преследовал — и в «Пляске Чингиз-Хаима» это просматривается так же отчетливо, как в «Птицах», как в личном плане, так и в общечеловеческом, — призрак поражения в любви, отсутствия любви, которое только обостряет стремление к ней, толкает к погоне за любовью, к поиску любви. В плане самой сексуальности, эта гибель эмоций является той «печатью мужественности», которой мужчины отметили психику женщины, чтобы освободить себя от необходимости ее удовлетворять. Именно поэтому женщина, испытывающая оргазм, стала «течной сукой», «бесстыдницей», «распутницей» и — «ах ты, шлюха». Когда ты с женщиной, которую не можешь удовлетворить, тебе всегда достается наследие подонков. Чтобы выйти из этого неприятного для их «я» положения, мужчины сделали из женщины, способной к оргазму, пугало, вызывающее отвращение, нечто такое же «мерзкое» и такое же «сучье», как месячные. На протяжении нескольких тысяч лет *мачо*, сильно сомневающиеся в собственной состоятельности, старались убедить женщин, что те не должны испытывать оргазм, что это идет вразрез с женственностью. Это не элегантно, не чисто, совсем нехорошо, не как Дева Мария, не как султан и гарем, не *кошерно*. Мужчины — ну, они, бедняги, не виноваты! Природа сделала так, что они не могут оплодотворить, не испытав предварительно оргазма, а женщины могут прекрасно забеременеть и без оного, существует даже занятная псевдонародная теория, согласно которой у женщины больше шансов забеременеть, если она оргазма не испытает. Все это избавляло *мачо* от необходимости быть на высоте. Недостаточно быть настоящим, крутым, волосатым, случается, что трахаешься весьма неудачно, и выходит пшик: кончаешь, не успев начать, тридцать секунд, две минуты — и наш гигант секса выдохся. Число «крутых», у которых не стоит, равно числу фригидных женщин. «Мужчины приезжают сюда, чтобы сделать пшик!» — говорит героиня Даниэль Дарье в фильме «Птицы прилетают умирать в Перу». В эпоху рыцарских турниров и крестовых походов рыцарь, хоть и выглядел очень сильным со шпагой, зачастую был далеко не столь силен, когда пускал в ход свой член. Тогда, с помощью Церкви и морали, еще больше утвердилось представление, согласно которому женщина нужна лишь для «отдыха воина». С начала времен были папаши, у которых получался пшик! — и они воспитывали женщин, в чем им помогали, для поддержания традиции, ни разу в жизни не испытывавшие оргазма старые кумушки, которые таким образом отыгрывались на других. Так происходило везде, во всех

обществах. В Африке девочкам даже отрезали клитор и продолжают отрезать до сих пор, чтобы у них там не зудело. Это кастрационный «мачизм» в чистом виде, в дерьмовом виде; и я процитирую тебе здесь *мачо* Джека Лондона, духовного отца Хемингуэя и всей американской традиции мужественности, оказывающей на протяжении пятидесяти лет такое глубокое влияние на американскую литературу. Джек Лондон только что кончил. И вот что он пишет: «Мои самые дикие природные инстинкты безудержны. В зависимости от настроения я могу быть жестоким или нежным. Что еще может желать мужчина. В этом есть ощущение господства...» Вот. Вот из чего вышла вся американская литература «мачизма». Он кончает, этот хозяин-мужчина, и удаляется, гордый собой, «с ощущением господства», а о женщине, этой покорной служанке, ни слова. Это «на, вот тебе!» продолжалось не одно тысячелетие. А потом случилось нечто особенно типичное для рода человеческого: женщин *убедили*. Их убедили, так же как убедили евреев из гетто, которым в течение веков внушали, что у них нет чести, и те настолько убедились, что у них даже изменилась внешность и они приобрели виноватый, покорный вид, и *деформированный позвоночник*, потому что всегда ходили сгорбившись, — это исторический факт. Евреи, которым навязали — чтобы их «принизить» — особую одежду, в конечном счете так с ней освоились, что *ортодоксальные* евреи ее до сих пор носят... и не желают с ней расставаться — в Израиле! То же произошло и с женщинами. Они дали себя убедить и даже сами стали пропагандировать и объяснять своим «непорочным» дочкам, что оргазм — это для шлюх и свиней, что это хорошо только для мужчин... Что-то отвратительное есть в этом процессе, когда у жертвы, которую убедили, тоже появляется желание навязать другим свое униженное состояние... Сейчас это хорошо видно в связи с абортами. Если ты посмотришь на результаты опросов и статистику, то увидишь, что подавляющее большинство матерей многодетных семей решительно против аборт. Они этого наелись, они воспитали по семь-восемь детей, выложившись до седьмого пота, они пожертвовали всем ради материнства, поэтому, когда они видят других женщин, которые хотят этого избежать, то начинают возмущаться, они не могут этого допустить. Да, жертвы были *убеждены*. То же самое я видел в Джибути, в связи с инфибуляцией: там в десятилетнем возрасте девочкам сшивают половые губы, чтобы невозможно было проникнуть. Это делается иглами, и это очень больно. Когда я был там, Поншардье, верховный комиссар, пытался покончить с подобной практикой. И тут он обнаруживает, что не мужчины

увековечивают этот варварский обычай: это делают женщины. Их *зашили*, они пострадали, потому и не могут согласиться с тем, что все это было напрасно, и продолжают требовать, чтобы других так же калечили во имя торжества «традиционной морали»... И таким же образом сами женщины стали осуждать «грязных сук» и вывели сексуальность за пределы женственности. Вот почему, согласно медицинской статистике, в шести случаях из десяти причиной неврозов становится фригидность: не правда ли, настоящий триумф мужественности! Раздвинь ноги — и я тебе вставлю: вот как можно подытожить несколько тысяч лет истории женской жизни... *Мачо* возвращается домой, он воевал, «герои устают» — и это бывает очень часто, даже когда они вовсе не герои — он хочет разрядиться, чтобы поспать; и тогда он опорожняет свой слизняк, а ты говоришь о ласке, нежности, чувственности... И даже абстрагируясь от этого позора, этого преступления, фригидность ужасна, ибо это само воплощение невозможности, трагического. Я говорю не о тех женщинах, которые умерли, окончательно одеревенели, так что им ничего больше не нужно. Я говорю о мечте, об ожидании, о тех, которые хотят, надеются, ищут и не находят. Они все время ощущают себя на краю, на пороге, но преодолеть барьер, расцвести им не удастся. Вот здесь, уже совсем близко, еще чуть-чуть... Но опять срыв. Такова судьба Адрианы в фильме «Птицы прилетают умирать в Перу». Почему фригидная женщина становится порой нимфоманкой? Потому что с каждым мужчиной она «вот-вот сейчас», и ей всегда кажется, что если бы мужчина продержался еще какое-то время — «подожди меня, подожди», — она бы достигла апогея, да, подожди, еще чуть-чуть, я сейчас... Но в этой погоне за тем, что постоянно ускользает, мужчина всегда кончает первым, и даже если бы он держался бесконечно долго, у нее бы все равно ничего не вышло. Но поскольку Адриана чувствует, что она «вот-вот сейчас», поскольку она напряжена до предела и вся вибрирует в ожидании скорого освобождения и наслаждения, ей вечно кажется, что партнер кончил слишком рано и что с другим мужчиной... И еще с другим мужчиной... И еще с одним... Хотя бы несколько секунд, несколько вздохов... Но нет, он опять кончил *раньше*... И тогда, от мужчины к мужчине, идет нескончаемый поиск... В фильме «Птицы прилетают умирать в Перу» досада Адрианы перерастает в ненависть к мужчине, в *желание не испытывать оргазма*, желание кастрации, победы над мужчиной, чтобы у него не получилось, чтобы он потерпел фиаско... Это *выбор*, женщина *выбирает* фригидность... Сама того не сознавая, она отказывается от оргазма.

Ф. Б. В твоём фильме Адриана отчаянно, яростно сражается

за то, чтобы достичь оргазма, освобождения... Но возникает вопрос, не транспозиция ли это твоего личного опыта, возможно ли, что ты, как мужчина, сам сражался за то, чтобы помочь женщине «освободиться», но твои усилия оказались тщетны...

Р. Г. Да, разумеется, мне доводилось биться головой об стенку. Мне было тридцать, и я сражался... Да, как Адриана в фильме, а точнее, как Ренье, который терпит неудачу... Невозможность давать — вот что ужасно...

Ф. Б. *Не для того ли ты выбрал метафору сексуальности, чтобы выразить свою собственную эмоциональную неудачу?*

Р. Г. Не думаю, что это про меня. Может, я слишком сильно любил однажды, чтобы все начинать снова... Может, сейчас у меня уже маловато осталось от того, что можно дать... Не знаю. Одно очевидно: те, кто слишком превозносит какую-либо идею или любовь, обрекают себя на неудовлетворенность, как и в любой погоне за абсолютом... Таков Ренье, но в «Цветах дня»...

Ф. Б. *«С материнской любовью жизнь дает вам на рассвете обещание, которое потом никогда не выполняет...» Которое не может выполнить ни одна женщина?*

Р. Г. Да, да, я знаю, что написал это, спасибо...

Ф. Б. *Вернемся к дефициту любви.*

Р. Г. В каком контексте? Что это значит?

Ф. Б. *Ничего. Просто вернемся к этому вопросу.*

Р. Г. Ну что же, вечный поиск, ожидание, погоня за счастьем — это сама ситуация человечества в ходе всей его истории, как в его отношениях с абсолютом, с Богом, так и с теми, кого называют «великими людьми» и которые пытаются его удовлетворить...

Ф. Б. *Отсюда и «Пляска Чингиз-Хаима»?*

Р. Г. Лили... Я воспользовался древней кавказской легендой и аллегорической немецкой гравюрой начала XX века; человечество на ней изображено в виде принцессы, повелевающей казнить всех любовников, которые ее не удовлетворяют... Эта гравюра висела у нас в квартире в Вильно, когда мать руководила швейным ателье... Лили, неудовлетворенная принцесса, и Флориан, ее верный слуга, символизирующий смерть... Несчастная маленькая королева созидания странствует по лесу в поисках суперсамца, мачо, Сталина, Гитлера, Перона и всяких прочих полковников, а ее лишь трахают в хорошо известном мужском понимании этого термина... И не мачо сделают ее счастливой...

Ф. Б. *Тема дефицита любви, мужчины, неспособного любить, неудовлетворенности, фрустрации становилась все актуальнее, все шире...*

Р. Г. Отсутствие любви занимает много места.

Ф. Б. И как же ты с этим справляешься?

Р. Г. У меня есть сын. Он не дает расслабиться.

Ф. Б. Я не хотел бы расставаться с тобой, не услышав, что ты можешь сказать о странном персонаже, который проходит почти через все твои романы... Это Барон.

Р. Г. А!

Ф. Б. Он появляется как авторская подпись в совершенно непохожих романах, вызывая не неизменный, джентльмен до кончиков ногтей, всегда в одном и том же наряде, всегда безукоризненно опрятный, и его единственная забота среди всех передряг Истории — это не запачкаться...

Р. Г. Да, это прекрасная душа.

Ф. Б. Пораженный немотой, он всегда над схваткой и, уступая природе, произносит всего лишь несколько слов — в «Большой вешалке», «Цветях дня», «Корнях неба», — чтобы выразить глубокую и насущную потребность человека... Он говорит: «Пи-пи!»

Р. Г. И «ка-ка!» тоже. «Ка-ка» тоже, без этого нельзя, даже элитарной личности.

Ф. Б. У него с собой всегда несколько фальшивых паспортов и рекомендательные письма от весьма высокопоставленных особ.

Р. Г. Да, в Человеке есть что-то от самозванца. В Человеке, знаешь ли, с большой буквы, постоянно преследуемом и недоступном, этом вечном Бароне и Сганареле... Я нежно люблю этого пикаро и думаю, что он выкрутится, хоть философ Мишель Фуко уверяет, что «человек — это недавнее явление, в котором все предвещает близкий конец»...

Ф. Б. Ты этому веришь или не веришь?

Р. Г. Я где-то посередине.

Ф. Б. У Барона всегда надутые щеки, словно он вот-вот лопнет от смеха...

Р. Г. Это не самый худший способ...

Ф. Б. Иногда, в особо пафосные моменты, он пукает.

Р. Г. Избыток души.

Ф. Б. Он использует это для самовыражения, потому что все слова оказались предательски лживыми, и теперь он прибегает лишь к этому зашифрованному языку, этой азбуке Морзе...

Р. Г. Он настоящий член морального «жокей-клуба», подобного Коллегии врачей, знаешь, когда они осуждают аборт во имя моральных высот, куда они удаляются, незапятнанные, оставляя страдания низам...

Ф. Б. В «Пожирателях звезд» один диктатор, пораженный благородным видом и изысканным нарядом Барона, принимает его

как вестника счастья.

Р. Г. Преступники нуждаются в нравственном алиби: тогда получаются самые лучшие преступления. И прекрасные души нередко едят из странных кормушек... Сколько наших пели хвалебные оды Сталину?

Ф. Б. *Это чтобы посмеяться или чтобы поплакать?*

Р. Г. Чтобы не стать излишне доверчивым...

Ф. Б. *В «Повинной голове» его неприступный и таинственный вид, такой непроницаемый, такой безразличный ко «всему этому», так впечатляет полинезийцев, что они принимают его за тики, за Бога... Бога?*

Р. Г. Есть и это. Но я не хочу сужать персонаж. Я хочу, чтобы он оставался открытым и для насмешки, и для любви. Это создает равновесие, и оно поддерживается через взаимное отторжение. Не забывай, что и «Человек» с большой буквы — само совершенство, Величие и Красота — живет как сутенер на шее у человека, обильно питаемый жертвами и литературой...

Ф. Б. *Значит, таитяне почитают Барона, подносят ему дары, обращаются к нему с молитвами и следят за тем, чтобы он продолжал царить, править в своем «потустороннем мире»...*

Р. Г. В Полинезии не строят храмов...

Ф. Б. *Мне здесь видится противоречие: ты без устали повторяешь, что без мифологии нет человека, и ты «демифологизируешь» и «демистифицируешь», постоянно и рьяно...*

Р. Г. Если бы не существовало тайны, человек был бы просто мясом. Но есть тайна и есть иллюзии... Барон постоянно борется, с помощью пародии, со своими собственными лирическими иллюзиями. Ибо какими бы ни были идеологии, для нас главное — найти золотую середину между мясом и поэзией, между тем, что является нашей первоначальной биологической, животной сущностью, и «долей Рембо». Если ты спросишь, что я считаю «золотым правилом», — я говорю это просто так, ради смеха, — то я отвечу: «чувство меры прежде всего» и «умение сдерживать себя».

Ф. Б. *...Что совершенно для тебя нехарактерно.*

Р. Г. Если что-то и должно проясниться из этих бесед, так это то, что я не советую никому — в том числе и своему сыну — быть на меня похожим... Персонаж Барона позволяет мне найти равновесие, бороться со своими идеалистическими и идеализирующими мечтаниями с помощью пародии и насмешки.

Ф. Б. *Ты собираешься развивать этот персонаж в других романах?*

Р. Г. Я не знаю, каковы его намерения и собирается ли он развивать меня. Но я бы очень хотел, когда меня не станет, или

даже раньше, чтобы его подобрали и продолжили другие романисты. Это было бы по-братски. Ибо, насмехаясь над Бароном, который брезгливо движется над схваткой, озабоченный прежде всего тем, чтобы уберечь свою одежду от грязи, я всегда помню фразу Мишо, которую не раз цитировал в своих книгах: «Тот, кто споткнулся о камень, находился в пути уже две тысячи лет, когда услышал крики ненависти и презрения, которые должны были его испугать...»

Ф. Б. *Ты живешь один?*

Р. Г. Лучше сказать, я живу с мисс Одиночество и действительно чересчур привязываюсь к ней, это правда, было бы грустно усвоить эту привычку, я не люблю привычки... Две последние — мисс Одиночество-1972 и 1973 — были настоящими королевами красоты. Оба моих кота, Биппо и Брюно, умерли, а наш старина Сэнди — тот, которому я посвятил «Белую собаку», — трезво поразмыслив, где ему жить, сделал выбор в пользу Джин Сибберг. Там больше народу, чтобы заниматься им. Я на него не сержусь, однако надо все же сказать, что с возрастом он стал несколько эгоистичным. Иногда приходит представительница службы неотложной помощи сделать мне искусственное дыхание изо рта в рот, но быстро уходит, потому что женщинам не очень нравятся подростки... Сын поднимается ко мне каждый день посмотреть, действительно ли я существую и как я его обожаю, я не умею с ним разговаривать, ему одиннадцать лет, и он вызывает у меня робость... Но когда ты говоришь «один», что ты имеешь в виду? Окружение? Нежность?

Ф. Б. *Нежность.*

Р. Г. Да, разумеется... Но бывают и приятные моменты. В ноябре я расквасил себе физиономию, и меня отвезли в Сальпетриер, в отделение скорой помощи. Каких только знаков внимания мне там не оказывали, сколько было заботы, нежности! Два врача, две медсестры, все на высшем уровне, любезности... Я не хотел оттуда уезжать. Всем рекомендую Сальпетриер.

Ф. Б. *А... что касается главного?*

Р. Г. Разумеется, это неизлечимо, я все еще мечтаю влюбиться, потерять голову, но что значит — потерять?... Только вот в шестьдесят это очень сложно сделать: нехватка пространства, отсутствие горизонта перед тобой... Уже не хватает простора, уже нельзя броситься вперед... Любовь плохо сочетается с ограничениями, рамками, с тем временем, которое тебе отпущено, нужно верить, что впереди вся жизнь, чтобы действительно броситься вперед... Иначе это всего лишь сладкий крем... Мы ведь почти закончили?

Ф. Б. *Почти. Ты жалеешь о чем-нибудь?*

Р. Г. Я мог больше написать и, думаю, мог больше любить.

Ф. Б. *Призраки?*

Р. Г. Все... Но это неинтересно, истории о самолетах, которые не вернулись... и которые вдруг возвращаются тридцать лет спустя.

Ф. Б. *Смерть?*

Р. Г. Слишком переоценена. Стоит поискать что-нибудь другое.

Ф. Б. *А без шуток?*

Р. Г. Я был знаком с одним метрдотелем, негром из Луизианы, который перед смертью спросил о погоде, чтобы знать, будет полет приятным или трудным...

Ф. Б. *И никаких снов о загробной жизни?*

Р. Г. Один. Сэнди-пес приходит за мной. Он должен показать мне что-то очень важное, хочет куда-то меня отвести. Я следую за ним. Мы на горной тропе, которая поднимается к солнцу. Сэнди бежит передо мной, возвращается, чтобы убедиться, что я не отстал... Я не отстаю. А потом вдруг я вижу себя идущим позади него, мы удаляемся и оба растворяемся в солнечном свете... Музыка. Все это на пленке «техниколор», производство киностудии «Парамаунт», 1930 год, и этот сон регулярно повторяется. Наверное, я слишком рано начал ходить в кино, когда был мальчишкой...

Ф. Б. *Ты был счастлив?*

Р. Г. Нет... Да. Не знаю. Местами.

Ф. Б. *Что для тебя было счастьем?*

Р. Г. Когда я лежал, слушал, ждал, а потом слышал, как поворачивается в замочной скважине ключ, скрипит дверь, я слышал, как она разворачивает на кухне пакеты, зовет меня, чтобы узнать, дома я или нет, я не откликался, лежал и улыбался, и ждал... Я был счастлив, внутри меня что-то мурлыкало... Я очень хорошо это помню.

Ф. Б. *И в заключение?*

Р. Г. Ночь будет спокойной.

«Симаррон», март 1974.

Примечания

Ибн Сауд (Абдель-Азиз ибн Сауд, 1880–1953) — король Саудовской Аравии (1932–1953 гг.). *(Здесь и далее прим. перев.)*

По всей видимости, имеется в виду романс «Гори, гори, моя звезда».

«Свободная Франция» — движение за освобождение Франции от оккупантов во время Второй мировой войны, сложившееся летом 1940 г. по призыву генерала де Голля. С 1942 г. — «Сражающаяся Франция».

ОАС — ультраправая террористическая организация, созданная в 1961 г., ставившая своей целью воспрепятствовать независимости Алжира.

Орден Академической пальмовой ветви дается за заслуги в области литературы и искусства.

«Гарантии фонсьер» — французское кредитное общество, скандально известное финансовыми злоупотреблениями в начале 70-х гг.

Куртелин, Жорж (1858–1929) — французский прозаик и драматург.

Марта Ришар (1889–1982) — французская разведчица, политический деятель, бывшая проститутка. Закон 1946 г. о закрытии публичных домов во Франции был принят по ее инициативе.

Министерство иностранных дел Франции расположено на набережной Орсе.

Лорд Джим — герой одноименного романа Джозефа Конрада.

Имеется в виду роман Поля Гимара «Мелочи жизни».

Жильбер Сесброн (1913–1979) — французский романист и эссеист католического направления.

Авантюристка, аферистка (нем.).

ТНП — Национальный народный театр в Париже, просуществовавший с 1920 по 1971 г.

Римская премия — премия, которая присуждалась по итогам конкурса молодым французским художникам и музыкантам; упразднена в 1968 г.

«Срединная Европа» (*нем.*), термин немецкой геополитики. Традиционно рассматривается как зона преимущественно германского влияния.

Гёльдерлин, Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт-романтик. Последние 37 лет своей жизни страдал тяжелым психическим заболеванием.

Жобер, Мишель (1921–2002) — министр иностранных дел Франции с 1973 по 1974 г.

Сованьярг, Жан (1915–2002) — министр иностранных дел Франции с 1974 по 1976 г.

Восточная политика (нем.).

Мессмер, Пьер (1916–2007) — премьер-министр Франции в 1972–1974 гг.

Леопольд Сенгор (1906–2001) — сенегальский поэт, философ, первый президент Сенегала.

Эвианские соглашения, заключенные между Францией и Алжиром 18 марта 1962 г. в городе Эвиан-ле-Бен, положили конец войне в Алжире (1954–1962 гг.).

Имеется в виду Иностранный легион.

Мадам Клод — в 60–70 гг. знаменитая хозяйка сети девушек по вызову для представителей высшего парижского общества.

Лаваль, Пьер (1883–1945) — французский политический деятель. Возглавляя правительство Виши в 1942–1944 гг., проводил коллаборационистскую политику.

Имеется в виду известная фраза де Голля «Европа от Атлантики до Урала», отражавшая курс на улучшение отношений с СССР.

Намек на Мюнхенские соглашения 1938 г.

Намек на пьесу Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» (1921).

ЮДР (UDR) — Союз демократов в защиту Республики, так с 1968 по 1971 г. называлась голлистская партия.

На Вашингтонской конференции 1974 г., посвященной нефтяной проблеме, Франция разошлась во взглядах со своими европейскими партнерами.

После капитуляции Франции в июне 1940 г. силы британского ВМФ уничтожили французские корабли, стоявшие на военной базе в Мерс-эль-Кебire, чтобы не допустить их захвата Германией.

Куденхове-Калерги, Рихард (1894–1971) — австрийский дипломат, пропагандист идеи европейского объединения.

Дьердь Лукач (1885–1971) — венгерский философ-марксист.

Содружество (англ.).

Имеется в виду сказка Ш. Перро «Синяя Борода». Анна, сестра жены Синей Бороды, выглядывает из окна башни, чтобы увидеть, не скачут ли их братья, но видит лишь клубы пыли.

«*Большая жратва*» — фильм М. Феррери (1973), вызвавший скандал на Каннском фестивале.

Реальная политика (нем.).

Дебре, Мишель (1912–1996) — французский политический деятель, премьер-министр с 1959 по 1962 г.; *Фуайе*, Жан (1921–2008) — политический деятель, занимавший видные должности во французском правительстве.

Имеется в виду фраза Поля Рейно, министра финансов Франции, сказанная 28 мая 1940 г. в связи с удачной военной операцией французского корпуса против немецких войск в Норвегии.

10 сентября 1939 г. Поль Рейно, выступая по радио в связи с началом Второй мировой войны, в частности, заявил: «Мы победим, потому что мы сильнее».

Гамелен, Морис (1872–1958) — главнокомандующий союзными войсками во Франции, один из виновников поражения Франции в 1940 г.

Сикко Мансхольт (1908–1995) — глава Европейской комиссии в 1972–1973 гг.

Бульвар Сен-Мишель находится в центре Латинского квартала, где разыгрывались главные события в мае 1968 г.

«Юнион Клуб» — старейший закрытый клуб в США, основан в 1836 г.

В 1951 г. в Чехословакии состоялся судебный процесс над «врагом народа», «агентом сионизма» Рудольфом Сланским, в то время генеральным секретарем ЦК Компартии Чехословакии, и другими высокопоставленными функционерами-евреями, обвиненными в заговоре, и человек были приговорены к смерти и казнены декабря 1952 г.

Знаменитая фраза из «Поэтического искусства» Н. Буало.

«Мадлон» — песня, ставшая очень популярной во время Первой мировой войны.

Брантом, Пьер де Бурдей (1540–1614) — французский мемуарист, автор «Жизнеописания великих людей и великих полководцев» и «Жизнеописания галантных женщин».

Марше, Жорж (1920–1997) — генеральный секретарь Коммунистической партии Франции в 1972–1994 гг.

Клаус Барби — немецкий военный преступник, шеф гестапо в Лионе, виновный в массовой депортации французских евреев; долгое время скрывался от правосудия в Боливии.

Сложное грамматическое время, не употребляющееся в современной разговорной речи.

Вейган, Максим (1867–1965) — крупный французский военачальник, сын неизвестных родителей; по некоторым источникам, внебрачный ребенок бельгийской принцессы Шарлотты, супруги императора Мексики Максимилиана I.

Поль Клодель (1868–1955) — французский писатель и дипломат.

Имеется в виду Европейское объединение угля и стали, международная организация стран Западной Европы, создание которой в 1951 г. положило начало процессу европейской интеграции.

Моя вина (*лат.*).

Ги Молле (1905–1975) — французский политический деятель.
С 1956 по 1957 г. — премьер-министр.

Бен Белла, Ахмед (р. 1918) — политический деятель, борец за независимость Алжира, интернированный во Франции с 1956 по 1962 г.; впоследствии первый президент Алжирской республики (1963–1965 гг.).

Савари, Ален (1918–1988) — французский политический деятель, социалист.

Мендес-Франс, Пьер (1907–1982) — французский политический деятель, лидер левого крыла радикалов.

Шабан-Дельмас, Жак (1915–2000) — французский государственный деятель, соратник де Голля, премьер-министр Франции с 1969 по 1972 г.

«Шарли Эбдо», «Канар Аншене» — сатирические еженедельники.

Домье, Оноре (1808–1879) — французский художник, известен политическими карикатурами.

Жан Янн (1933–2003) — французский актер и режиссер.

Намек на одноименный американский фильм 1954 г.

ORTF — Управление французского телерадиовещания (1964–1974).

Намек на фильм Р. Лапужада «Вертикальная улыбка» (1974).

Фуко, Шарль де (1858–1916) — французский писатель, священник, автор романов «Признательность Марокко» (1888), «Духовные писания» (1924).

Лиоте, Юбер (1854–1934) — маршал, с 1912 по 1925 г. — представитель французского правительства в Марокко.

Салан, Рауль (1899–1984) — главнокомандующий французскими войсками в Алжире, один из руководителей путча 1961 г., боровшийся за так называемый Французский Алжир против политики самоопределения Алжира, проводившейся генералом де Голлем. Создатель подпольной организации ОАС.

Здесь: стервозность, сволочный нрав (*англ.*).

РПФ (Объединение французского народа) — политическая организация (1947–1953), основанная генералом де Голлем и его сподвижниками.

Мальро, Андре (1901–1976) — французский писатель и политический деятель. С 1959 по 1969 г. — министр культуры.

Питер Виртел (1920–2007) — американский писатель и сценарист.

Принц *Али Хан* (1911–1960) — сын имама ордена исмаилитов, прославившийся своими любовными похождениями.

Паньоль, Марсель (1895–1974) — французский писатель и кинематографист.

Здесь: ковбойская шляпа (*англ.*).

Чемпиону (исп.).

Джонс, Джеймс (1921–1977) — американский писатель, участник Второй мировой войны.

Капитан Ахав — герой романа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».

Ландрю — серийный убийца, женившийся на своих будущих жертвах, а затем убивавший их.

Лаваль, Пьер (1883–1945) — французский политик, занимал высокие государственные посты в период Третьей республики. В 1942 г. возглавил коллаборационистское правительство Виши. После Освобождения приговорен судом к смертной казни.

Есть еще вопросы? (англ.)

Сен-Сир — высшее военное учебное заведение, основанное в 1802 г. Наполеоном.

Слово «шар» по-французски звучит как «буль», поэтому последнее предложение на слух может восприниматься двояко: «Ты играешь на бульваре Батиньоль» и «Ты играешь в шары, Вар Батиньоль».

Тейяр де Шарден, Пьер (1881–1955) — французский философ и теолог.

Полнейшая чушь (*англ.*).

Ральф Нейдер (р. 1934) — известный американский адвокат и политический активист.

Котелок (англ.).

Макинтайр, Джеймс Френсис (1886–1979) — архиепископ Лос-Анджелеса (1948–1970 гг.).

Граучо Маркс (1893–1964) — американский комик, член популярного комедийного квинтета братьев Маркс.

В русском переводе роман называется «Спасите наши души».

Имеется в виду улыбающийся ребенок в рекламе мыла «Кадум».

Моряк Попай — персонаж комиксов и мультфильмов.

Пабло Казальс (1876–1973) — испанский виолончелист.

«Черные пантеры» — террористическая организация, боровшаяся за гражданские права чернокожих; активно действовала в США в 1960–1970 гг.

«Трахни меня, Генеральный консул, миленький, трахни меня!» (англ.).

«Го-Мийо» — французский гастрономический гид.

После денежной реформы 1960 г. был введен новый франк, равный 100 старым. Счет на старые франки, однако, еще долго оставался распространенным.

Намек на рекламный слоган парижского магазина «Самаритен».

«Красная книжечка» — так называется на Западе сборник изречений Мао Цзэдуна.